

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:
М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)
А. Г. Байбородин (Иркутск)
П. В. Басинский (Москва)
А. В. Болдырев (Курск)
А. В. Кирилин (Барнаул)
В. М. Костин (Томск)
А. К. Лаптев (Иркутск)
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)
Р. В. Сенчин (Екатеринбург)
М. А. Тарковский (Красноярск)
М. В. Хлебников (Новосибирск)
А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов
ответственный секретарь

Максим Долгов
начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова
редактор отдела художественной литературы

Лариса Подистова
редактор отдела художественной литературы

Михаил Косарев
начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов
редактор отдела общественно-политической жизни

Кристина Кармалита
редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Ю. С. Лаврова
Верстка: О. Н. Вялкова

6/2019

Содержание

ПРОЗА

Игорь КОРНИЕНКО. Черное и красное. Рассказы.	3
Роман ГУСЕВ. Кардиограмма. Рассказ.	23
Галина ШЛЯХОВА. Вовка-писарь. Рассказ.	44
Михаил РАНТОВИЧ. Афей. Рассказ.	66
Наталья МОЛОВЦЕВА. На отшибе. Рассказ.	80
Екатерина РАСКОЛЬНИКОВА.	
Искусство непонимания. Рассказы.	86
Анатолий БИМАЕВ. Запретка. Рассказ.	97
Стефания ЛЕМБЕРГ. Мать миллионера. Рассказ.	105
Игорь КОЖУХОВ. Охлупень. Рассказ.	113
Надежда КРАВЧЕНКО. Ворон ворону...	
Из цикла «Сказания о руде ирбинской».	119

ПОЭЗИЯ

Мария ТЕПЛЯКОВА. «У сердца твоего такое имя...» Стихи.	40
Александр ДЕНИСЕНКО. «...С отчетливой надеждой на печаль».	
Стихи.	74
Анастасия АНДРЕЕВА. «В темном небе облако...» Стихи.	94
Олег МОШНИКОВ. Обонежское чудо. Стихи.	110

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Русская поэзия в современном мире. На вопросы редакции журнала	
«Сибирские огни» отвечает поэт Юрий Кублановский.	137
Игорь МАРАНИН. Сибирский легендарium. Главы из книги.	142
Екатерина КРАСАВИНА. Всюду он брал меня с собой...	
Главы из воспоминаний. Окончание.	163

Книжная полка

Мария БУШУЕВА. «Коробок» Владимира Костина.	184
---	-----

Картинная галерея «Сибирских огней»

Владимир ЧИРКОВ. Портретная живопись Александра Новика.	
Искусствоведческие письма.	187

Авторы номера	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала "Сибирские огни"» М. Н. Щукин.

Игорь КОРНИЕНКО

ЧЕРНОЕ И КРАСНОЕ

Р а с с к а з ы

Развилка

С каждым новым днем отец все яростней ненавидит поселок. Его улицы, выметенные с раннего утра оранжевыми человечками, пахнущими потом и перегаром. Лицемеров-притворщиков, обитателей двухэтажных домов, половина которых нуждается в капитальном ремонте. Ненавидит деревья с корявыми, торчащими, словно пальцы больных артритом, ветками. Ненавидит собак, их здесь все больше. Птиц, особенно сорок. Он уверен: сороки всё видели. Те, что живут в лесочке у развилки. Их гнездо наблюдательным пунктом возвышается над поселком.

После случившегося отец следил за птицами: в окрестностях гнезда постоянно орали птенцы и две взрослые сороки хозяйничали в ареале своего царства. Отгоняли кошек — тех, что наведывались из общежитий по соседству, наглых, прожорливых ворон, не брезгующих полакомиться птенцами сородичей.

— Сороки знают, — бубнил.

Он бубнил с детства, тихо, под нос, недовольный всем на свете, возмущался и скрипел зубами. Над ним подшучивали, называли ворчунном, запугивали: «Все зубы съешь, беззубым ходить будешь». Ругали. Отучить не смогла и жена. Сумела — дочка. Заявив как-то по дороге в детсад, что он похож на Гришку Буку-бубуку из их группы, который ест свои козюльки, и что она не любит Гришку.

Отец сделал соответствующие выводы и с того дня позволял себе поворчать под шум воды в ванной, принимая душ после работы. А если начинал, забываясь, при домашних — мастерски импровизировал, превращал привычку в милую беседу с шутками и смехом.

В их семье любили смех. Подкалывать друг друга и даже обзывать невинными, безобидными обзывалками, которые придумывали на ходу. Кто только не обитал в семье Крапивиных: Мата-батата, Кукуня-засуна, Горлодёрник, Не-смею-не-тревожу, Хрюньделеподобный Хохотун... Еще были замечены: Брыси, Тапочкины Ножки, Обрыдалки, всяческие Улыбаки, Скоропобежалки и другие им подобные...



Теперь привычка вернулась: отец бубнил снова. Громко разговаривал сам с собой, спорил, ругался, кричал. Плакал. Ненавидел.

Не сразу пришло это чувство. Мизантропия, презрение, жажда мести. Отец желал смерти всем. Начиная с сорок, трещащих без конца под окном, и плешивых собак. Он и не думал, что возможно так ненавидеть. До дрожи в пальцах изводиться мыслью придушить любого, кто скажет, что он не должен так изводиться. Что жизнь продолжается.

— Да, — говорит отец, — скажи мне сейчас, чтобы я успокоился или прекратил поиски, — и я зубами вырву кадык у тебя из глотки. Буду бить ногами. Буду крушить. Убивать.

Окно бывшей спальни — его наблюдательный пункт в квартире на втором этаже кирпичного дома рядом со школой. Напротив железная дорога, по которой мотаются составы с грузами для заработавшего цементного завода; дальше лесок с гнездом сорок. Направо развилка. Дорога раздваивается куриной дужкой, отрезая островок — горсть старых деревянных стоек и гаражей, отдельную от поселка республику, прозванную поселковыми Аляской. Всё как на ладони. Летом не спрятаться от любопытных глаз, глядящих из настёж распахнутых окон, с забытых стариками и пьяной молодежью скамеек...

Дни растворились в том дне. Его он помнит до секунды, до черточки, до капли, до вдоха. Зато не может вспомнить, что ел вчера и ел ли вообще. Перечитывает страничку в паспорте, ту, что с графой «дети». Снова и снова — про себя и вслух. Как молитву.

Мать слезно уговаривала сходить в церковь, начать молиться и этим спастись.

— Надо приходиться в норму, — говорила. — В себя.

Он сжимал кулаки до кровавых отметин на ладонях.

— Я услышал, мама, — отвечал. — Достаточно уже одной молящейся сумасшедшей.

— Ты так о Люде? О жене? Мать твоего ребенка, между прочим...

Всхлипывания переходят в плач. Сейчас все заканчивается так. Слезами.

Первые дни после последнего дня Павел пытался не отдаляться от жены. Вместе переживать трагедию. Людмила же решила отходить от беды сама — повязав голову косынкой и пропадая с рассвета до заката в церкви Святой Троицы на другом конце города.

— Молитвами отмолим доченьку, — шептала она и крестилась.

И больше не делила с ним постель, начала соблюдать посты и все церковные праздники и даже порывалась дать обет молчания.

— Это моя жертва (она перестала называть его по имени, заметил Павел), я отдам свой голос и буду молиться о спасении души дочки.

Она повторяла и повторяла про спасение души, а он с трудом сдерживался, чтобы не ударить.

— Наша дочь жива, — твердо сжимая зубы. — Свою душу спасай!

— Если бы и ты к Богу обратился, было бы намного быстрее...



— Быстрее — что?

Она складывала ладони в молитвенном жесте:

— Упокоение души доченьки нашей Светочки.

Павел еле сдержался, ногтями впиваясь в собственную плоть. Он представил, как кулак врезается в лицо жены, прямо между глаз, увидел, как кровь брызгает из разбитого носа и она опрокидывается назад...

— Ненавижу, — скрипит зубами. — Иди к своему Богу, и пусть он уже делает свою работу! Помогает нуждающимся и верующим в него!

— Отец Савватий говорит, что если пропавшего не находят в течение нескольких дней, то уже не найдут никогда.

Он замахивается:

— Клал я на твоего отца Савватия!

Людмила падает на колени и кричит, мотая головой. Волосы прилипли к вспотевшему лицу, рот перекошен, в глазах пустота. Муж не узнает женщину у него в ногах: это не его жена.

Она кричит:

— Давай уже уверуем, и истина сделает нас свободными!

«Раз, два, три, четыре...» — отсчитал про себя до десяти Павел и тихо сказал:

— Это твоя жертва, Люда, так иди и молись. Моя жертва в другом.

— В другом? В чем же?! — Визг и слезы. — Ждать? Ждать у моря погоды и надеяться? Надеяться, что ее найдут?.. Не! Най! Дут!

Жена странным образом меняется: она больше не плачет, смотрит отрешенно сквозь него. Не моргнет, лишь губы шепчут:

— Богородица, Господь с тобой...

— Вот иди и молись! — заканчивает разговор Павел. — Иди и молись.

— Людмила пошла дорогой Бога, выбрала свое спасение в служении Ему, — говорит по-женски мягко мужской голос в наушнике сотового. — Я готов помочь и вам, Павел Дмитриевич. В нашей церкви есть место всем заблудшим и страждущим душам. Я гарантирую: вы начнете новую жизнь...

Павел Дмитриевич брезгливо смотрит на телефон в руках, словно тот ожил и обратился в нечто противное:

— Ты кто вообще?! Бог, что ли? Христос, может? Себе помоги!

Сороки прознали его страх. Страх мужчины. Отца. Они трещали смело над ним, хохотали по-человечьи, гавкали по-собачьи. Прогоняли со своей территории. Павел пригибался, уворачивался от черно-белых вспышек, мелькающих перед глазами.

Он искал в высокой траве ответы. Но в лесочке хозяйничали сороки. Вооруженный бесполезной палкой человек капитулировал.

— Что вы прячете? — закричал однажды и швырнул палку в сторону гнезда.

Сороки завывали пожарными сиренами.



— Что скрываете?!

Раз приснилось: сороки заговорили. Прострекотали, что помогут найти дочь. Для этого нужно лишь принести им самое ценное, самое дорогое.

— Отдам все, что есть, — говорит отец. — Вам нравится золото? Будет золото. Принесу. У жены этого барахла...

— Самое ценное! — кричала сорока.

— Самое дорогое! — вопила вторая.

— Бесценное! Дороже золота! Дороже собственной жизни! — перебивая друг друга.

— Дороже жизни?.. — У отца был один ответ: — Дочка.

— Неси дочь, неси дочь, неси дочь!

Сотней голосов разверзлось небо, сороки взорвались на клочья и перья, и тысячи тысяч сорок своей чернотой скрыли небо и солнце.

— Неси дочь!..

Сон повторился. Он боялся этого сна. Боялся сорок.

В детской Людмила сделала молельню. Сняла фотографии дочери. Павел не спорил, молча забрал снимки в радужных винтажных рамках со стразами, бабочками, приютив их в спальне, своем наблюдательном пункте.

Вместо фотографий жена повесила иконы. Если бы Павел подсчитал, он удивился бы их количеству. Икон разве что на полу не было.

— На поиски пропавшего ребенка вышли взрослые, подростки и даже дети поселка Кирпичный, — сообщила диктор местного телевидения в программе новостей. — Поисковые работы велись до позднего вечера вплоть до наступления темноты. С утра водолазы проверили дно карьера. Пока, к сожалению, никаких следов девочки не обнаружено...

Сосед Крапивиных, известный в поселке под прозвищем Бухарин из-за болезненного пристрастия к выпивке, тоже отправился на поиски, прихватив с собой пару флаконов с настойкой боярышника.

— Без дизеля никак, — делился он со всеми, кто соглашался слушать. — Я всю жизнь на этом топливе — и никаких болячек, живее всех живых.

Когда на дне второго «фанфурика» осталось на полпальца, Бухарин решил отдохнуть под забором Аляски.

— Прилег, значит, обмозговать дальнейший ход событий, — рассказывал он тем же вечером собутыльникам на скамейке возле печально известного теперь дома.

Иногда он любил вернуть заковыристое выражение, называя это замашками бывшего работника культуры. Бухарин два месяца проработал в поселковом клубе «Дружба» сторожем.

— Прилег в тенечке, но так, чтоб дорогу видно было, мало ли. И вдруг, откуда ни возьмись, женщина. Не простая, а вся в сияние окутанная, и одежды и нимб над головой светятся, как солнце, а сама босая



и идет по траве высокой, а трава не гнется под ней. Копия точь-в-точь Богородицы, с иконы сошедшей.

Слушатели разинули рты, верующие креститься стали, а Бухарин продолжил:

— А за руку эта Дева Мария девочку ведет с сумочкой в форме сердца через плечо. И тоже точно копия девочки из седьмой квартиры. Те же волосы рыжие кругляшами, веснушки, и одета как по описанию. — Тут рассказчик показал пальцем в сторону развилки: — Вон там, за рельсами, левее Аляски. И запахло вокруг сразу не по-земному как-то — чистотой, свежестью. Дева Мария девочку по головке гладит, а под девочкой трава тоже не гнется. Я так и замер, шевельнуться не могу. А они вдруг огнем вспыхнули и пропали, лишь голос остался, как всхлип, и завоняло, будто болотом или канализацией. И меня как прошибло током, и сразу на ноги кто поставил, а голос в голове женский говорит: «Ищи нас в колодце».

Отец услышал эту историю вторым. Первым же человеком, с кем вестью о чудесной встрече поделился Бухарин, была Люда. Как чувствовал, что женщина даст ему на бутылку дорогой водки.

Павел на водку не дал, дал пинка и вышвырнул за дверь:

— Протрезвей хоть раз в жизни, а то сдохнешь и не узнаешь, что сдох!

Возмущению обиженного соседа не было предела.

— А ведь тихий был, мухи не обидит, — жаловался на скамейке. — Не матерился, добрейшей души человек. А смотрите, что стало. В зверюгу бессердечного превратился. Будто я, что его дочь пропала, виноват...

Людмила позже попросит Бухарина показать то место, и ее не раз будут видеть стоящей на коленях по горло в высокой траве.

«Ищи в колодце» — единственное, что зацепило отца в бреднях старого алкоголика, и Павел облазил все канализационные люки в поселке до центральной железной дороги.

Полиция, по словам все той же дикторши, делала все от нее зависящее. На поиски были брошены и отделения ГИБДД, задействованы военнослужащие двух воинских частей и сотрудники МЧС.

А через неделю поиски прекратят, и местная газета «Вечерняя среда» окрестит ЧП так: «Исчезновение в Международный день защиты детей». Первополосный материал с фотографией семилетней Светы Крапивинной еще какое-то время будет мелькать перед глазами поселковцев, но на третью неделю триста пятьдесят гектаров горящего леса займут новостную ленту.

И только отец будет продолжать искать. С первыми лучами солнца и до темноты. Сначала Павел напишет заявление об отпуске без содержания, а месяц спустя уволится.

Отец искал и во сне. Бродил по знакомым до желудочных спазмов, до сердечных схваток и зубной боли местам: по развилке, вокруг Аляски, в овраге под железнодорожным виадуком. Искал под ликование сорок.



Искал и всегда находил красную резинку для волос с двумя ягодками-малинками, а иногда сумочку в форме сердечка: они купили ее в тот самый день.

Сердце отца где-то на дне затаило, зарубцевало ощущение потери.

— Дочь жива, — от двери к окну. — Жива. И я найду ее!

До конца лета оставалась неделя. Первого сентября Света должна была пойти в первый класс.

— Должна. — Павел в тысячный раз брел мимо железнодорожного полотна и бубнил. — Должна — и пойдет!

Глаза его всегда опущены, высматривают следы, а тут словно что окликнуло. Взглянул вверх отец и на насыпи из камней увидел красное пятнышко. Остановило бой сердце отца. На карачках, царапая ладони об острые камни, забрался на насыпь и не поверил глазам: сумочка дочери, будто только что купленная! Схватил находку, прижал к груди. Оглядываясь, позвал дочь по имени. Сперва тихо позвал, потом громче и, наконец, закричал.

Крик разорвал пузырь реальности. Он увидел, как из знойного, вибрирующего от испарений эфира прямо по железнодорожным путям бежит его девочка, смеется и подпрыгивает. В том же белоснежном сарафане в цветочек, с сумочкой в форме сердечка...

Открыл сумочку Павел — пусто. Да и цвет вблизи не таким красным кажется. Не красный, а бордовый какой-то, и не помнит отец, чтобы снаружи на сумочке был кармашек.

Положил назад — как сердце оторвал — на камни. Спустился и не удержал слез. Здесь, в лесопосадке, почти в трех километрах от поселка, он часто себе это позволял. Заходил в гущу деревьев, прислонялся к стволу, тихо плакал, вгрызаясь ногтями в кору дерева до крови, до стона.

— Похитители бы давно объявились, — строили предположения в поселке. — Выкуп запросили или еще чего...

— На органы сейчас детей продают за границу, — пугали своих непослушных отпрысков родители. — Особенно тех, которые допоздна шляются, в лапту играют...

— Аляска утащила бедняжку. Проснулась, видать, проголодалась — и съела, — шептались старухи.

Только всех пропавших в Аляске рано или поздно находили. Один упал в погреб, сломал ключицу — тело нашли через неделю по запаху; другая скрывалась от мужа в заброшенной стайке два месяца; а третий по пьяни не смог выбраться из картофельной ямы.

— Аляска, Аляска, отдай что забрала, — шептала бабка-знахарка.

Ее привела в квартиру мать Павла, строго-настрого велела сыну слушать, не перебивать. Знахарка баба Римма таращилась слепо в карты, потом в тарелку с водой. Держала отца за руки.



— В твоём сердце стучит и её сердце. Сердце дочери, — говорила.

Смотрела фотографию Светланы, жгла над ней спички.

— Не вижу её среди мертвых. Тепло от снимка идет. Живая, значит. И в колоде не вижу, не в плену она. Но и нет в ней ощущения свободы. Слышу, как шумит ветер, но не чувствую его дыхание на себе. Так деревья на ветру колышутся и трещат. Всё раскачивается, как на качелях, и много разных голосов странных: птичьих, животных...

Павел вцепился в край кухонного стола, и стол затрясся, когда он услышал:

— Вера творит чудеса, молитва.

— Пятьсот икон! Пятьсот, если не больше, — это разве не молитва?!

Людмила в комнату дочери принесла не все иконы. Некоторые так и лежали в разноцветных пакетах под кроватью. И в прихожей, в «тещиной», в шкафу с обувью, между зимней одеждой — везде освященные иконы.

— А что остается, если не молитва? — продолжала настойчиво баба Римма, а Павел скрипел зубами:

— Ненавижу.

— Смирение, а не гордыня — вот что поможет обрести душевный покой.

Отец перевернул бы стол на голову гостье, если бы не подросла мать.

На прощание, стоя в дверях, знахарка вдруг сказала:

— Ненавидь больше, сынок! Если не молитва, то ненависть поможет выжить и найти ответы. Ненавидь, дорогой. Ненавидь сильней, крепче. Всех!

Мать посмотрела на старушку, потом на Павла. Развела обессиленно руками:

— Да что вы такое говорите? Его же злоба эта погубит...

Баба Римма продолжала:

— И в следующий раз, как над тобой пролетит сорока, сынок, не поленись, брось в нее что под руку попадет, камень брось и скажи: «Несчастье птице, что летит против хода солнца».

Павел кивнул: старуха знала о сороках.

— А икона без веры, без молитвы — так, картинка, украшение... — закрыла она дверь за собой.

— Совсем сдурела бабка, — возмущенно хлопнула в ладоши мать. — Сороку еще зачем-то приплела. А я ей риса отборного и гречки — думала, дельное что скажет, поможет.

Сын поцеловал мать в голову:

— Жива.

Жена почти держала обет молчания, говорила только по делу, коротко. Перед первым сентября сказала, что уйдет в монастырь.

Павел ответил:

— Угу, и иконы с собой прихвати. Я Светину комнату в прежний вид завтра приведу.



Людмила захотела что-то спросить, может, возразить, но остановилась среди зала и молча хлопала глазами.

— Желательно прямо сейчас начать собирать их, чтобы я с утра все в порядок у нее привел. Ей не понравится такое... — он не мог подобрать нужного слова, — такое... такой бардак. Я фотографии еще новые напечатал — они ей точно понравятся, Светотусе-болтусе.

Закрыв лицо руками, жена пропищала что-то, пошла послушно собирать иконы.

Настало первое сентября. Пасмурно. Из тревожного сна — в такое же беспокойное утро с морозящим дождем и страхом неуверенности.

Ненавистные сороки кричат в ненавистных деревьях, празднуют.

К девяти часам нарядные школьники потянулись мимо его наблюдательного пункта к школе. Замелькала школьная форма черно-белой пестротой, завертелись в первом вихре осени банты, шары, листья...

Дождавшись, когда жена уйдет в церковь к заутрене, вымыл полы в квартире, расставил в комнате дочери фотографии и плюшевые игрушки, развесил по стенам Светины рисунки.

Акварелью расплылось по альбомному листу счастливое, тогда еще улыбающееся семейство. На карандашных рисунках всяческие придуманные существа. Добрые и веселые стражники семейного счастья: Сердценожка, Барабашик, Солнцепрыг, Ночнушка-хохотушка, Звончепух и королева королев Помадка — все из семейства «улыбак», с широкими, в форме рогатого месяца, улыбками и звездами вместо глаз.

Закончил Павел под доносящуюся со школьного двора песню «Первоклашка». И на удивление самому себе начал подпевать:

Первоклашка, первоклассник,
У тебя сегодня праздник!
Он серьезный и веселый —
Встреча первая со школой!

Вышел из подъезда с бумажным свертком под последние аккорды песни, знакомой с детства, прошел мимо школы и — через рельсы, твердым, уверенным шагом к месту из сегодняшнего сна. Пророческого сна.

Жертва у каждого своя. И сами мы тоже жертвы.

Бухарин вышел следом, а вечером на скамейке будет клясться всеми святыми и мамой, что Павел шел, как та Дева Мария с девочкой, по верушкам травы и трава под ним не гнулась.

Людмила купила последнюю иконку в киоске при храме. В тот самый момент Павел подошел к березе под истошный крик сорок. Птицы вели себя агрессивно. На макушке дерева — шарообразной формы гнездо. Птенцы давно встали на крыло, но далеко не улетали от родительского дома. Павел все эти месяцы наблюдал и все больше их ненавидел, мечтая растоптать в кровавую кашу.



— Сорока-белобока кашу варила (развернул сверток), деток кормила (газета упала под ноги), этому дала (поднял топор над головой), этому дала (птены присоединились к атакам родителей, смело насакивали) и этому дала (лезвие, занесенное над стволом, отбросило солнечный зайчик в тень травы), этому тоже дала (отмахиваясь левой рукой от пернатых), а этому не дала!

Жертвы бывают разные. Но жертва необходима. Чтобы вернуть потерянное, нужно жертвовать. И чем крупнее жертва, тем больше шансов обрести утраченное...

Удар.

Он увидел жену, постриженную в монахини, молящуюся на коленях перед пылающим в свете тысяч свечей алтарем.

Топор легко пронзил мягкую, податливую плоть березы.

Отец замахнулся во второй раз. Сороки над головой взорвались небесным громом.

Удар.

Увидел себя под виадуком у железной дороги. Он знает, что надо делать, и нагибается над рельсом... Увидел поезд Улан-Удэ — Москва, как он на всей скорости сходит с рельс в том самом месте, где нашлась сумочка, похожая на дочуркину. Кровь окрасила черные камни красным, под цвет его боли. Крики и стоны людей из перевернутых, искореженных вагонов перебили гвалт сорок.

Береза покосилась, затрещала, подраненная, осыпала человека листвой.

В третий раз лезвие сверкнуло молнией и ударило в дерево, в свежую рану. Со стоном и треском завалилась срубленная береза. Сорочье гнездо рассыпалось на веточки и щепки.

Отец оглянулся, посмотрел на развилку: по ней сейчас должна идти, прискакивая, его дочь в белоснежном сарафане, с сумочкой в форме сердца. Они, правда, опоздали на школьную линейку, но это не беда. Зато успеют переодеться и прийти как раз к классному часу и чаепитию для первоклашек. Его решили устроить родители — сбросились, купили сладостей, сделали торт на заказ...

Но развилка пуста. В точности как в тот день, последний день семьи Крапивиных.

В тот день втроем ходили до магазина, решили побаловать себя тортом-мороженым и купили Светлане сумочку-сердце: очень уж приглянулась ей безделушка.

На обратном пути дочка у развилки предложила:

— Давайте кто быстрее? Вы с мамой по одной стороне развилки, я по другой дороге. Кто придет первый — тот и победитель. Тому самый большой кусок!

Разошлись. Девочка долго махала родителям, пока не скрылась за забором Аляски.



Больше они ее не видели.

Первые пять минут ждали ее появления, всматривались в пустынную дорогу. Потом отец сбегал проверил квартиру. Повторил путь дочери, обежал на сто кругов Аляску.

Ни следа. Одни сороки тарахтят над ухом, смеются.

Людмила начала плакать. Торт-мороженое таял в ее руках и смешивался со слезами, капал на землю...

Со стороны Аляски подул пронизывающий, холодный ветер, запахло словно перцем и кровью. Снова заморосило.

Павел уронил топор. Сорок не видно и не слышно, будто не было никогда, а гнездо всего лишь кучка веток, скорлупы и...

Сначала увидела душа, потянулась... Отец нагнулся и поднял под тарабание сердца красную резинку для волос с ягодками-малинками. Сжал в ладони, поднес к губам.

Света любила, когда папа кормил ее: он протягивал ей самую крупную малину, и дочь ловила ее губами, а вместе с ягодой кусала его за пальцы. Они смеялись до колик, до слез...

Не чувствуя, не видя, не дыша, вернулся в квартиру. Без мыслей, без чувств, без воспоминаний. То, что столько месяцев утаивал от самого себя, прорезалось, вытекло черной кровью. Потекло по разбитым об стены кулакам, побежало из глаз по щекам за ворот, хлынуло из сердца, перелилось через край, через горло...

Он спал и вот проснулся, кромсая в зале, круша в спальне, в ванной и на кухне все, что стало теперь ненужным, лишним.

Не тронул детскую. Комнату дочки. Место, куда он не может не вернуться.

И он вернулся.

Сел на кровать в окружении ее любимых игрушек, фотографий в ажурных рамках и стразах. Сел, снова и снова прикладывал к губам пластмассовые красные ягоды, словно целуя, словно пробуя на вкус, и тихо, вполголоса позвал на помощь:

— Звончепух, Помадка, Горлодёрник, Сердценожка, Барабашик, Солнцепрыг...

Горсть родины

Всяк человек — земля есть...
Священное Писание

«Мать! — осенило в самолете перед самым взлетом, когда застегивала ремень безопасности. — Твою ж мать!» Сабина дернулась в кресле нервно, по-детски дернулась всем телом от бессилия и злости на себя.

— Ма-а-ать, — сквозь зубы.

Взглянула в иллюминатор: серая лента взлетной полосы, спицы антенн, в небе ни облачка — умиротворенный, статичный пейзаж безразличия, неучастия, отстраненности... А внутри у нее ураган, и «мать» превращается, зарифмовывается в яростное матерное слово, она повторяет его про себя, а так хочется прокричать, чтоб освободиться от горького привкуса невыполненного обещания.

«Дура, дебилка, идиотка!»

Сосед, пожилой лысый мужчина, участливо улыбнулся.

— Забыли что-то? Сочувствую, — закивал он и кивал после каждой произнесенной фразы. — Я как-то про жену забыл (кивок) — вот это была, скажу я вам, катастрофа (еще кивок). Все ведь поправимо, не расстраивайтесь (кивок, кивок, кивок).

Ну вылитый китайский болванчик, кивнула в ответ Сабина, молодая и ужасно дерганная, нервная для своих двадцати семи лет женщина. Мать ее иначе как «психушка» и не называла с детства.

— Ты посмотри на свои волосы, — тыкала дочь лицом в зеркало. — Пятнадцати еще нет, а уже седина лезет. А все из-за чего? Из-за нервов. Раздражительности... Выросла невротичка.

Сабина ущипнула себя за бедро, смотрела на блестящую лысину соседа и говорила с ней. Всю сознательную жизнь не смотрит людям в глаза — не выносит, терпеть не может. Выдерживает лишь взгляд собак и кошек.

— В аэропорту, что ли, забыли? Жену...

Мужчина кивнул:

— Не совсем. Проснулся — и забыл, что женат... А вы, если не секрет конечно, что забыли?

— Родину, — не задумываясь ответила Сабина.

На самом деле место, где родилась и прожила до пяти лет, Сабина не считала своей родиной.

— Потому что не помню ничего, — рассуждала она. — Ни моря, ни дома с виноградником, ни лиц. Ни черта... А родина — настоящая — там, где ты все знаешь. Ее вспоминаешь, видишь в снах, по ней скучаешь... Моя родина — Сибирь, а юг, Каспий как что-то иное, не мое, неродное. Ненастоящее. Да и жару я терпеть не могу.

Поэтому без особого желания и энтузиазма прилетела Сабина на свадьбу сестры и всю неделю с утра и до полной отключки вливала в себя домашнее вино, мешая его в дичайшие, безобразные коктейли с пивом, водкой, агдамом, ликерами, коньяком...

Она и перед самолетом сделала себе «успокоительное» из вина с минералкой.

— Но как вылетело из головы, что дядь Ване пообещала, ума не приложу! — оправдывалась и торопливо курила у здания аэропорта, уже на родной сердцу сибирской земле. — Для него это так важно. Ё-о-о... Для него это вопрос жизни и смерти.



Не докурила, бросила под ноги сигарету, растоптала.

Встречал Сабину друг детства, «полумуж» Дима («дружить — дружим, но замуж — ни-ни»). Ему, впрочем, такое обращение не нравилось («так евнухов и скопцов называли раньше»), возмущался всякий раз, однако Сабина продолжала, и Дима свыкся со статусом полумужа. Пусть уж так, чем совсем никак.

Полумуж выслушал слезливую исповедь, предложил:

— Да какая разница, откуда земля?! Она везде одинаковая. Набери дядьке нашей земли. Скажи, что с юга, с родины. Делов-то...

Сабина долго мотала головой под монотонный бубнеж:

— Не, не, не, не...

Дмитрий настаивал:

— Обидится дядя Ваня ведь. Пообещала и не привезла землицы. Уж лучше соври. — Открыл банку пива, протянул полужене. — По мне так: земля — она и в Африке, и в Зимбабве земля землей...

— Зимбабве — это тоже Африка, умник. — В пару больших глотков опустошила банку, бросила, раздавила кроссовкой. — С-сука, чувствую себя паршиво. Предательницей. Вторично родину предаю, теперь еще и дядьку. Ну кто я после этого, если не сука?

Попробовал приобнять:

— Ты самая красивая девушка Иркутска и Сибирского региона!

Сабина вывернулась:

— Останови тогда у лесочка, там хоть земля настоящая...

Дядя Ваня тридцать лет живет на чужбине.

— В ссылке, — повторяет он все тридцать лет. — В шестнадцать бежал беженцем от войны, стал каторжником, стал заложником.

Сабина, двоюродная племянница, знает эту историю наизусть. Но терпеливо слушает каждый раз дядьку — очень уж любит она этого угрюмого родственника. Единственного и по-настоящему родного — что при жизни родителей, что после их скоропостижного ухода.

— Сначала девяностые оглоушили своим дурдомом в стране и в мозгах. В нулевых, на родину чтобы попасть, стал нужен загранпаспорт. А у меня простого-то паспорта двенадцать лет не было — не до заграна... Так и смирился со своей каторгой, с зимней спячкой. Будто уснул, в анабиоз впал я в этой Сибири, где моря нет, звезды далеко и земля зимой насквозь промерзает...

«Ссылка», «каторга», «чужедалье», «временное пристанище», «не-родина», «запределье» — и никак иначе. А если вынужден был конкретно обозначить место проживания, дядя Ваня коверкал название города, переставляя или изменяя буквы.

— Потому что одна родина у человека, как и Бог один, и мать с отцом, и группа крови, и мозг, и душа. И каждый из нас один и уникален.

Ну что тут возразить? Сабина многим обязана дядьке.

— По-настоящему — всем обязана. Он мне семью реально заменил. На ноги, можно сказать, поставил. Я же, неблагодарная, забыла такое важное дело! — снова и опять жаловалась она полумужу, запивая вино красным вином из тетрапакета. — Всего-то надо было — землю привезти с родины. И тут я налажала.

Сабина споткнулась, Дима успел подхватить ее за локоть. Она недовольно фыркнула, вырвала руку, расплескав вино из откушенной с уголка коробки.

— Хочу в ауте быть, когда дойдем до дядь Вани, ясно тебе?! Пьяной проще совершать всякое непотребство, и сей грех тоже легче сотворить под градусом. А наутро все забыть и жить дальше...

— Говорю тебе, Бина, земля везде одинаковая, — талдычил ей в семьдесят второй раз (он считал). — Химический состав один и тот же, поверь.

В семьдесят второй раз Сабина спросила:

— Правда, что ль? По-настоящему? Поклянись мамой.

Клялся мамой полумуж, пока они добрались до квартиры дяди Вани, в общей сложности восемьдесят раз.

Дядя заждался родственницу: сидел на табурете у приоткрытой двери в прихожей; выглядывал из окна на кухне, откуда видна дорога к подъезду; звонил на выключенный сотовый; разгадал все, что нашел, кроссворды со сканвордами; выпил шесть кружек крепкого чая; съел килограмм вафель и уже накапал в рюмку корвалола, разнервничавшись не на шутку («куда подевалась племяшка, пять часов как прилетела»), — и тут в дверь позвонили.

Выпил для успокоения сердца раствор и еще с кухни услышал звеняще-пьяненький голос племянницы.

— С чего-о-о начинается Родина-а-а?! — горланила она.

Черная земля в прозрачном полиэтиленовом пакете, завязанном на несколько узлов, в центре кухонного стола.

— Семь полных ладошек, — повторяет и повторяет Сабина. — Семь горстей с горкой.

Дядя Ваня, смолоду весь в морщинах и рано поседевший, смотрит на подарок — видит детство: лианы винограда, скрывающие небо; море, проглатывающее солнце; себя, еще совсем мальчишку; песчаный берег, где песок дышит жаром, пахнет нефтью, и рыбой, и счастьем...

Племянница не дает открыть дядьке рот:

— Могилку с ходу нашла по астрам. Всё как ты рассказывал, всё в них: сиреневые, розовые такие, будто звездами могила укрыта.

Дима поддакивает, поддерживает подругу, успевая вставлять:

— Ага, ну, но, во-во, все так, ё-пэ-рэ-сэ-тэ...

Сабина сочиняет, придумывает досконально, до мелочей, штрихов и запахов. «Врать не привыкать, во мне актриса живет и, когда надо, играет нужную роль согласно сценарию, — хвасталась. — Дядьке лишь одному не врал».



И вот:

— С моря думала еще набрать земли, да че там — песок и ракушки... А с бабушкиной могилки аккуратненько под астрочки — шмыг, и так семь раз, семь полных ладошек. А земля мягкая, сырая, податливая, хоть и жара за сорок... Потом все боялась, что с землей в самолет не пустят.

Дима в очередной раз разлил по сервизным чашкам красного полусладкого.

— За родину! — прозвучал тост.

И дядя Ваня наконец озвучил, что мучило и терзало последние десятилетия:

— Могилки хоть ухоженные?

Подавилась вином Сабина, закашлялась до потекшей по щекам туши и багрового лица.

— Не в то горло, что ли? — колотили мужчины женщину по спине.

Кивает Сабина, а сказать как, не знает: вино во рту словно свернулось, песком, землю стало, что с трудом проглотила, оцарапав небо и горло.

— Не в те ворота, — прохрипела. — Водички бы...

Племянница пьяно, слезно клялась, что могилка бабушки ухоженная, и за остальными покойничками следят, и никакой мерзости запустения, и кошмары теперь прекратятся.

Кошмары дядю Ваню посещают каждую ночь. Чаще всего это сон про неухоженные могилы, что остались на родине. Они кричат с кладбища, зовут его разными голосами, будто все мертвецы сговорились, ополчились против него. Видит: могилы открываются гигантскими ртами, внутри черная пустота — страшная, бесконечная, манящая. Она втягивает его, засасывает невидимыми токами, и дядя Ваня просыпается с криком и шрамом в сознании — как если бы он узрел пустые глазницы любимой бабушки...

— Брошенные могилы не прощают своего одиночества. Забытые покойники мстят, я это знаю. Они находят предателей сначала в снах, потом...

И это зависшее в небесном эфире «потом» пугает его сильнее ночных кошмаров, пугает племянницу, Диму, всех слушателей, потому что у каждого где-то зарастает колючкой и сорняком одинокая могилка.

— Я все детство провел на могиле деда, — вспоминает дядя Ваня. — Бабушка через день ходила на кладбище к нему убираться. Чтобы не скучал дед, говорила. Мы там и ели, и в игры играли, даже уроки иногда делали и вслух деду читали. Вот как с мертвыми своими общались — еще теснее, чем при жизни. Бабушки не стало через год, как мы бежали с родины. Я только знаю, что с дедом ее похоронили, и больше ничего не знаю... Лишь в снах вижу могилу. Так то сон, не истинное...

— С кошмарами покончено! — вместо «до свидания» заявила Сабина.



Молодые чмокнули дядьку по очереди в плохо побритый подбородок. Дима напомнил лечить воспалившийся «ни с того ни с сего» глаз чайным раствором, племянница наказала сходить к врачу.

Дядя Ваня многозначительно промычал, уж больно не терпелось остаться одному, один на один с частичкой далекой родины, с прошлым, с вечностью!

«Две трети жизни вне родины! — ворчит про себя дядя Ваня. — Забыла она уже меня. Погибли корни». Замер в проеме кухонной двери, смотрит на гостинец с юга, а глаза щиплет до слез — не то от желтого электрического света, не то от нахлынувших воспоминаний, тоскливых, ранящих.

Тридцать лет выживания воспоминаниями и прошлым, существование в вечном ожидании невозможного... Смирение с участью никогда больше не увидеть родину пришло после сорока. Появились болячки от бесконечного самобичевания, невысказанного, невыплаканного.

«Все болезни от нервов, от тревог и переживаний...» — считала давно исчезнувшая из жизни дяди Вани сожительница, и он с ней согласен. Сожительница сгнула, чтобы не разделять его болячки, оставив книжку с таблицами соответствия болезней психологическим нарушениям, и теперь дядя Ваня знает, что бессонница у него от чувства вины, а растущая на левом глазу катаракта — неспособность смотреть вперед, в будущее с радостью. Туманное, расплывчатое, мутное будущее. Отсутствие как такового... Проблемы с желудком — это ужас от всего нового, боязнь и закрытость. Недовольство собой и своей судьбой, чувство обреченности ведет к гастриту. А частые запоры свидетельствуют об избытке накопленных переживаний, чувств, воспоминаний, с которыми никак не расстаться, как и о нежелании избавиться от устаревших мыслей, о том, что увяз в прошлом...

Прошлое вернулось, пролетев более пяти тысяч километров. Оно появилось в настоящем, упакованное в полиэтилен прошлое.

— Здравствуй, — не своим голосом, — кусочек юга на севере.

Отчего-то дядя Ваня испугался произнести слово «Родина», которое всегда пишет и проговаривает с большой буквы. Заглавная буква «Р» встала поперек горла. Сердце напомнило о себе старой раной, кольнуло.

Может ли клочок земли заменить все то прошлое, что случилось на родине? Семь горсточек — могут ли они называться Родиной с большой буквы? Или это всего лишь почва, поверхностный слой педосферы Земли и не более?

Присел дядя Ваня к столу, залил копошившиеся мысли остатками вина. Ягодная сладость заполнила голову. Виноград детства зелеными лианами обвил стареющее тело и душу поднял к потолку и выше — сквозь крышу к звездам-астрам. Именно такие звезды были над головой у мальчика Вани. Он смотрел в глазастое небо детскими глазами и называл небо своим.



— Мое глазастое, цветастое небо.

И подсолнухи, что росли вдоль забора, звездными маяками посылали сигналы небесным собратьям; Ваня падал на спину в пряную негу зарослей и взлетал, и летел по Млечному Пути над родным домом, поселком, над школой и кладбищем...

Узлы развязались сами, едва дядя Ваня прикоснулся к пакету с землей. Подушечками пальцев коснулся родины — и вот он, Млечный Путь, а под ним пики кипарисов и знакомые крыши домов, и такое саднящее чувство близости с крестами и памятниками, с могилками дорогих близких.

— Это мой дом, — шепчет дядя Ваня.

За прикрытыми веками пролетает иная вселенная, жизнь-мечта, придуманное счастье... А на кончиках пальцев крупичицы земли из пакета, и дядя Ваня подносит их к губам, пробует крошки на вкус. Земля родины со вкусом новогодних праздников, где мандарины перемешаны с искрами бенгальских огней, салатом оливье и мамиными поцелуями. Песчинки во рту лопаются перезревшими гранатами, взрываются хлопучками, рассыпаются разноцветным монпансье.

Дядя Ваня возвращается на родину...

Пока дядька бежал, глотая соленый ветер, к морю, сливающемуся с небом, племянница вошла в оградку одной уцелевшей на пригорке могилы в окружении выжженной до черной пыли земли. Клыки сломанных надгробий и тлеющих крестов — до горизонта, до неба. Сабина знает, что должна сделать, что обещала, только все не так, как она представляла.

— Разве война не кончилась? Это что, конец? Конец света?..

Нагнулась, взяла с могилы горсть земли. Земля в ладони стала вязкой, липкой, стала алой кровью. Сабина зачерпнула обеими руками — и вот они, полные пригоршни густой, горячей, кровавой жижи, а на мраморном надгробии ее имя и фамилия, а с овала фотографии смотрят ее глаза и улыбка.

Сабина закричала, руками закрыла лицо.

— Это не по-настоящему! — размазывая кровь по щекам и шее. — Это ложь!

«Ложь! — взорвалось красным небо и чернота вокруг; все окрасилось кровавым цветом. — Ложь!»

Проснулась Сабина — сердце стучит в горле, а горло полно земли, пересохшее, сплошная горечь во рту. Взгляни сейчас в зеркало — Сабина убеждена, на нее бы посмотрело испуганное, страшное лицо, покрытое начавшей ржаветь, запекшейся кровью. Слово из сна, окрасившее небо и землю красным, болью стучит в похмельной голове. Мелкая дрожь в пальцах. Так же трепетали руки, когда она набирала землю из оврага в лесочке рядом с аэропортом. Дрожь передалась всему телу, проникла внутрь.

— Это во спасение ложь! — крикнула в серость раннего утра, беспрепятственно заполнявшую спальню.



Сорванная гардина с громадой штор, похожих на огромную бабочку, стояла в углу у окна. Сабина нащупала на макушке шишку с кулак.

«Так тебе и надо!» Затошнило от мутных обрывков воспоминаний. Горячей волной воспоминания поднялись к горлу. Она едва успела заскочить в ванную, где, согнувшись в три погибели, выпустила из себя красный, зловонный поток вчерашних злоупотреблений.

«Ванна, полная лжи», — забулькало, закипело откровение, и его ей никак не выдать из себя.

На полу на кухне храпит полумуж, свернувшись вокруг ножки стола. Ополовиненная бутылка шампанского ожидает, чтобы опохмелить обожженную душу. Сабина выпила выдохшийся и совсем не игривый напиток залпом.

— Ванна, полная лжи! — пнула мужчину. — Слышишь? Я не могу так!

— Что? Про че ты? — Дима пьяно смотрел на женщину из-под стола. — Какая ванна?

— Полная кровавой земли ванна! — закричала Сабина и схватила с заставленного бутылками и остатками закуски стола сотовый телефон. — Я звоню дяде Ване — и все, короче!

Пока полумуж вяло и кряхтя поднимался, Сабина дозвонилась до родственника и услышала радостный, полный восторга и огня голос:

— Глаз! Помнишь мой воспалившийся глаз?! Я машинально, без всякой мысли помазал его землей вчера перед сном. Уж больно ныл — не уснуть, даже после выпитого... И, Сабиночка, не помню, как заснул, а проснулся — глаз-то здоровей здорового! Никакого покраснения и от припухлости ни следа! Представляешь? Без заварки и врача прошел глаз. Это все родная земля. Живая земля! Целебная!

Племянница слушала, открывала рот, но не издала ни звука. Искренность дядьки разоружала, бодрила, наполняла верой во что-то необыкновенное, в чудо... Сабина потерялась в вихре эмоций, заблудилась в эйфории, льющейся в ухо. Привиделось: она попала на могилу далекой родственницы, где астры звездами, и она взаправду набрала семь горстей земли, и земля та была теплой на ощупь и пахла ванилью и сахарной ватой.

— ...да, да, земля с бабушкиной могилы, сама собрала, своими руками, по-настоящему...

Дядя Ваня отвечал на ее бормотание:

— Ну конечно, по-настоящему. Это же земля моих предков! наших предков! Я теперь буду вместо таблеток принимать землю внутрь, как биологическую добавку. Так и вылечу все болячки. Родная земля лечит! А? Что думаешь? Излечит меня земля-матушка? Чего молчишь? Думаешь, дурак дядька, на старости лет мозги последние посеял? А я, между прочим, ясней, чем когда-либо за эти тридцать лет, все вижу, чувствую и ощущаю! Будто с этой землицей помолодел: одно прикосновение к ней — и половина возраста как с куста. Не поверишь, но я пробежался с утречка по парку! Шел из магазина, и вдруг меня понесло, ноги сами помчали...



— Здорово же, — Сабина щелкала пальцами, нервно сжимая кулаки, и не находила других слов, — здорово...

А перед глазами ванна с бурлящей кровью... Посмотрела на все еще не проснувшегося, качающегося и кивающего полумужа — китайского болванчика, прошептала:

— Налей мне.

— Это по-настоящему здорово, дядь Ваня, — скажет она через неделю, услышав про новое лечебное достижение любимого родственника.

— Если раньше ежедневно изжога мучила, а то и несколько раз на дню, то теперь и черный хлеб жую, и лечо употребляю — и хоть бы намек на жжение. А всего-то — земли на кончиках пальцев раз в день.

Закатывает глаза Сабина, заламывает пальцы рук, кусает губы.

— Здорово, но ты все равно аккуратней. Землю глотать — это как-то...

— Не просто землю, ну ты чего? Это ж с родины земля! С могилы бабушки. Она сама, помнится, говорила, что земля предков — священная! Мать сыра земля — из нее все созданы. И в нее же уходим — вместе с горстью земли, брошенной на гроб.

— Ого!

— Так, ладно. У меня слово было не разгадано в кроссворде, мучило меня, а тут бац — и сложились буквы. «Движение бичующих». Знаешь ответ? Знаешь?.. Ну признайся, что не знаешь!

Снова не находила слов племянница, глазами искала на столе что-нибудь алкогольное.

— Вот и я никак не мог угадать, а здесь сами буквы словом встали: флагелланство. Я-то думал про бичей, божей всяких, не мог понять никак, что это за движение бездомных. А оказалось, это бичевание, самобичевание верующих, как средство умерщвления плоти...

Сабина услышала, как рассекла со свистом воздух плеть за спиной, вздрогнула — твою мать! — телефон из руки едва не выскочил. Обернулась.

— Здорово, — сказала, рассматривая тархтящий холодильник.

Еще через неделю дядя Ваня сообщил: исчезла катаракта с левого глаза и читает он теперь без очков. Бегать стал каждое утро по школьному стадиону и собирается подать заявку на участие в городском полумарафоне, посвященном Дню города.

Диме Сабина в тот же вечер скажет:

— Я смирилась уже и убедила себя, что земля эта с родины, а не изпод иркутского аэропорта. Но это же у дядьки в фанатизм какой-то перешло. Он забыл, что терпеть этот город не может. Что ссылкой, каторгой, неродиной называл! Сейчас же в честь города бежать собирается и медаль получить в забеге. Потом и на область планирует... Ну что это, если не фанатизм? Безумие же, Дим! Не знаю, хорошо это или плохо...



Дима прижал ее к себе:

— Второе дыхание у него открылось от твоей лжи. Благодаря ей. Пускай бежит. Это же круто: на старости лет такие перемены. Послушай, может, та земля и впрямь какая-то чудодейственная, а? И нам, может, попробовать земли оттуда?

Отстранилась, посмотрела на друга Сабина:

— Ты серьезно землю жрать собрался или шутка юмора это?

Улыбаясь, полумуж ответил:

— Че, я бы попробовал в качестве эксперимента денек-другой, неделю. Вдруг мой геморрой рассосется? — И, не давая Сабине сказать что-нибудь обидно-оскорбительное, поставив тем самым точку, добавил: — И ты бы свои женские болячки подлечила.

Дядя Ваня возвращался со стадиона, сжимая кожаный мешочек с родительской землей, когда его окликнули. Окликнуло прошлое. Прошлое в лице соседа из детства подошло к нему спустя полжизни, обняло. Прошлое звали Ринатом, припомнил дядя Ваня.

Ринат случайно тут, обычно с вахты летал через Москву, но не оказалось билетов. И друг армейский пригласил... У прошлого много вопросов и совсем нет ответов. Одно знает точно, на все сто процентов: нет больше поселкового кладбища. Уже лет десять как нет. Ни кладбища, ни могилки, ни звездных астр нет... Не осталось ничего от прошлого, все новое, современное, рассказал Ринат. От родины ни следа. Это уже другая земля. Не наша. Не та, что была в детстве.

Вот оно, сбывающееся с ног откровение, которое он боялся высказать и которое знал всегда: родины больше нет! Нет могил предков, дома детства, двора... С прошлым связывают лишь сны и воспоминания, да парочка старых друзей и знакомых, которым, по-честному, нет до тебя никакого дела, у которых своя жизнь и новая родина.

Дядя Ваня прозрел. Проснулся от зимней спячки. Посмотрел сквозь время, увидел, как уходит под асфальт кладбище, безмолвный страж поселка. Как сам поселок, с его миниатюрными, уютными домиками и вечноцветущими садами, превращается в современный мегаполис из стекла и металла. Увидел племянницу, растерянную, потерянную, набирающую семь горстей (она считает вслух) земли в пакет, зажатый между коленок, в каком-то незнакомом, неродном зеленом парке... Она не могла позволить дорогому человеку, оберегающему ее всю жизнь, узнать горькую правду.

— Она сохранила для меня родину!.. Открыла! — говорил дядя Ваня, набирая номер Сабины. — Открыла!

Когда племянница ответила, он не сдержался. Хоть и велел себе, строго-настрого наказывал, мужчина заплакал.

Слезы к слезам. Сабина расплакалась в ответ на слезы дяди Вани.

Накануне полумужу удалось ее уговорить поэкспериментировать с землей, той, что в овраге у аэропорта. Они приехали к месту в сумерках. Дима накопал два пакета земли — тут и зазвенел у Сабины телефон.

Дима не сразу понял, кто звонит. Не понял и что говорила Сабина. Всклипывающая, испуганная, растрепанная, на себя не похожая в этой синеющей темноте.

Нажав отбой, она сказала:

— Надоело притворяться, что настоящая. Надоело жить наполовину. Ни там, ни тут... Давай уже бери меня замуж, что ли?!

Уронила телефон, нагнулась поднять, но вместо телефона кулак сжал черную сырую землю. Поплелась, спотыкаясь, через кусты и деревья к шумному шоссе.

— Бина!

— Не ходи за мной. Думай пока над моим предложением. И земли набери еще — пригодится! — прокричала она ясно и громко, прежде чем исчезнуть, раствориться.

Потом Дима услышал визг тормозов и сигналы машин, крики. Одновременно услышал, как завибрировал и пропиликал Сабинин телефон на куче свежевырытой земли. Пришло СМС.

Он побежал, рисуя себе возможные и невозможные варианты произошедшего на дороге. Остановился.

— Телефон! — крикнул в темноту. — Слышишь, Сабин, тебе сообщение!

Поднял сотовый будущей жены, спрятал в карман. Набрал в обе ладони полную пригоршню земли, прикоснулся губами к пахнущей пожухлой листвой и грибами почве, попробовал на вкус, одобрительно промычал.

Муж пошел, жуя землю на ходу и глотая, пошел сквозь нахлынувшую тьму к сверкающей электрическими фонарями магистрали и вскоре стал частью света.

Эсэмэску, первую в своей жизни, написал дядя Ваня. «Приезжайте, родная. Жду вас. Откроем бутылочку. Выпьем за Родину!»



Роман ГУСЕВ

КАРДИОГРАММА

Р а с с к а з

I.

Врач развернул хрустящую бумажную ленту. Он работал в поликлинике уже несколько лет, но такой кардиограммы еще не встречал.

— Это что, шутка? — спросил он у пациента. — Какие лекарства принимаете?

— Лимонник китайский пью, настоечку... Еще таблетки у меня есть, мне соседка подсказала... — Дед стал рыться в сумке и карманах, ища таблетки.

Перед кардиологом на столе лежал толстый, как медицинский справочник, эпохальный труд Кейси Хьюза «Искусство трейдинга». Врач придвинул книгу и похлопал ладонью по обложке. Он посмотрел на большие электронные часы над входной дверью. До открытия Лондонской фондовой биржи оставалось почти два часа. Потом он еще раз взглянул на распечатку. Человеческое сердце не умеет так биться. Некоторые пики на кардиограмме, как двойная вершина, уходили высоко за границы бумажного листа, а в самом конце ленты все иглы регистратора резко срывались вниз. Если верить данным, во время снятия ЭКГ у пациента произошла остановка сердца.

— Ну что? Госпитализироваться будем? — спросил кардиолог и на глазок оценил состояние деда. Тот сидел розовый и живой.

— Чего? — не расслышал дед.

— Да уж ничего, посидите пока тут, я щас.

Кардиолог вышел из кабинета, сунув бумажную ленту в карман халата. Он направился в кабинет ЭКГ.

Сегодня там дежурила Ирина Ивановна. Кардиолог был почти в два раза младше нее, но уже «тыкал» ей, как настоящий врач. Он бросил перед ней кардиограмму и сказал:

— Твою мать, Ира, че это за хреновина?! Ты че наснимала?

На это медсестра крепко приложила кардиолога по матери и даже не посмотрела в его сторону. Она привычным жестом сдвинула очки ближе к



глазам и щелкнула мышкой по экрану монитора. Зашуршал регистратор. Кардиолог оглянулся и заметил, что из-за ширмы торчат полные женские икры с четырьмя цветными прищепками. Он смутился и сел. Ирина Ивановна расписала медкарту, вклеила туда фрагмент рыжей миллиметровки и отправила толстые икры в коридор.

Стали думать про деда.

Ирина Ивановна решила поковыряться в настройках кардиографа. Кардиолог разделся по пояс, закатал брюки и лег на кушетку. Он смазал себе грудь токопроводящим гелем, закрыл глаза, и под веками поплыли желтые круги.

— Попробуем что-нибудь новенькое, — прошептала медсестра, и по телу кардиолога побежал легкий электрический ток.

Кардиолог подумал о линиях Боллинджера*. В начале недели он вошел в короткую позицию по акциям «Бритиш петролеум» и сегодня ждал открытия Лондонской биржи в одиннадцать утра по Москве, предчувствуя «медвежью свечу»**. Торговать на бирже кардиолог начал полгода назад. Даже окончил специальные курсы по теханализу. В теории трейдинг давался ему легко, он быстро разобрался во всех индикаторах и инструментах для торговли, разработал доходную стратегию, установил специальную программу, чтобы прямо с телефона следить за графиками акций, и вообще чувствовал себя профи. Только денег его торговая стратегия пока не приносила.

Ирина Ивановна резко сорвала присоски с его груди. С кардиографом было все в порядке, а вот с кардиологом не очень.

— Пил вчера? — спросила Ирина Ивановна, глядя на его кардиограмму.

— Пару пива всего, — ответил он, снова натягивая халат.

— Себе-то не ври.

Кардиолог вернулся в свой кабинет. Пациента там уже не было. Врач посетовал, что, уходя, не запер дверь, но вскоре забыл про деда со странной кардиограммой и продолжил прием. После открытия биржи в Лондоне первая же часовая «свеча» пробила его стоп лосс*** — и привет. Сделка закрылась в минусе, а график акций пополз вверх, опровергнув показания всех индикаторов, которыми пользовался кардиолог. Какие уж тут линии Боллинджера...

До конца приема кардиолог просидел серый, не поднимая головы, на пациентов не смотрел, только расписывал медкарты своим размашистым почерком. В перерыве он остервенело листал Хьюза, заново штудировав главу про основные индикаторы. Ему все казалось, что он упускает очень важную недостающую деталь в своей торговле. Точно решение лежит прямо перед ним и осталось только взять его. И еще с самого открытия

* *Линии Боллинджера* — инструмент анализа финансовых рынков, отражающий текущие отклонения цены акции, товара или валюты.

** *«Медвежья свеча»* — индикатор, указывающий на падение курса акции.

*** *Стоп лосс* — биржевая заявка, выставленная трейдером, чтобы ограничить свои убытки при достижении ценой определенного уровня.



биржи его мучило ощущение, что он уже видел нечто подобное совсем недавно. Какая-то неуловимая догадка свербела внутри. Так он дотянул до конца рабочего дня.

Вечером кардиолог пошел с другом в бар. Друг его работал на скорой помощи. Кардиолог пил на последние, а до аванса оставалась еще неделя. Друзья сидели и молча тянули пиво. Оба знали, что все кончится тем, что кардиолог попросит в долг, и поэтому разговор не клеился. Но когда они взяли по третьей кружке, их отпустило.

— Я тебе такую штуку покажу, ты обалдеешь! — Кардиолог достал из сумки сложенную в несколько раз кардиограмму. Непонятно для чего, но он весь день таскал распечатку с собой. — Вот, с утра у меня дед один был, смотри.

Врач скорой помощи растянул ленту вдоль барной стойки и прижал один край своим пивом.

— Да ладно! — Он даже присвистнул. — И хочешь сказать, что он еще жив? Увидев такое, я бы уже разматывал дефибриллятор.

— А то как же, живее всех живых! — Кардиолог отхлебнул из кружки.

На самом деле он не знал, жив ли еще утренний дед. И отхлебнул еще раз. Но врач со скорой быстро позабыл про кардиограмму: не хватало еще и сейчас заниматься работой. Вместо этого он стал жаловаться на жизнь. Они еще долго пили и болтали обо всем. По кардиограмме, оставшейся на барной стойке, пошли жирные пятна от чесночных гренков, вдобавок на нее что-то пролили. Врач со скорой скидывал на нее скорлупу от соленых фисташек.

Под конец кардиолог с трудом держал голову. Его приятель ушел в туалет и долго не появлялся. Кардиолог смотрел на фазу реполяризации сквозь дно пивной кружки. Он нашел в кармане огрызок карандаша и соединил одной дрожащей линией самые выступающие зубцы, как учили на курсах по трейдингу. Еще не понимая, что он такое делает, второй линией он соединил QRS-интервалы*. Теперь кардиограмма точь-в-точь напоминала график курса акций. Вот что не давало ему покоя весь день! Он открыл на телефоне утренний скачок «Бритиш петролеум» и сравнил его с кардиограммой деда. Они идеально совпадали. Вот только кардиограмма легла к нему на стол за два часа до начала торгов.

II.

Никто не совался в район между Кирпичной и Юбилейной улицами без особых причин. Там стояли бывшие общежития завода «Циклон»: три корпуса, расположенные буквой «П». Их начали расселять еще в восьмидесятых, но так толком и не расселили. Завод закрылся, а люди остались. Из-за духоты и неустроенности в общежитиях жили весело. Не было еще такой ночи, чтобы первые этажи не озарялись проблесковыми маячками, а во двор не заезжала машина полиции или скорой помощи.

* Фаза реполяризации, QRS-интервалы — отрезки графика электрокардиограммы.

Иван Степанович Носовихин жил именно там, в центральном корпусе. Адрес был выведен синими чернилами на медкарте, которую кардиолог умыкнул из регистратуры. Еще он раздобыл маленький переносной кардиограф в черном чемоданчике. С этим чемоданчиком кардиолог и постучался в дверь Ивана Степаныча.

Старик сразу узнал молодого врача.

— Тебе чего? — бросил он и развернулся всем телом, загородив проход в свою комнату.

— Иван Степанович, у меня плохие вести... — начал кардиолог.

— Тоже мне, весталка нашлась! — Иван Степаныч толкнул врача в грудь. — Вали давай!

Кардиолог растерялся и отступил, позабыв все, что собирался сказать. Он не привык, чтобы пациенты так себя вели, и сам любил ставить людей на место.

— Вы меня не поняли, Иван Степаныч, я только...

Но старик не дал ему закончить.

— Нинка! Нинка! — завопил он. Из двери напротив выскочила соседка, и вместе с ней в коридор прорвался запах лекарств и портвейна. — К тебе тут доктор пришел. На давление жаловалась? Вот, получай!

Нинка набросилась на незнакомца, точно ждала его всю жизнь, и торопливо раскрыла ему весь свой анамнез. Больше всего она напирала на ночные поты и удушье по утрам. Пока кардиолог успокаивал Нинку, совашую ему в лицо инструкции от таблеток, Иван Степаныч запер свою комнату и вышел.

— Куда он пошел?! — Кардиолог не совладал с собой, схватил Нинку за плечи и хорошенько тряхнул.

— Куда-куда! — закудахтала Нинка. — В «стекляшку» нашу, куда ж еще...

Она испугалась и рванулась из объятий кардиолога. Но тот сам уже припустил по лестнице, перескакивая сразу через пять ступенек. Потом он долго носился по двору, спрашивая у всех подряд про «стекляшку», и никто его не понимал.

Когда кардиолог нашел нужный магазин, Иван Степаныч уже собирался идти обратно. Сквозь его целлофановый пакет проступали очертания буханки черного и бутылки водки.

— Иван Степанович, послушайте меня, у вас очень редкий случай! И это очень опасно... — У кардиолога кончился воздух в груди, он наклонился вперед, чтобы отдышаться. — Стойте, вы не понимаете!..

— От вас одни проблемы. Делаете вид, что все знаете, а сами и с насморком справиться не можете. Вон и дерево болеет — а то человек, тут думать надо! Он же тебе не справочник, на нужной странице закладку не заложить.

— Что? — не понял кардиолог.

— А то! Я к тебе лечиться не пойду, хилый ты какой-то. Я лучше у Нинки еще таблеток возьму. — Иван Степаныч повернул к общежитию.



Кардиолог шел за стариком, сжимая в руке чемоданчик. То и дело он смотрел на часы. Времени до открытия Лондонской биржи оставалось все меньше. Кардиолог был готов уже применить силу и даже оглушить Ивана Степаныча, с тем чтобы где-нибудь за гаражами подключить его к кардиографу. Но Иван Степаныч был крепким, точно сваренным из железнодорожных рельсов, стариком. С таким в одиночку не справишься. И кардиолог залепетал:

— Иван Степаныч, в конце концов я же врач, я не имею морального права... Как вы не понимаете, это мой долг — помочь вам. Ну не капризничайте, что вы как маленький! Имейте в виду: если откажетесь от моей помощи, я буду вынужден принять меры. Там с вами церемониться не станут, как миленький будете слушаться... Ну Иван Степаныч!..

У подъезда Иван Степаныч ответил:

— Что ж ты прилип ко мне, гнида? Думаешь, я не знаю, чего ты приперся? Вам зарплату подняли, а пациентов нет ни хрена. Все поликлиники пустые. Вот вы и носитесь по домам, чтобы статистику поднять. А народ-то не дурак! Ну посмотри на себя — ты же двоечник! В наше время тебя бы и на завод не взяли. Ты в институте хоть чему-нибудь научился?

Иван Степаныч собирался сказать еще что-то, но тут схватился за сердце, ноги его подогнулись и он осел. Уже на земле опустил голову себе на грудь, точно старый цирковой медведь, делающий кувырок через голову, и так замер.

Кардиолог сразу проверил пульс на шее старика.

К ним подбежали местные алкаши.

— Степаныч! Э-э-э, Степаныч, ты чего? — запричитали они.

— Плохо ему. Сердце, — ответил кардиолог. — Его надо домой отнести. Ну-ка, мужики, помогите! — И он первый взял деда под локти.

— Может, скорую вызовем? — спросил кто-то.

— Я сам врач. Давайте беритесь.

Ивана Степаныча подняли на руки и понесли. Один мужик прихватил пакет и чемоданчик.

В лифте дед стал приходить в себя.

— Мария, Мария, где же ты? — шептал он, когда его несли по длинному коридору до комнаты.

Кардиолог одной рукой пошарил в жилетке старика и нашел ключи. Ивана Степаныча занесли в комнату и положили на диван. Кардиолог забрал свой чемоданчик и тут же раскрыл его перед мужиками, чтобы они видели, что он действительно доктор. Потом выгнал их в коридор и заперся. Иван Степаныч уже совсем пришел в себя и тихо лежал, уставившись в стену. Кардиолог расстегнул на нем рубашку и стал прилаживать датчики на присосках. Все было готово, и аппарат заскреб иглами по бумаге. В ногах у кардиолога мешался пакет, с которым Иван Степаныч вышел из магазина. Врач заглянул внутрь. Насчет водки он ошибся: рядом с хлебом лежала бутылка подсолнечного масла. Дед все так же, не моргая, смотрел на стену. Там, где заканчивался его взгляд, висела черно-белая

фотография молодой девушки. Только когда кардиолог сделал ему инъекцию, он вздрогнул и пошевелился.

— Ай, комарик укусил, тю-тю-тю! — Кардиолог вытащил иглу из плеча Ивана Степаныча.

Старик потерял место укола и стал медленно застегивать рубашку. Кардиолог оторвал целый рулон ЭКГ, раскатал его на полу и начал судорожно расчерчивать. Он то и дело сверялся со вчерашним графиком «Бритиш петролеум» у себя на телефоне. Наконец разобрался, что к чему, отрисовал «свечи» и расставил временную шкалу, чтобы точнее увязать кардиограмму и график акций. Биржа уже открылась, кардиолог установил несколько отложенных ордеров. Он уселся в кресло перед телевизором и стал ждать.

— Что со мной было? — тихо спросил Иван Степаныч.

— А? — Врач подскочил от неожиданности. Он и забыл, что здесь кто-то есть. — Я сейчас приду, мне надо... Где у вас тут можно руки помыть? — пробормотал он и вышел в коридор.

Мужики, ждавшие все это время под дверью, набросились на доктора с расспросами.

— Да нормально с ним все! Сами проверьте! — отделался от них тот.

Мужики зашли к Ивану Степанычу, а кардиолог выбежал на лестничную клетку. Он сел на ступеньки возле мусоропровода, снял часы с руки, чтобы следить за временем. Курс акций скакал туда-сюда, постепенно приближаясь к отложенному ордеру, и если кардиолог все правильно рассчитал, через два оборота секундной стрелки откроется его сделка, а потом еще две. Кардиолога прошиб ледяной пот. Вот сейчас...

Отложенный ордер сработал, и «свеча» медленно поползла вверх... потом, точно передумав, опустилась, почти коснувшись стоп-линии... затем снова вверх, все выше и выше... и вдруг застыла. Прошло десять долгих минут, курс топтался на месте, а потом скачок и... все.

Нечеловеческий крик эхом прокатился по всем коридорам и комнатам общежития, и даже в самых отдаленных закутках этого большого дома задрожали окна.

III.

И что же, это действительно сработало! До последнего кардиолог сомневался, до последнего подозревал, что находится в эпицентре пьяного помешательства. Но ведь был же в истории трейдер, который успешно торговал, используя данные о миграции африканских слонов. Почему бы и ему не торговать, ориентируясь на ЭКГ Ивана Степаныча? А еще одно доказательство — это деньги, настоящие деньги, которые он выводил с биржи на свой банковский счет. Не зря он потратил столько времени и сил на учебники по трейдингу. Смог бы кто другой на его месте увидеть и понять то чудо, свидетелем которого он стал? За неполные две недели кардиолог закрыл все свои кредиты, вернул другу долг и после всего остался в плюсе! Что ни говори, а жизнь налаживалась.



Он приходил за очередной кардиограммой по утрам, когда позволяла работа. Объяснил Ивану Степанычу, что у того сложный и запущенный случай, который требует постоянного амбулаторного наблюдения. Все снятые кардиограммы будто бы отправляются в исследовательский центр в столице, где после тщательного анализа специалисты разрабатывают индивидуальную комбинацию из лекарств.

Кардиолог притаскивал Ивану Степанычу целые пакеты с таблетками. В основном он покупал своему пациенту всякие витамины типа аскорбинки, активированный уголь, глюконат кальция... Иногда брал пустые баночки от лекарств и насыпал туда бесполезный, но дешевый валидол. Для большей достоверности он придумал целую схему, как их пить, и распечатал таблицу, где Иван Степаныч должен был галочками отмечать прием препаратов.

Кардиолог пичкал старика пустышками, потому что боялся смазать показания ЭКГ. Он не знал, как это работает, и полагал, что если настоящему начнет лечить Ивана Степаныча, то кардиограмма перестанет показывать курс акций «Бритиш петролеум». Иван Степаныч не сопротивлялся, послушно пил таблетки и смиренно лежал, когда доктор подключал его к кардиографу. Но визиты врача явно не приносили ему радости. Не раз кардиолог пытался разговорить старика, но тот упрямо молчал. Кардиолог выяснил только, что Иван Степаныч ненавидит больницы и лучше помрет дома, чем даст увезти себя. «Что же, мне это только на руку, — подумал кардиолог. — Да и кому какая разница? Дед несет золотые яйца. Оставим сантименты для сестер милосердия», — решил он для себя.

Кардиолог открывал много небольших сделок. Он старался как можно эффективнее использовать полученные данные, но результат его не устраивал. Большая часть кардиограммы улетала в трубу. Молодой трейдер от медицины просто не успевал воспользоваться всей информацией. Все чаще в голове у него загоралась идея: а как бы подключить Ивана Степаныча к бирже напрямую, точно торгового робота? Нужна точка широкополосного Интернета и грамотный программист, способный преобразовать показания кардиографа в биржевые сигналы в режиме реального времени. Вот только где взять такого программиста, да еще способного держать язык за зубами?

Но больше всего кардиолога удручало, что он не ходит к Ивану Степанычу ежедневно. И все из-за работы. И не в том дело, что кардиолог не мог взять отпуск за свой счет или раздобыть больничный лист. Он понимал, что для его дел нужно прикрытие и нельзя менять свой образ жизни ни с того ни с сего.

В поликлинике тем временем было неспокойно. Сверху спустили бумагу о повышении эффективности медработников на местах, и самых неэффективных было решено уволить. Первым делом молот оптимизации опустился на голову медсестры Ирины Ивановны. Бедная Ирина Ивановна, новость настигла ее в разгар рабочего дня.



В конце смены, когда слухи уже расплзлись по поликлинике, заведующий кардиологическим отделением собрал всех в своем кабинете.

Прямо перед летучкой он зашел за кардиологом.

— Алексей Алексеевич, вы идете? — спросил заведующий.

— Да-да, — кардиолог свернул вчерашнюю распечатку ЭКГ Ивана Степаныча, запер ее в столе и пошел вслед за начальником.

В кабинете все уже были в сборе. Заведующий и кардиолог вошли последними.

— Шавка, — прошептал кто-то за спиной у кардиолога, но тот только улыбнулся.

Заведующий сел во главе стола для заседаний, а кардиолог встал у него за спиной. Наступила тишина, и заведующий сказал:

— Почему-то у всех складывается впечатление, что я, как заведующий нашим отделением и не в последнюю очередь как врач, был поставлен сюда, чтобы кошмарить своих коллег-медиков, с которыми работаю рука об руку не один год. — Он смотрел на своих подчиненных, то и дело останавливаясь на ком-нибудь и обращаясь конкретно к нему. — Вынужден вас расстроить: это не так. Я на этот счет не раз высказывался и хочу высказаться еще раз. Экономить на пациентах мы не будем, но это не значит, что мы не будем экономить на необоснованных затратах, связанных с раздутым штатом. Это в первую очередь нужно вам, а не мне. Сегодня руководством нашей поликлиники было принято непростое решение уволить медсестру Фотиеву. Ирина Ивановна отработала у нас верой и правдой много лет, добросовестно исполняла свои обязанности и не раз награждалась почетными грамотами. Все это так, нам всем ее будет не хватать, но что же это получается? Пациент приходит к нам за помощью, а мы ему — очередь в регистратуру, очередь к терапевту, потом человек попадает в кабинет ЭКГ и только потом к кардиологу. Да за это время он успеет выздороветь и снова заболеть без нашего участия! Мы с Алексеем Алексеевичем, — он показал на кардиолога, — проанализировали текущий момент и пришли к выводу, что наилучшим решением будет, если врачи сами — я подчеркиваю, собственноручно — будут снимать ЭКГ и сразу же, на месте, давать заключение.

Заведующий стал обстоятельно объяснять новую схему работы. Пока он говорил, кардиолог рассматривал своих коллег. Все понимали, что одной Ириной Ивановной дело оптимизации не ограничится. Ему было неприятно, что его приплели сюда, а новая схема работы и для него стала неожиданностью. Он заметил Ирину Ивановну где-то в задних рядах. Она пряталась за чужими спинами, бледная, почти прозрачная.

Начальник закончил, и все стали расходиться.

— Я хотел бы добавить пару слов к вышесказанному, — неожиданно для всех выступил кардиолог.

Все уставились на него.

— Уволить Ирину Ивановну, — сказал он, — это, конечно, свежая мысль. Но мне кажется, что наш любимый заведующий, как настоящий



самурай, должен в первую очередь пожертвовать собой. Я тут подсчитал: если убрать ставку заведующего, можно дополнительно взять на работу целых шесть медсестер или одиннадцать санитарок. Я, в свою очередь, взял бы на себя обязанности заведующего на добровольных началах. Раз уж мы все здесь собрались, предлагаю проголосовать. Кто за то, чтобы наш любимый руководитель добровольно написал заявление об увольнении? — И кардиолог поднял руку.

Пока он говорил, заведующий сидел и одобрительно кивал на его слова. Он явно не вслушивался. Но тут люди стали по одному поднимать руки, и он удивленно посмотрел на кардиолога...

Конечно, последней сцены не было и не могло быть. Кардиолог только представил, что наперекор всему заступает за Ирину Ивановну. Но тут же вспомнил про свою тайну, и вообще, зачем ему этот ненужный риск... На самом деле он так же, как и все, молча вышел из кабинета, когда начальник закончил свою речь. Он старался не столкнуться случайно с медсестрой. Хотя она, кажется, вышла еще раньше.

На следующий день Ирину Ивановну рассчитали, даже не дав поработать положенные две недели.

IV.

Кардиолог шел к общежитию «Циклона» своим обычным маршрутом. Прошло уже три месяца, а старик продолжал стабильно делать профит. Теперь кардиолог не торопился, как раньше, теперь время не значило ничего. Он собирался заработать все деньги мира, а такое не терпит суеты. Вся его нынешняя жизнь умещалась в маленькой комнате общежития, как в картонной коробке, а внутри мерно шуршал кардиограф и ворчал Иван Степаныч.

Ближе всего до общежития было через пустырь. Сквозь высокую траву и заросли чертополоха пролегла бетонная дорожка. Кардиолог шел в утренней мороси совершенно один, только где-то далеко вспыхнул на мгновение гудок сирены и сразу затих. Остатки ночного тумана терялись у края пустыря. Руку приятно оттягивал чемоданчик с кардиографом. Слева прямо из травы и кустов торчала крыша общежития, образуя вершину с тремя пиками. Расстояние до нее терялось в тумане. Кардиолог пересек пустырь и пошел мимо череды кирпичных пятиэтажек. За последней пятиэтажкой начинался длинный забор, окружающий двор общежития. Туда он и повернул.

Первое, что увидел кардиолог через решетку забора, была машина скорой помощи перед центральным корпусом. Красное на белом. Вокруг скорой сгрудились люди. Кардиолог побежал. Чтобы попасть к подъезду, ему нужно было обогнуть по периметру весь двор вдоль забора и войти с другой стороны через ворота. Даже в школе на уроках физкультуры он не развивал таких скоростей. Уже оказавшись внутри двора, кардиолог различил, что рядом со скорой стоят знакомые ему алкаши, а еще он узнал



мамочку с коляской и двух собачников. Пока он бежал, из подъезда вынесли человека, накрытого простыней, и стали затаскивать его в машину через заднюю дверь.

— Стойте! — Вопль кардиолога взорвал утреннюю тишину.

Кардиолог продрался через толпу зрителей прямо к носилкам. И вот она — надежда: простыня не доходила до лица! Значит, человек еще жив. Кардиолог оттолкнул фельдшера и наклонился над больным. С носилок на него уставились испуганные глаза — незнакомый старик, седое небритое лицо, пересохший рот. Кардиолог выпрямился и опустил руки.

— Леха? Ты чего здесь? — спросил кто-то у него за спиной.

Кардиолог обернулся. Перед ним стоял его друг в синей медицинской куртке — тот, с которым они постоянно пили пиво после работы.

— Привет. Ты на вызове, что ли? — Кардиолог вымученно улыбнулся.

— А ты-то как здесь? Знаешь его? — Врач скорой небрежно отодвинул приятеля в толпу зрителей и ловко закатил носилки с пациентом в машину.

— Нет. Я обознался. — Кардиолог отвечал уже в спину, обтянутую синей курткой.

— Ну, значит, дурак ты, если обознался. — Врач захлопнул заднюю дверь машины. — Темнишь ты, Леха! Пиво не пьешь, долги раздал... Если ты бабу завел, ну так и скажи. Чего шкеришься, как школьник? — Он махнул головой на здание общепита: — У тебя тут кто-то есть?

Кардиолог промолчал. Тогда его приятель сел в скорую и уехал. Люди стали расходиться, а кардиолог стоял и ждал, пока красно-белая «газель» скроется из виду, и только тогда поднялся к Ивану Степанычу.

За дверью работал телевизор. Кардиолог тихо постучал три раза. Послышалось знакомое кряхтение и шаркающие шаги. Заскрипела щелкада, и Иван Степаныч впустил гостя. Он, не глядя на врача, выключил телевизор и, не выпуская пульт из рук, лег на диван. Кардиолог запер за собой дверь, пододвинул к дивану стул и поставил на него кардиограф. Потом он стал разматывать провода. И врач, и хозяин при этом молчали — впрочем, как всегда. Когда из аппарата поползла лента, кардиолог отошел к противоположной стене. Там висела таблица приема лекарств, которую он изготовил для Ивана Степаныча, в ровных графах были проставлены галочки. Он немного постоял, вглядываясь в схему, потом вернулся к дивану и выключил кардиограф.

— Что, уже? Сегодня что-то быстро. — Иван Степаныч поднялся и снова врубил телевизор.

— Иван Степаныч, а кто это? — кардиолог указал на фотографию девушки на стене.

— Жена моя, — ответил Иван Степаныч. — Вы теперь когда придете, послезавтра?

— Она здесь такая красивая... Что с ней случилось, где она? — спросил кардиолог. — Расскажите.

Иван Степаныч убрал звук на телевизоре.

— Нечего рассказывать. Врачи ее угробили, молодой еще была. Только дочка и осталась — Настя, взрослая уже. Вот теперь и ты меня угробишь, все к одному. А я ведь старше нее был на восемнадцать лет, и что толку?

— Зря вы так, Иван Степаныч, сейчас медицина совсем другая.

Иван Степаныч чему-то улыбнулся, но не возразил.

— Вот что, доктор, — старик вдруг заговорил официальным тоном, — я вечно жить не собираюсь, на этот счет можешь быть спокоен. Но ты меня хоть полгода протяни. Сможешь? — Кардиолог кивнул. — Вот и молодец. Дочь я обидел, Настю свою. Помириться мне с ней надо, а если помру... Нельзя мне пока, понимаешь? Да стал бы я ради себя вот это все!.. — выкрикнул дед, махнул на схему приема лекарств и осекся.

Они оба замолчали.

— Иван Степаныч, а что мы действительно как не родные? — после долгой паузы сказал кардиолог. — Давайте хоть чаю выпьем, что ли, я не знаю... Есть у вас чай?

Чая у Ивана Степаныча было в достатке. Они просидели почти час и первый раз, кажется, по-настоящему разговаривали. И в этот час Иван Степаныч сумел уместить всю свою жизнь, и жизнь Марии, и дочери. Он словно передавал кардиологу часть себя, часть своей памяти, чтобы она смогла пережить несовершенное, больное тело. Может, ни с кем и никогда он раньше так не разговаривал.

Потом кардиолог ушел. Уже в дверях, провожая его, Иван Степаныч зачем-то произнес:

— Медицина сейчас другая, это ты правильно сказал. Вот только люди все те же.

V.

Два дня спустя кардиолог сидел в троллейбусе. Он вез кардиограммы Ивана Степаныча профессору Ионову, своему учителю и наставнику по медицинской академии. Всю ночь он ползал на коленях с ластиком в руках, избавляясь от своих пометок, от всего, что связывало кардиограмму с фондовым рынком. Все, что он снял за последний месяц, было теперь с ним, в сумке, ремень которой он предусмотрительно перекинул через голову. Остальное он еще раньше уничтожил, изорвал на мелкие кусочки.

Напротив него в троллейбусе сидел неприметный мужчина. Кардиолог посмотрел на обувь пассажира. Его ботинки были тщательно вычищены и смазаны, от них несло казармой. Они блестели, как хромовые белогвардейские сапоги в фильмах про Гражданскую войну. Кардиолог вспомнил, что уже видел раньше точно такие ботинки на другом человеке, и тоже в троллейбусе. Только тогда он ехал на работу.

С профессором Ионовым они созвонились накануне, и тот ждал своего бывшего студента. Кардиолог подумал о профессоре, уже когда в



последний раз вышел из общежития «Циклона». Образ старого доброго учителя поднялся в памяти. А кто, если не он, сможет разобраться в странном случае Ивана Степаныча? Кардиолог отмахнулся от этой мысли. Он тогда сидел на лавке во дворе и прямо на коленке расчерчивал последний фрагмент кардиограммы. Зашел в смартфон, открыл график акций «Бритиш петролеум» и попытался сосредоточиться на ордерах. Но не этому его учил профессор Ионов в академии. Кардиолог вышел из приложения и с тех пор его не открывал. Сутки он собирался с силами, чтобы позвонить, и наконец решился.

У профессора он бывал много раз: Ионов любил своих студентов и часто собирал их у себя дома. Вот и сейчас кардиолог не задумываясь дошел от остановки до дома профессора, хотя не навещал его несколько лет. Он поднялся на лифте и остановился перед знакомой дверью. Но, перед тем как нажать на звонок, ему вдруг захотелось еще раз взглянуть на свои старые биржевые сделки. Вообще, он часто возвращался к закрытым ордерам, принесшим ему прибыль. Такие простые и очевидные решения, почти банальные и прекрасные в своей простоте. Почему же он сам не мог так торговать? Не пришлось бы мучить Ивана Степаныча.

Кардиолог открыл приложение для трейдинга. Его аккаунт был заблокирован. Сначала он не понял, что произошло, но, порывшись, нашел сообщение от администратора: «По техническим причинам работа вашего аккаунта временно приостановлена. Свяжитесь с нами...» — дальше шел номер телефона. Кардиолог попытался открыть свой счет в банке, куда он выводил деньги с биржи. Но даже не смог войти в личный кабинет: приложение раз за разом выдавало ошибку.

В дверь к профессору кардиолог так и не позвонил. Снова и снова пытаясь открыть свой банковский счет, он стал спускаться по лестнице. Вышел из подъезда — и наткнулся на мужчину из троллейбуса в «казарменных» ботинках. Тот сидел с газетой на скамейке перед домом. Он посмотрел на вышедшего кардиолога и два раза удивленно хлопнул глазами. И тут кардиолог отточенным правым хуком выбил его с лавки вместе с газетой. Видимо, потеряв сознание, мужчина остался лежать на земле. Кардиолог и сам не понимал, где научился так бить, но времени жевать сопли не было. Он бежал через дворы все дальше от дома профессора, то и дело оглядываясь, но за ним вроде бы никто не гнался. Оказавшись достаточно далеко, он прислонился к высокому деревянному забору, чтобы перевести дыхание. Он не мог поверить, что это происходит наяву. Здесь наверняка ошибка или недоразумение. Отдышавшись, он позвонил в свою брокерскую компанию.

Ответил не сразу. Кардиолог принял это как добрый знак. Девушка выслушала его проблему и перевела на другого специалиста. Специалист тоже его внимательно выслушал и соединил еще с кем-то. Наконец трубку взял кто-то действительно важный.

— Да, нам пришлось временно заблокировать ваш аккаунт, — ответили кардиологу. — Ничего серьезного, просто нужно уточнить кое-какие детали. Вы могли бы в ближайшее время подъехать к нам в офис?

— Я мог бы, то есть могу. — Кардиолог отвлекся от разговора и прислушался.

— Мы придем за вами машину. Где вы сейчас находитесь? — прошипел динамик.

Вместо ответа кардиолог сбросил звонок и перекинул телефон через забор. Туда же он зашвырнул свою сумку, набитую кардиограммами. Кажется, он успел. Рядом взвизгнули тормоза и хлопнула дверь. Кардиолог направился в другую сторону, но прямо перед ним вырос мужчина, которого он совсем недавно так ловко нокаутировал. Теперь его легко было узнать по синей «сливе» под глазом. Мужчина предложил кардиологу пройти к машине. Кардиолог подчинился. В конце забора их ждала черная иномарка представительского класса.

В офисе брокерской компании кардиолог был только раз, когда заводил аккаунт. Машина подъехала к четырехэтажному офисному зданию, кардиолога завели внутрь через служебный вход, провели по коридору и оставили одного в комнате без окон. В ней рядами стояли офисные стулья, у стены — стол, а под потолком висел проектор. Кардиолог стал ждать.

К нему долго никто не приходил. Потом появился плотный молодой человек в костюме.

— Алексей Алексеевич, как же я рад с вами познакомиться! — вошедший вытянул руку и прошел с ней вдоль ряда стульев к кардиологу. Но рукопожатие вышло слабым и каким-то липким. — Я ваш брокер, — сказал крепьш и предложил пересесть за стол. Имени своего он не назвал. — Вы не можете вообразить, как давно я жаждал узнать вас лично! — Брокера переполняли эмоции. — Хотите кофе или чай?

— Я буду кофе, два сахара и без молока. — Кардиолог не разделял радости от встречи и говорил сквозь зубы.

— Хорошо, это очень хорошо! — воскликнул брокер. Было ясно, что он говорит машинально, повинуюсь этикету. Распорядиться о том, чтобы им подали кофе, он и не подумал. — Как это у вас получается так торговать? — продолжал он с восхищением. — Я много лет в профессиональном трейдинге, но вы... Кажется, вы работаете в обычной поликлинике?.. Впрочем, нет, нет и нет! — Брокер зарделся. — Я не имею права задавать такие вопросы...

Тем не менее он их задавал, задавал настойчиво, и сам же на них уклончиво отвечал. Кардиолог только односложно поддакивал. Между ними завязался липкий, неприятный разговор — такой же, как ладони брокера. Кардиолог все меньше понимал, что происходит, а брокер продолжал кривляться и гнуть какую-то свою линию. Потом в комнату вошла секретарша и принесла кардиологу кофе, и он понял, что их прослушивают. Брокер тянул время. Речь его, бестолковая и бессмысленная, неудержимым потоком обрушивалась на голову кардиолога. Передышки не было. Но тут снова открылась дверь, и брокер замолчал. В комнату торжественно внесли сумку и телефон кардиолога, которые

он совсем недавно перекинул через забор. Брокер дернул молнию на сумке, и на стол посыпались маленькие бумажные рулоны. Кардиолог похолодел.

— Так-так, берете работу на дом? — поинтересовался брокер и вытянул из кучи одну ленту. Тут кардиолог понял, что не слишком тщательно работал ластиком прошлой ночью. На многих кардиограммах остались тени от карандаша. Теперь брокеру не составит труда разобраться, что к чему. И он разобрался.

— Вы действительно торговали? Что это? Мы полагали, что тут какое-то мошенничество... — Брокер растерянно брал другие ленты, но там было то же самое. — Чьи это кардиограммы? Почему?

— Кардиограммы мои, я снимал их сам у себя. И потом торговал по ним. Как по слонам, знаете? Африканские слоны. — Кардиолог решил пустить их по ложному следу и выгородить Ивана Степаныча. — Сам себя подключал к кардиографу и снимал, — повторил он.

— Вы сумасшедший. — Брокер понизил голос, пытаясь успокоиться. — Seriously, объясните, что это такое? — Он разматывал бумажные ленты одну за другой.

Он все не мог поверить, но тут и там попадались фрагменты «свечей», линий тренда, поддержки и сопротивления, отрисованных поверх живого, бьющегося сердца.

VI.

Спустя час кардиолога отпустили. Ему вернули телефон, сумку, пачку кардиограмм и разблокировали аккаунт. Напоследок брокер пожелал кардиологу успеха в торговле, но предупредил, что лично будет следить теперь за всеми его сделками. Разговор вымотал брокера, ему все труднее было сохранять лицо. Но он пересилил себя и проводил кардиолога до самого выхода.

Кардиолог вышел на улицу. Его никто больше не сопровождал. Но он не строил иллюзий и прекрасно понимал, что так просто его не оставят. Он попался. Единственное, что он еще может, — это не дать им добраться до Ивана Степаныча. Хотя бы здесь он не налажал. Ничто на кардиограммах не могло привести их к старику. Пока брокер тянул время, в соседнем помещении наверняка снимали копии с лент и копались в телефоне.

Кардиолог задумался о том, что будет дальше. За его домом теперь установят слежку, если еще не установили. Туда возвращаться опасно. Для начала нужно избавиться от телефона. И он, действительно, вынул из телефона карту памяти и сунул в карман. Снял батарею, положил аппарат на асфальт и разбил экран каблуком. Остатки телефона отправились в ближайшую урну. С этим все. Он поймал такси и поехал в центр. Там он какое-то время шатался по торговому комплексу и, убедившись, что за ним нет хвоста, опять поймал машину.



Таксист привез кардиолога туда, где никто бы не догадался его искать. Кардиолог был там только раз: его попросили помочь собрать шкаф, а он зачем-то согласился, хотя никогда и отвертки в руках не держал. Шкаф тогда, кажется, так и не собрали. Он поднимался по лестнице, на ходу вспоминая, какая ему нужна квартира. Нашел на третьем этаже смутно знакомую дверь и позвонил. Через минуту дверь открылась.

— Как ты? — спросил кардиолог и виновато опустил голову.

— Да плохо все, Леха, — ответила Ирина Ивановна. — Чего стоишь, заходи, что ли... — Она впустила его.

Да, это была квартира бывшей медсестры, молчаливой жертвы оптимизации. За окном уже темнело, и Фотина не ждала гостей. На ее плечи поверх ночной рубашки был накинут цветастый халат. Всегда собранная и подтянутая на работе, сейчас Ирина выглядела растрепанной, потерянной, будто со сна. Она запахла, завязала пояс и посадила бывшего коллегу на кухне. А через несколько минут вышла к нему, переодевшись в спортивный костюм и подрисовав черные стрелки в уголках глаз. Теперь она стала прежней Ириной Ивановной, которую он знал с первых дней работы в поликлинике.

— Работаете где-нибудь? — спросил кардиолог, когда она поставила чайник и стала накрывать на стол.

— Да какая там работа! Кассиршей в универсаме подвязалась, — махнула она. — Ничего, жить можно.

— А я, Ир, вляпался так вляпался! — Кардиолог закрыл лицо руками.

— Что ты? — Ирина Ивановна села рядом с ним и нежно, по-матерински, погладила его по голове.

И он рассказал ей страшную историю своих злоключений. Слова текли из него сами собой вместе со слезами, и ему становилось легче. Впрочем, правды в его истории не было совсем. Зато там были судебные приставы, карточные долги, женщины, кредиты и бандиты-коллекторы, выследившие его. Теперь они носятся за ним по городу с оружием в руках. Только сегодня ему удалось оторваться.

— Ир, ты прости, что я к тебе вот так приперся. — Кардиолог вытер лицо. — Я сейчас уеду. Нельзя мне здесь... — И он, действительно, встал из-за стола.

На плите засвистел чайник.

— За тебя же никто не заступился! — крикнул кардиолог. — За что они с тобой? Как же так? Ведь мы все тебя подвели! А я больше всех подвел!

Ирина Ивановна поднялась и обняла кардиолога. Его била дрожь.

Это был долгий вечер. Они сидели на кухне и говорили. Ирина Ивановна накормила кардиолога ужином, а ночью постелила ему на диване.

Когда на другой день он проснулся, Ирина Ивановна уже ушла на работу. Кардиолог нашел в буфете кофе, сделал себе несколько бутербро-



дов и вызвал такси. Вчера, уже почти засыпая, он понял, как быть дальше. План появился в его голове как озарение, простой и точный.

Недалеко от города был небольшой дачный участок. Дача принадлежала родственникам кардиолога, двоюродным дяде и тете — что-то вроде того. Но они давно перебрались в Москву, и дом пустовал. План был такой. Кардиолог перевозит Ивана Степаныча на дачу, чтобы до него не добрались люди из брокерской компании. Туда же он привезет профессора Ионова, чтобы он осмотрел старика. А там или Иван Степаныч останется на даче, или кардиолог спрячет его в какой-нибудь больнице под чужим именем. Еще кардиолог подумал, что, пока Иван Степаныч не выздоровел, имеет смысл где-нибудь найти подставного трейдера, чтобы через него открывать ордера. Было бы глупо отказываться от денег.

В такси кардиолог еще раз проговорил план про себя.

Машина заехала в знакомый двор. Кардиолог расплатился с таксистом и поднялся на лифте. Он шел по коридору, придумывая на ходу, что скажет Ивану Степанычу, как объяснит, что тому нужно ехать за город и прятаться на даче. Подошел к комнате деда. За дверью было тихо. Кардиолог постучался, как обычно, и дверь сама собой приоткрылась.

«Неужели они его нашли?!» Он толкнул дверь и вошел.

В комнате было тепло и спокойно, все вещи стояли на своих местах, но Ивана Степаныча не было. На стене все так же висела схема приема лекарств. Кардиолог подошел к ней, чтобы посмотреть, когда старик отменялся там в последний раз. Провел пальцем по крайней колонке...

— Здравствуйте, — сказал кто-то у него прямо над головой.

Он обернулся.

— Пойдемте со мной, — тихо попросила его незнакомая женщина.

Она была очень высокой, с широкими плечами, не полной, но именно что большой, с добрым круглым лицом. Кардиолога поразило, насколько она похожа на своего отца. Но по рассказу старика он почему-то представлял ее маленькой девочкой. Он вышел за ней, и они сразу попали в комнату напротив, где жила соседка Ивана Степаныча — Нинка. Эта комната оказалась намного больше, чем у старика. За накрытым столом сидели люди. Некоторых кардиолог знал. Ему нашли место и усадили рядом с Нинкой. Анастасия поставила перед ним кутю. Он стал есть.

Кутя превратилась во рту в сладкий вязкий комок, кардиолог жевал и не мог проглотить. Нинка взяла у него тарелку и положила что было на столе. Он и это ел. Ему налили водки, и он медленно влил в себя полную рюмку. Только тогда поднял глаза на Анастасию.

— Доктор, слышите меня? — шепнула ему Нинка и толкнула локтем в бок. — Мне нужно будет с вами посоветоваться потом. Ну, помните, про те таблетки, я вам инструкцию показывала...

Кардиолог кивнул ей, не расслышав, и снова уставился в свою тарелку. Мужики, помогавшие ему нести Ивана Степаныча в тот день, когда он впервые пришел сюда, теперь сидели напротив. Они все были в одинаковых серых пиджаках и выглаженных рубашках, вели себя серьезно, с до-

стоинством. Почти не пили водку, но очень хорошо говорили. Кардиолог молча работал челюстями, а когда нужно — опрокидывал рюмку. Тут на его руку, сжимавшую вилку, легла теплая ладонь.

— Можно с вами поговорить? — спросила Анастасия.

Они вышли в коридор.

— Я все про вас знаю. — От волнения Анастасия сложила руки в замок.

Кардиолог посмотрел вдоль коридора — туда, где был выход на лестничную клетку. И тут она расцепила руки и крепко, до боли, схватила его за локоть.

— Спасибо вам, — с трудом выдавила она.

— А я что?

— Спасибо, что были с ним все это время, что помогали ему, лечили... — говорила она и не отпускала.

— А я что? — У кардиолога заело. Он не знал, что еще сказать.

— Это я должна была, понимаете? Он так меня ждал! — По ее красным щекам потекли слезы. — Извините. — Анастасия выпустила кардиолога и отошла.

Кардиолог понял, что сейчас лучший момент, чтобы уйти и никогда больше не возвращаться сюда. Он в последний раз посмотрел на дверь Ивана Степаныча, а потом на его дочь. Она плакала, закрыв лицо ладонью, прислонившись к стене. Оттого что она была такой большой и сильной, но все равно плакала, ему стало жалко ее.

Кардиолог почувствовал к ней нежность. В нем рождалась надежда.

— Анастасия, послушайте меня... У вашего отца был очень сложный случай. Его сердце... Я такого еще не встречал. Но самое страшное, что он мог передать вам свою болезнь по наследству. Вас обязательно нужно проверить, понимаете? — Кардиолог прикоснулся к ней, чтобы убедиться, что она его слышит. Она уже не плакала. — Приходите ко мне на прием. Конечно, это маловероятно, но нужно убедиться. Потому что чем раньше мы начнем лечение, тем лучше. Я вам кардиограмму сниму, даже несколько. Нужно посмотреть в динамике. Хорошо?

— Я приду, я обязательно приду, — закивала Анастасия. — А теперь давайте вернемся. Вы ведь еще не уходите?

— Куда же я теперь пойду, — ответил кардиолог.



Мария ТЕПЛЯКОВА

«У СЕРДЦА ТВОЕГО ТАКОЕ ИМЯ...»

* * *

Удержишь спросил удержу удержу
Ну на тогда птицу ссадил на рукав
Как стала она напевать да летать
Так стало понятно что это любовь

Иду вдоль дороги вечерней порой
А птица как лодку качает меня
Качаюсь корабликом на облаках
Взлетаю сквозь тучи как шар голубой

К тебе все дороги мои убегут
К тебе все синицы мои журавли
Все капли дождя каждый стебель травы
И колокол каждый поет о тебе

Серебряный наш продуваемый рай
Где жар облепиховый зряч и горюч
Сквозных колоколен столетние сны
Отчаянно так обнимаю тебя

Что скажет Господь хорошо хорошо
Закроет глаза не развеет как дым
Внизу полыхает костер Костромы
Метель засыпает и ты уже спишь

Останется что только слово одно
Да может быть музыки несколько фраз
И дивное диво улыбки твоей
И чудное чудо ладоней твоих

* * *

смерть собирает ягоды в перелеске
красная красная красная земляника
ходит с корзинкой бабка из деревенских
юбка линиялая и до бровей косынка
черная черная черная ежевика
руки в занозах все исколола пальцы
где гармонист где голоса девичьи
нет никого видно ушли на танцы
тронет рукой ягодку как ребенка
милой молчи лучше пусть будет тихо
больно горит там далеко в сторонке
желтая желтая желтая облепиха

* * *

близ меня ты близ огня
эта ночь светлее дня
это свет твоей ладони
на ладони у меня
птичка стриж ты в небе спишь
я не сплю пою люблю
Богородицу Марию
я о помощи молю
чтобы горя не будить
за черту не заходить
только знаю сердцу нечем
этой страсти возразить

руки тянутся друг к другу
море катится по кругу
море вечно будет жить

* * *

прости меня разбиваются самолеты
падают в море черные самолеты
как это больно
крыльями режут воздух
в черную воду падают от тоски

больше они не птицы не сновиденья
звезды их не поглядят по фюзеляжу





сквозь облаков подставленные ладони
мимо твоей спасительницы руки

падают молча крестики самолетов
словно небесный осыпался куст сирени
или обрушился воздух как колокольня
звоном последним крыльев коленок лиц

пусть бы они обратно вернулись в небо
в синее небо белые самолеты
на высоту три тысячи километров
если бы я отвечала за этих птиц

я бы тогда все ночи молилась Богу
я бы тогда все дни целовала ветер
я бы тогда смогла полюбить живущих
если б мои старания помогли

прости меня снова падают самолеты
благословенны будут твои полеты
благословенны будут твои пилоты
смилуйся подхвати их у самой земли

* * *

Борис и Глеб садятся на коня
И конь летит из нынешнего дня
Копытцами преображая воздух
И голубые утренние звезды
В сырой траве тихонечко звенят

Борис и Глеб заводят разговор
И речь гудит как на ветру костер
То красным то зеленым разгораясь
И бродит возле братьев злая зависть
Но меч спокоен в ножнах и остер

Ты помнишь этот ветер в камышах
Он птичья беспокойная душа
Рассказывал о поднебесной выси
Что отзывалось в нас скажи Борисе
Легко ли было нам с тобой дышать

Ты помнишь как молчание текло
Как рассыпалось золотом стекло
Ладья стремилась ткнуться носом в берег
Так далеко ни вспомнить ни проверить
Засвечено февраль белым бело

И вот стоим на Каменке реке
Я звезды удержу в одной руке
Но ты меня держи двумя руками
У самого обрыва возле камня
Где времена висят на волоске

* * *

у сердца твоего такое имя
которое я с детства часто слышу
похожее на вербу и на ветер
на лодку деревянную в воде

на тихо облетающий шиповник
на ласточкины с Богом разговоры
на лестницу у старой колокольни
где катится и катится звезда

у сердца твоего такая нежность
что хочется уткнуть лицо в колени
ты путаница ласточка психея
ты летний дождик солнечный слепой

а бабочка лоскутная царевна
летит на свет и ничего не помнит
то колокол потрогает руками
то Господу садится на рукав



Галина ШЛЯХОВА

ВОВКА-ПИСАРЬ

Р а с с к а з

Шестиклассник Вовка Зырянов, наевшись вдоволь жареной картошки со свежим малосольным тугоном, растянулся на диване. Бабка Любава, нахваливая внука за хороший аппетит, прибирала со стола, а Вовка в ответ хвалил бабку:

— Уж что-что, а картошечку ты жарить — ложку проглотить можно!

— Это ешо че за задумки — ложки глотать?! — не поняв комплимента, оглянулась бабка.

— Да это, бабка, образное выражение. Значит «очень вкусно»... — лениво пояснил Вовка.

— А! — кивнула бабка и, глянув в окно, заметила: — Эван ласточки к земле льнут — видать, к дождю! Надо бы кружки с шеста в дом занести... Вчерась постирала, уж пробыгали*, поди. Не хватало, польет — и будут болтаться неделю!

Вовку донимала сладкая дремота, встать с дивана не хотелось, он смачно зевнул:

— Эх, вечно ты... глупости говоришь... Никакого дождя не будет, солнце вон светит... — Глаза закрывались сами собой.

Бабка пристально посмотрела на внука:

— Эт с чего «глупости»? Приметы, они народом веками проверены. Если лень родной бабке помочь, так и скажи, мол, лодырь я — только есть да спать могу, а напраслину на бабку не веди! — И она обиженно передразнила внука: — «Глупости говоришь!» Ишь кого валит, страмец! — И бабка загремела чашками.

Тут уже обиделся Вовка. Бабка уличила его в сиюминутной лени, но по большому счету ленивым он не был. «Ишь какая! — думал Вовка. — Сама обкормила, сама полежать предложила, а теперь вот те на — “только есть да спать”! А я для нее...» — И он принялся пересчитывать в уме все свои добрые дела и трудовые подвиги.

Бабка, еще раз поглядев на вращающего глазами внука, спросила:

— Че, стыдно стало?

* *Пробыгать* — проветриться, просохнуть. Здесь и далее встречаются выражения, употребляемые коренными жителями северных деревень Туруханского района Красноярского края. — *Прим. ред.*

Вовка подскочил, сел на диване, скрестив руки на груди и закинув ногу на ногу, — и пошел в атаку:

— Это тебе должно быть стыдно! Разве я тебе не помогаю? Кто грядки копал? Картошку помогал сажать? А воду с дровами кто тебе та-скает? Если все перечислять, пальцев не хватит...

Бабка приняла вызов и подбоченилась:

— Эт ты ешо, поди, все записывашь? А?!

Вовка устыдился.

— Да ты че, баб, я ж так, к слову припомнил... А то ты так сказала, что получается, я — лодырь! — оправдывался он.

Бабка довольно улыбнулась, но тут же нахмурилась:

— А тоды че про «глупости» какие-то говоришь?! Ведь по всему видать, делать не хочешь...

Вовка возмутился:

— Вот видишь, как ты сразу подумала! Да занесу я эти кружки, разве мне трудно! Ведь дело же в другом!

— В чем — другом? — Бабка прищурилась.

— В твоей дремучести! — всплеснул руками Вовка, встал и с видом учителя начал прохаживаться по кухне. — Все у тебя какие-то приметы да присказки ненаучные. Серость и безграмотность, одним словом...

«Ишь, каво заходил, еретик белоглазый!» — думала про себя бабка, присев на табурет.

А Вовка, краснея, распалялся:

— Вот при чем тут «ласточки к земле льнут»? — копировал он бабкину интонацию. — Ну пролетели две птицы над землей... А дождь-то тут при чем?

— И не две вовсе! — вклинулась было бабка, но Вовка глянул на нее сверху вниз и продолжил:

— Пусть не две, не в этом суть. Дождь пойдет, когда фронт сменится, понимаешь?

«Какой-то фронт приплел!» — возмутилась про себя бабка, а вслух язвительно ответила:

— Куды уж нам-то, дремучим, знать...

— Вот и я о том! Фронт сменится, ветер другой подует, тогда и дождь будет! А птицы эти, к твоему сведению, не ласточки совсем!

«Ишь ты, каво собирает!» — мысленно усмехнулась бабка.

— Ну, скажи неразумной, и хто это такие тогда! Может, ежи летучие? А?! — прыснула она.

Вовка ехидно заулыбался:

— Смейся, смейся! Хорошо смеется тот, кто смеется последним! — Он сделал паузу, пока бабка не смолкла. — Так вот, это не ласточки, а стрижи! В наших краях ласточек нет вовсе!

Бабка скукожила лицо:

— Так это одно и то же!

— С чего ж?! Ты еще скажи, что ворона и ворон — одно и то же! — Вовка сузил глаза. Он был мальчиком любознательным, увлекался орнитологией и намеренно перевел спор в нужное ему русло.

— Конечно, не одно и то же. Ворон — мужик, ворона — баба, стало быть! Взялся мне умник! — Бабка махнула рукой. — Совсем парень дурак... — буркнула она тихо.

— Ерунда! Ворон и ворона — это не самец и самка, это вообще разные виды птиц! А ворон бывает тоже много видов: и серая там... и другие еще! — В пылу спора все названия вылетели у Вовки из головы, но он нашелся: — И вообще, настоящие вороны у нас не обитают, они живут южнее и доживают почти до ста лет! А ты: «Мужик и баба!» Ха-ха... — Он наигранно захохотал, а потом продолжил: — А налим с нельмой — это муж и жена!

Бабка на это рассвирепела. Вовка намеренно задел ее за живое, ведь уж в речной рыбе она, выросшая на берегу Енисея, разбиралась.

— Ты меня за дуру-то не держи! Все в кучу свалил! — Она вскочила с табурета. — Все! Собирай свои манатки и шуруй отседова, чтоб глаза мои тебя больше не видали!

Вовка подскочил к вешалке и сдернул куртку.

— Ну и пойду! И не приду больше! — бубнил он.

— Вот и иди, иди! — подначивала бабка. — Губы толще — брюхо тоньше!

Вовка, зло зыряка на бабку, накинул куртку и, впрыгнув в сапоги, выскочил в сени. Дверь со скрипом закрылась...

— Ишь, какого срамца выпестовала себе на голову! — продолжала возмущаться бабка. — Вот больше на порог не пущу! Моду взял, ему слово — он те сто. Нет, надо его взвешивать* почаще. Никаво воспитанием парня не занимаются... — И она забухтела ругательства в адрес сына и невестки.

Тем временем дверь снова скрипнула, и на пол прихожей шмякнулись снятые с шеста кружки.

Мама подоила корову и, разлив молоко по банкам, окликнула Вовку, сидящего над журналом «Юный техник» рядом, за обеденным столом:

— Вовочка, сходи до бабки, унеси молоко!

Вовка нахмурил брови:

— Пусть Светка ходит, все одно бесполезным делом занимается!

В кухню заглянула старшая сестра Света:

— Ничего себе — бесполезным! Я стенгазету для всего класса рисую, мне завтра с утра ее вывесить надо! — И вернулась в комнату.

— Видишь, ей некогда... Сходи, придешь и дочитаешь, — улыбнулась мама.

Но Вовка упрямылся. «Больше ноги моей не будет в ее доме!» — зло подумал он, а вслух сказал:

— Конечно! Я ж для вас маленький — век на побегушках! Значит, Светка дело делает — картиночки мажет, а я прохлаждаюсь! Я, между прочим, тоже дело делаю — к урокам готовлюсь! — И он демонстративно

* *Взвешивать* — лупить, драть, жестоко наказывать физически.



уткнулся в журнал. Конечно, унести молоко было делом не сложным, и Вовка с превеликим удовольствием добежал бы до бабки... Но не в этот раз!

Мама внимательно оглядела Вовку, ее взгляд словно просканировал его потаенные мысли:

— Что, опять у вас развод по-итальянски? И что стряслось на сей раз? — иронично спросила она.

— Да ничего! — резко выпалил Вовка. Он только и ждал удобного момента высказать свою обиду: — Я для нее все делаю, а она лодырем называет! Разве это справедливо? А еще спорит про птиц, а сама ничего не понимает. Говорит, что ворона и ворон — одно и то же! Только свои приметы дурацкие знает... Начинаю ей объяснять, а она сразу хлюздит* и ругаться начинает...

Мама поняла, что этот поток горечи пора останавливать:

— Вы с ней два сапога пара! Оба вздрешные** спорщики.

— Ага!.. — недовольно вклинился было Вовка, но мама его осекла:

— И не агакай мне! Ишь, взрослый стал — с бабушкой ругается, с мамой спорит... А дальше что?

Вовка виновато опустил глаза.

— Света, добеги до бабки, унеси молоко да узнай, что стряслось! — крикнула мама в комнату, а потом, уже тише, сказала: — Ну в самом деле, что старый, что малый...

Недовольная Светка показала брату кулак и, схватив банку, сиганула до бабки.

У семидесятидвухлетней Любавы Ефимовны было восемь взрослых детей. Кроме двух сыновей, все они жили в других деревнях и городах. У всех отпрысков — семьи и, конечно же, свои дети: пятнадцать внучек и семеро внуков — великое богатство бабки Любавы! Из всех внучат ближайшими были деревенские, родившиеся и выросшие на ее глазах.

Когда Вовка был совсем маленьким, бабка была к нему равнодушна и даже отрицательно настроена. Мало того, что он был четвертым по счету в семье старшего сына («Обсыпала парня ребятишками!» — нередко по прежним годам поругивалась Любава Ефимовна на невестку), а еще и совсем не похож на зыряновскую родову: белоголовый, голубоглазый, с пухлыми розовыми губками на бледном, как молоко, лице («Ну весь в Наталью, ничего нашенского!»). Однако очень быстро, годам к трем, прехорошенький, разговорчивый и очень любознательный мальчуган заинтересовал своенравную бабку, а уж когда в нем стали все явственнее проступать ее собственные черты и повадки, заинтересованность сменилась симпатией.

Вовка рос в свободе; их семья хоть и жила в глухой деревне, но очень отличалась от большинства здешних семей. Мама была приезжей из боль-

* Хлюздить — обижаться; ретироваться, прикрываясь обидой; пасовать.

** Вздрешной — вспыльчивый, раздражительный.

шого города, хорошо образована и, прожив много лет в сельской местности, не приобрела ни манер, ни внешности деревенской бабы. Отец, хоть и обычный деревенский мужик — хваткий, упрямый, прямолинейный, — имел особую внутреннюю добросердечность, отличался глубоким умом и начитанностью. Видимо, поэтому в доме царила атмосфера доверия, у детей были не только обязанности, привычные всем деревенским ребятишкам, но и права, и одно из важнейших — право на собственное мнение и слово.

Главной страстью всей семьи было чтение. В доме имелась богатая библиотека; родители не жалели денег на хорошие книги, которые заказывали по каталогу, выписывали огромное количество журналов и газет. Здесь ели, отдыхали, укладывались спать с книгой в руках. Вовка незаметно для всех научился читать в четыре года, а в девять лет прочел «Мастера и Маргариту». Конечно, в своем классе он был лучшим учеником и преуспевал не только в гуманитарных дисциплинах, но и в точных науках. Чаще случается, что отличников не любят, но в их классе было по-другому: хоть Вовка и не был ни явным, ни скрытым лидером, он все же занимал особую, почетную нишу. Его природный индивидуализм, наличие своего мнения и умение его отстаивать (порой и при помощи кулаков) заставили как сверстников, так и ребят постарше относиться к нему с большим уважением.

Как всякий мальчишка, растущий в деревне, к своим двенадцати годам он умел многое и по домашнему хозяйству, и в основном мужском деле — охоте и рыбалке. Летом Вовка с азартом спиннинговал, зимой рыбачил на налимов, ездил с отцом на большую охоту и рыбалку, где наравне общался с взрослыми мужиками.

Однако была в Вовке особая черта, которая и сделала его бабкиным любимцем. Видимо, оттого что он был самым младшим в семье и часто опека со стороны старшего брата и сестер казалась ему душевной и навязчивой, он изо всех сил пытался доказать, что сам умеет и может все и уж точно обойдется без помощи старших. Уже в десять лет он был готов обеспечивать, защищать, заботиться о своих близких и, поскольку в семье к нему все-таки продолжали относиться, по его мнению, несерьезно, всю свою взрослую активность пустил в сторону бабки Любавы. С видом главного кормильца он таскал бабке пойманную рыбу, руководил заготовкой дров, неумело, но упрямо занимался ремонтом ее подворья, а она послушно ходила при нем в подмастерьях. Раз он даже замахнулся наладить ее старинные, давно заклинившие часы, однако при сборке обнаружили «лишние» детали. Это немало огорчило Вовку, но он, потирая высокий лоб, заверил бабку:

— Ниче! Вот механику проштудирую — и почию!

На что та лишь умиленно улыбалась.

Бабка Любава, время от времени поглядывавшая в окно, не идет ли с покаянием «еретик», издали узнала торопливый шаг внучки: к своим



годам она еще могла разглядеть человека метров за двести. В тот же миг в бабке Любаве вспыхнула жажда отмщения, а ей в помощь проснулась внутренняя артистическая сущность. Бабка резво сдернула с вешала полотенце, хлопнув рукомыльником, смочила его водой, подскочила к телевизору и, отключив его, задернула кружевную салфетку — дескать, даже телевизор не смотрю, — затем улеглась на диване, положив полотенце на лоб и скрестив руки на груди.

Брякнула дверная накладка, а после раздался глухой стук.

— Каво стучишь, заходь! — нарочито слабым голосом пригласила в дом Любава.

Светка, увидев лежащую бабу, с порога спросила:

— Ты чего, баб, — заболела, что ли?

Бабка тяжело вздохнула, стянула полотенце с головы и, приподнявшись на локтях, жалобно заговорила:

— Да от, уж часа два пластом лежу... Сначала в груди скололо, аж не продохнуть, а уж потом голова загудела, как обухом ударили...

Светка поставила молоко и присела на стул:

— Может, давление?

Бабка пустила «kozyря»:

— Видать, последний час пришел...

— Ну что ты ерунду говоришь! — оборвала ее Светка. — Ты у нас еще огурцом!

— Вот-вот, и ты туды же — бабу перебивать... Конечно, кто я вам такая... Старуха, выживша из ума, и только... — жалобно всхлинула Любава.

— Ой, начинается! — скривилась Светка, подумав: «Сейчас заведет свою пластинку, не переслушаешь!»

Бабка решила перейти к сути:

— Вишь, каво страмец этот отмочил... Дверью хлопнул и улег: мол, не приду больше! — Она в очередной раз глубоко вздохнула и умирающим голосом продолжила: — Вот так ему и передай... Помират бабка, пусть порадуется, а то ж я одне глупости говорю... Вот таперь, чай, ему никто глупостей говорить не будет!

Светка меж тем внимательно вглядывалась в бабу Любаву, отмечая про себя, что цвет лица у той обычный, без черноты под глазами и бледности. Подозрительной казалась и излишняя бабкина разговорчивость; обычно во время гипертонических кризов и мигреней Любава была малословна, ей мешал электрический свет, а тут и лампочка горит... Да и симптомы больно расплывчатые: то сердце, то голова... Светка пришла к выводу, что бабка как минимум преувеличивает свое болезненное состояние.

— Ладно, ба, ты лежи, а я сейчас маму позову с тонометром. — И она направилась к выходу.

«От те на!» — подумала бабка, а вслух проговорила:



— Пусть мать отдыхат, незачем ходить. Я уж полежала, вроде легче стает...

Но Светка уже скрылась за дверью.

Когда вдалеке замаячила невестка, бабка Любава немало разозлилась: «От несет нелегкая!» Ее пугала неизбежность раскрытия постыдной симуляции, пусть даже разыгранной в исключительно благих, воспитательных целях. Она снова накинула на голову полотенце, убавила звук телевизора на минимум и улеглась на диван.

— Ну как вы? — спросила, раздеваясь, Наталья.

— Да уж получше будет... — тихо ответила бабка. И погромче добавила: — Вот че пришла, отдыхала бы с работы...

— Ничего, мне не трудно... — Наталья вышла из прихожей и начала раскладывать прибор.

Бабка Любава равнодушно наблюдала за приготовлениями невестки.

— Ну что, сядете или лежа будем мерить?

— Да чего уж там. Счас встану...

Бабка встала с дивана, закинула полотенце на шесток и села за стол напротив невестки. И пока та надевала манжету, кашлянув, начала:

— По чести-то сказать, и не шибко хвораю, все больше расстройство, от нервов...

— А сейчас надо помолчать, а то неверно покажет. — Невестка вставила в уши фонендоскоп и принялась качать грушу. Бабка Любава послушно умолкла.

Сердце билось ровно и спокойно, давление было в пределах нормы. Наталья глянула на бабку, спустила воздух из манжеты и сказала:

— Немного высокогато, но не страшно. Сейчас половинку таблетки примете, и все пройдет.

Она принялась искать нужное лекарство в принесенной с собой коробочке.

«Что бы ей дать? — думала Наталья. — Либо накрутила себя из-за ссоры с Вовкой и мигрень началась, либо проучить его решила...» Она еще раз глянула на бабку Любаву. Та тем временем оживилась: ее порадовало, что невестке удалось найти спасительный недуг. «Видимо, Света была права — притворяется старая!» — сделала про себя вывод Наталья, а вслух, отломив полтаблетки аспирина, сказала:

— Вот хорошие таблетки от давления — мягкие, из города привезла.

Бабка выпила аспирин и принялась угощать невестку чаем. От ее мнимой болезни не осталось и следа, ей не терпелось пожаловаться на внука:

— Вы, Наталья, парня в конец распоясали! Ишь каво: ему слово — он те сто, и все, знашь, спорит, упиратся, на смех подымат, если че не по его сказано.

— Да ведь возраст у него сейчас такой — переходный. Двенадцать лет как-никак. Хочет казаться взрослым, а ум-то еще детский... — принялась объяснять Наталья.

Но бабка не унималась:

— Какой такой возраст?! Я своих восьмерых вырастила и ни про какие такие возраста не знала. Это у вас сейчас мода пошла с имя тютюшкаться, а у нас все по-простому было... Однако ниче, все выросли и в люди вышли!

— Так и время другое сейчас... — вставила было Наталья, но Любава Ефимовна ее оборвала:

— Время, оно всегда одно — наше, только нравы тончают, воли много стало! Каждый должен место свое знать, а уж ребенок и подавно. Ты вот погляди на своих детей — они ж у тебя что хотят, то и говорят! Светка вольная, как бог весть что, а если шаболдой какой вырастет, куды потом жаловаться, кому пенять станете?

— Это с чего Светка шаболдой стать должна? — возмутилась невестка.

— Как это с чего? От воли вашей! Шарится по улице, как с крестом за пазухой! Я своих девок в узде держала, они у меня без спросу за ворота нос не высовывали! — Любава Ефимовна назидательно вознесла перст над головой.

Наталья негодовала, ее лицо засияло гневным багрянцем:

— Только не надо меня учить, как с детьми управляться! Вы сами в свое время никого не слушали, и я не намерена. Держать на цепи детей — это не дело. Примеров тьма, как вырываются потом из деревни в город и начинается не пойми что... Вон старшие наши учатся, и ничего! Не бросили, шаболдами не стали. И Светка с Вовкой хуже не будут.

Любава Ефимовна сообразила, что спорить с невесткой смысла нет, тем более что она вовсе не хотела с ней ругаться.

— Дай бог! — мягко сказала она. — Ты не серчай на меня, если что не так говорю, я ж добра хочу для их.

— Я понимаю, — примирительно ответила Наталья.

— Но вот парень-то скандалист, поостроже с им надо. Ты уж скажи ему, что бабке родной так дерзить не положено, и дверьми хлопать, и псешить... Бабка, она сегодня есть, а завтра не станет, а ему с людьми жить... — заключила Любава Ефимовна.

Наталья молчала, помешивая ложкой чай. Она и сама находила своего сына чрезмерно упрямым и вспыльчивым, и дело было не только в его возрасте: все ее дети были разными, но именно эти, казавшиеся ей отрицательными, черты были присуще им всем. Она не могла списать это на издержки своего воспитания: и сама выросла в свободе, без деспотичного давления со стороны родителей, но ни она, ни ее братья и сестры не стали нетерпимыми и скандальными. Ответ лежал на поверхности, вернее сидел сейчас перед ней и пил чай с вареньем... «Да, кровь гуще воды!» — подумала она.

— Обязательно поговорю с ним... — сказала она тихо и, глотнув остывшего чаю, решительно добавила: — И накажу его как следует!

В этот момент Любава Ефимовна испытала противоречивое чувство. Довольство от возмездия за обиду мгновенно сменилось тревогой и

щемящей жалостью к внуку; ей тут же представился жестоко истязаемый Вовка, сердце сжалось — и она, поперхнувшись, запротестовала:

— Ты чего такое говоришь! Какое такое «накажу как следоват»?! Ты мне это, девка, брось! Ешо не хватало, чтоб его через меня мордовали. Щас и время другое, и порядки другие, неча парня лупить понапрасну... Ишь чего удумала!..

— Да не буду я его лупить! — улыбнулась Наталья, глядя на растерянное лицо свекрови.

Вскоре их беседа перешла к деревенским сплетням и судачествам, и через сорок минут они распрощались в веселом расположении духа. Однако Любава Ефимовна еще раз взяла с невестки обещание не наказывать уже прощенного ею внука.

Пока сестра уносила молоко, Вовка был совершенно неумолим. Затворившись в комнате, он возлежал на тахте с книгой в руках и, упорно притворяясь, что читает, размышлял о несправедливом к себе отношении, о том, как больше не ступит на порог к зловредной бабке и как она будет умолять его о прощении, а он останется непреклонен... Он слышал, как пришла Светка и с порога объявила, что бабка занемогла и маме срочно необходимо ее проведать. В Вовке вспыхнула тревога, он даже выронил книгу из рук, но тут же успокоился — ведь сестра высказала свои сомнения по поводу истинного бабкиного состояния:

— Мне кажется, она притворяется, чтоб Вовку проучить. Голос умирающий, а вид вполне нормальный...

«А! — подумал Вовка. — Так и есть! Конечно, притворяется! Я уходил, она была здорова. А тут на тебе — заболела!»

Но мама окоротила Светку:

— Ты скоропалительных выводов не делай! Бабушке восьмой десяток идет, и гипертония, так что все может быть...

Вовка от этих слов опять напрягся. Он тихонько встал с тахты и на цыпочках подошел к двери, чтобы не пропустить ни одного слова, но Светка не стала настаивать и удалилась в другую комнату, а мама начала собирать аптечку. Сердце у Вовки билось как у загнанного зайца, ему стало страшно. Мама сначала шуршала таблетками, потом болоньевой курткой; Вовка нерешительно стоял под дверью — хотелось пойти с мамой, но чувство стыда и вины не позволило ему выйти...

Когда спустя полчаса Светка вошла в комнату, она нашла Вовку сидящим на полу: он, обхватив колени руками и уложив голову сверху, неподвижно смотрел в окно.

— Ты чего, Вовчик? — обеспокоенно спросила сестра и села рядом. Вовка молчал. Она обняла его за плечи и жизнерадостно заявила: — Не расстраивайся, бабка у нас до ста лет доживет! Это погода меняется, вот давление и поднялось.

— Фронт сменился... — выдохнул Вовка. — Видишь, дождь пошел... — Он кивнул на окно.

Когда мама ругала Вовку за его за упрямство и бесконечные споры с бабушкой и грозила ему неизбежной расправой в будущем, Вовка стоял понурившись, едва сдерживая покаянные слезы. Наказание за проступок всегда рождает чувство очищения; искупление необходимо — ведь вина, затаенная внутри, разъедает душу; но голос совести должен прозвучать извне, чтобы его не заглушили самооправдания.

Уже на следующий день между Любовью Ефимовной и Вовкой царил полнейшее «романство», они как ни в чем не бывало заседали за обеденным столом и вели задушевные беседы, о произошедшем вчера уже никто не помнил. А чего помнить? Как всегда говорила бабушка Любава: «В жизни всяко бывает! Чего век былье ворошить?»

* * *

С третьего класса, помимо прочих шефских забот над бабушкой, было у Вовки дело особой важности: раз в две недели по субботам служил он у Любови Ефимовны писарем.

Грамоты бабушка Любава не знала, в ее детство в далекой северной деревне школы не было, а когда появилась, Любаве уже впору было думать о женихах. Особого проку в умении читать и писать она не видела, счет был делом привычным, а в бланках каких и крестик поставить можно! Хоть и ходила по разнарядке колхозной в организованный при деревенском классе ликбез, но толку из этого не вышло. Биля с ней молодой городской учитель, но не далась Любаве Ефимовне грамота. Помучившись с бестолковой ученицей, махнул он рукой и, сославшись на упущенное время и окостенелость Любавино мышления, отпустил ее с миром, чему сама Любава безмерно возрадовалась. Спустя годы она не раз жалела о своей нерадивости, поругивала учителя за халатность, но попыток обучиться чтению больше никогда не предпринимала.

В разные годы в писарях у нее ходили ее собственные дети, потом невестки, а уж после внуки. Из последних штатных писарей были Светка и Вовка, но Светка быстро вышла из бабушкиного доверия, так как Любава Ефимовна сразу заметила, что строчку внучка ведет криво, что-то исправляет, а из ответов на письма узнала, что и ошибок допускает много.

— Нет! Так дело не пойдет! Ишо не хватало, чтоб мои письма в ошибках были и сикось-накось писаны! — сказала бабушка Любава и назначила писарем Вовку.

Вовка, в отличие от сестры, обладал природной грамотностью, буквы он выводил старательно, под ладонь подкладывал промокашку.

— От какая красота! — воскликнула бабушка, когда глянула на первое записанное Вовкой письмо. — Любо-дорого смотреть!

Это на первый взгляд писать письма от лица бабушки Любови показалось Вовке легким занятием.

— Чего там, главное, чтоб красиво и без ошибок было! — хвастливо сказал он Светке, сделав особое ударение на словах «без ошибок».



За что тут же получил от сестры оплеуху:

— Ну-ну, поживем — увидим! Грамотей нашелся!

И вскоре Вовка прочувствовал на себе бабкино негодование за допущенные на письме оплошности... Дело в том, что бабкины письма имели определенный, выработанный годами «устав»: все — от приветствия до прощания — писалось по бабкиному этикету, каждое слово в письме должно было быть написано так, как сказала бабка Любава, и не важно, матюгнется она в письме или соврет чего, — все так и необходимо изложить! Не дай бог слово какое изменить или перефразировать выражение — ругани будет до потолка! Попервости Вовка был часто руган бабкой за огрехи, не раз переписывал все «как положено», но очень быстро смекнул, что в вопросах писем с бабкой спорить нельзя — не тот случай. Память у Любавы Ефимовны во время диктовки была остра как никогда, поэтому Вовка хитрил: меняя слова или предложения целиком, он старательно запоминал, что бабка сказала, и при прочтении воспроизводил сказанное ею. Так очень быстро он прослыл самым лучшим ее писарем за все времена.

— Ну, значит, так... Начнем! — выдохнула бабка и, поправив на голове платок, чинно сложила руки на груди. — Доброго здоровья, дорогие мои Татьяна, Сергей, Илона и Васенька! — Бабка сделала паузу.

Вовка писал: «Здравствуйте, дорогие Татьяна, Сергей, Илона и Вася», сократив приветствие из экономии времени. Подняв глаза на бабку, он дал ей понять, что можно излагать дальше.

— Во первых строках своего письма сообщаю вам, что жива и здорова, слава богу, чего и вам, родные мои, желаю.

Вовка торопливо вывел: «Я жива и здорова, чего и вам желаю!»

Когда Вовка глянул на бабку, та недоверчиво заметила:

— Чет больно скоро ты пишешь, парень. Ну-ко, прочитай, каво написал...

Вовка ожидал подобного замечания:

— Ну сколько можно тебе говорить, я уже в шестом классе учусь! Это раньше я писал медленно, а теперь пишу быстро! — Он уверенно опустил взгляд на лист и с выражением озвучил: — «Доброго здоровья, дорогие мои Татьяна, Сергей, Илона и Васенька! Во первых строках своего письма сообщаю вам, что жива и здорова, слава богу, чего и вам, родные мои, желаю...»

Бабка удовлетворенно кивнула головой:

— Пиши дальше!

Кашлянув, она продолжила, делая периодически паузы:

— У семейства Сергея и Натальи все тоже слава богу, ребятишки и оне сами живы-здоровы. Сергей собирается на осеновку*, Наталья давеча заходила, наказала печь ему куху**. Андрей да Лизавета опеть в контрах,

* Осеновка — период промысловой охоты на пушного зверя, с ранней осени до ледостава.

** Кух — сдобный сладкий пирог без начинки, с хрустящей посыпкой из перетертого сливочного масла, сахара и муки. Долго хранится и не черствеет. Рецепт позаимствован у переселенных в Сибирь поволжских немцев.

эта художая страмовка бегат от меня, рожу заворотив. Ребятишек не водют. Андрей вчера заходил, страмила его почем свет, чтоб бросили свою моду шкандали закатывать. Он тоже на охоту ладится. Вот как говорила ему, когда он с Лизкой связался: не по тебе шапка! А теперь-то уж че... Живите как люди, раз детей наплодили. Ну ниче, припрет с охоты соболей, и помирятся! Собираюсь нынче пару сушин свалить недалеко от дороги на питомник, давно я их приглядела. Как снег ляжет, поедем на собаках с Вовкой на заготовку. Одолели соседские собаки! Эти тунеяды собак толком не кормют, вот они наповадились моих объедать, теперь караулю. Просила у Сереги капкан, чтоб изловить этот страм, а он отговорил: мол, не дело. А я уж после подумала: вдруг свой кобель попадет. Наши-то собаки едят впрок, считай на три дома — и у Сереги, и Андрея, мы ж баками варим. Все собираюсь соседям взломку дать, чтоб за живностью следили. Это что ж такое — развели псарню, а кормют одними грибами! Погода на улице добрая, на мороз дело пошло, шугу скоро понесет. Жду снега доброго, чтоб в лес, стало быть, ехать за дровами. Вчера Аришка заходила, последние сплетни принесла: вроде Санька Шимарева опять на сностях. Вот кобыла пароходская! Летом же строители приезжали, она с имя женихалась — и вот новый приплод! Уже шестой ребетенек народится! Сколь ее женсоветы ни страмят, а толку нет... Последний век живем!

Бабка умолкла, Вовка, пыхтя, дописывал строку. Любава Ефимовна, повращав глазами, обратилась к внуку:

— Ну, будем закругляться.

Вовка одобрительно кивнул.

— Вот, стало быть, и все вести наши деревенские. Если чего забыла, опосля напишу. Как вы там поживаете? Все ли здоровы? Как детишки ваши? Берегите себя, храни вас Господь. Приезжайте повидаться, а то кто знат, как оно дальше будет. Отправьте, коли есть, карточку вашу, чтоб хоть глазком посмотреть на вас, вроде как свидеться! Целую вас крепко. Остаюсь навеки ваша мать Любава Ефимовна Зырянова.

Перечитав письмо, Вовка аккуратно уложил его в конверт, печатными буквами написал адрес и, перевернув конверт изнанкой, по линиям склеивания подписал: «Лети, письмо, с приветом, вернись с ответом!» Это тоже был особый ритуал Любавы Ефимовны, у нее в запасе имелось несколько крылатых фраз, которые обязательно должны были украсить конверт с ее посланием. В свое время Вовка пытался объяснить бабке Любаве, что эти надписи лишние, но та была непреклонна:

— Понимашь, вот ты получил письмо, ешо не открыл, а уж по конверту видишь, что письмо доброе, красивым словом приветствует. А на чужой стороне весточка из родного дома, знашь, какое дело великое!

Сама Любава Ефимовна к письмам относилась трепетно, просила их по многу раз перечитывать, до того что порой заучивала наизусть, разглядывала обведенные ручки и ножки внуков, хранила корявые рисунки, да и сами письма берегла. Конверт вскрывала собственноручно, надрезала край ножом так, чтобы, не дай бог, не повредить содержимое, слушала

жадно каждое слово, смеялась доброму, хмурилась на тревожное, а после бережно сворачивала листки и складывала за зеркало на угловичок. Где-то раз в полгода наводила в письмах ревизию, особо добрые письма складывала в сундук, где хранила самые ценные и памятные вещи. Не раз Вовка со Светкой выпрашивали у бабки поглядеть ее сокровища; не все показывала старуха, но на некоторые вещи, хоть и скрепя сердце, позволяла взглянуть внукам. Так удалось им прочитать письма отца из армии, письма родителей, писанные из города о рождении старшего брата и о намерении переехать в деревню. Сколько добра и света хранят старые письма, цветными чернилами на пожелтевшей бумаге выводится история твоего времени...

* * *

Конец октября выдался пасмурным, днями небо то и дело заволакивало серой хмарью, сыпал мокрый снег, ночами морозило — погода, как говорила бабка Любава, «курвила людям». От перепадов температуры и смены ветров у бабки Любавы началось обострение гипертонии, уже неделю мучилась она от непроходящей головной боли, таблетки не помогали. Невестки Наталья и Лизавета настаивали, чтобы свекровь собиралась в больницу, но старуха протестовала:

— Ешо не хватало, чтоб ради меня, старой, санрейсы гоняли! Меня уж на том свете с фонарями рыщут, а я буду государственные деньги расходовать! Коли не пройдет до рейсового, то уж, стало быть, полечу...

Конечно, дело было не в том, что Любава Ефимовна пеклась о государственной экономии. Она терпеть не могла больницу: запах хлорки и лекарств был противен ее существу, казенные стены палаты, скрипучие койки и общая посуда вызывали чувство невыносимой брезгливости, а особый больничный режим, белые халаты врачей нагоняли нестерпимую тоску от надвигающейся смерти.

Время осенней распутицы делало деревню окончательно оторванной от мира, рейсовые самолеты с почтой не летали, только редкие вертолеты санитарной авиации забрасывали в деревню залежавшиеся в районе письма и состарившиеся газеты. Последний рейс, доставивший вести с большой земли, был почти три недели назад.

Вечером, когда Вовка, пришедший на ночевку, читал Любаве Ефимовне ее любимую сказку «Серебряное копытце», а она, прикрыв глаза мокрой салфеткой, сквозь сон слушала его жужжание, через кухонную отдушину послышался сначала едва различимый, а затем явный гул. Бабка Любава аж вздрогнула: неужто невестки ослушались ее и все-таки вызвали вертолет по ее душу? Спустя час, когда бабка уже полностью успокоилась, что рейс прилетел не за ней, у дома затарахтел «Буря», а через пару минут в дверь постучали и вошла врач Лидия Ивановна, сопровождаемая Натальей.

Вошедшие поздоровались, присутствующие тоже. Заметив огорчение и недовольство на лице свекрови, невестка поторопилась пояснить:



— У Петровых мальчишка свинкой заболел, вот санрейс и вызвали, а я Лидию Ивановну попросила вас посмотреть да лекарства назначить.

Любава Ефимовна хоть и испытывала недовольство хлопотами невестки, но в присутствии всеми уважаемого педиатра не решилась выкачать его вслух:

— Проходите, Лидия Ивановна! Да не разувайтесь. Дитенок бо-лет — вам, поди, спешить положено...

Но Лидия Ивановна все же сняла сапоги:

— Пока они собираются, я вас осмотрю.

Она двинулась в куть, основательно вымыла руки и направилась к пациентке.

Лидия Ивановна была и врачом и человеком уникальным. Более двух десятков лет она работала в районе педиатром, регулярно летала на вызовы и плановые проверки по станкам, знала жителей не только в лицо, но и поименно. Обладая цепкой профессиональной памятью, она с точностью помнила, когда и с чем обращался к ней человек, узнавала подростков ребятешек, а самое главное — к любому находила подход.

Осмотрев бабушку Любаву, врач подытожила:

— По-хорошему, Любава Ефимовна, вам надо бы на недельку лечь в терапию — витамины проколоть, давление выровнять. Но, зная вас, не стану настаивать. С нами ваша фельдшер с курсов вернулась, я ей назначение дам, она проколет вам уколы. Лекарства я тоже сейчас назначу...

Бабка облегченно вздохнула, а Лидия Ивановна принялась записывать назначение. Протянув листочек Наталье, стала прощаться:

— Все будет хорошо. Поправляйтесь! Ну и не забывайте о положительных эмоциях. Свежий воздух, полноценное питание и хорошее настроение — это залог долгой и здоровой жизни!

На следующее утро — то ли от принятых на ночь лекарств, то ли от воцарившейся на улице долгожданной зимы — бабка Любава встала в хорошем расположении, с ясной головой и новыми мыслями. Управившись с утренними делами и укрыв спящего внука вторым одеялом, она отправилась в деревню. Сначала зашла в фельдшерский пункт. Получив пару уколов и выслушав назидание от фельдшера Светланы Святославовны, что не стоило приходить самой и что завтра после десяти утра врач посетит ее на дому, бабка Любава направилась на почту. У почты уже толпился народ; кое-кто возмущался, что нерасторопная почтальонша Ирка открывает с задержкой: дескать, время уже десять минут одиннадцатого, а почта еще закрыта. В этот момент двери распахнулись и на пороге возникла разгневанная Ирина Сергеевна:

— Кто тут такой умный? — гаркнула она. — Ишь, педанты нашлись! Десять минут постоять не могут. Почты пришло за три недели — я что, должна была ее ночью разбирать?!

Желающих лаяться дальше не нашлось: никто не хотел портить себе настроение, менять радостное предвкушение на бесполезный скандал, и

в толпе воцарилось молчание. Ирина Сергеевна торжествующе расхлебывала дверь и важно бросила:

— Заходите! Да ноги обстукивайте.

Народ, послушно оттопывая снег, потянулся на почту. Вскоре все небольшое пространство внутри было битком забито посетителями.

— Филиповой Клавдии! — начала объявлять адресатов почтальонша.

— Здесь! — раздалось из толпы.

— Где «здесь»? — глянула Ирина Сергеевна и, заметив поднятую вверх руку, пристально посмотрела на крикнувшую.

Та приподнялась на цыпочки и взвизгнула:

— Да здесь я, глаза разуй!

Народ хохотнул. Ирина Сергеевна смутилась и, залившись легким румянцем, парировала:

— Вы, Клавдия Петровна, не шумите, тут на конверте пометка «лично в руки», а я, между прочим, свои обязанности знаю и исполняю их... Вы что думаете, вас в такой толпе разглядеть так легко?

В ее голосе прозвучала обида и укоризна, и Клавдия Петровна поторопилась извиниться:

— Да вы уж простите... Чет я того... — И не найдя, что сказать в оправдание, еще раз повторила: — Уж простите дуру старую!

Ирина Сергеевна была удовлетворена и протянула письмо стоявшему перед самым ее прилавком пареньку. Тот, обернувшись, передал его следующему, и так по цепочке письмо добралось до смущенной казусом Клавдии Петровны.

Минут через десять все письма были розданы получателям. Ирина Сергеевна объявила, что газеты будут разложены к завтрашнему дню и почта на сегодня закрыта на разбор печати. Народ начал расходиться.

Любава Ефимовна шагала бодро, наслаждаясь морозным утром, любуясь укрытыми инеем деревьями, и с удовольствием вдыхала колючий зимний запах. Ее рука то и дело поглаживала лежащие в кармане конверты.

Первым делом Любава Ефимовна зашла к Наталье, где Светка по очереди прочла бабке письма от сестры и брата, потом письма бабкиных дочерей. Все время чтения бабка то утирала набегающие слезы счастья, то расплывалась в улыбке. Потом, пожурив внучку за всклоченные волосы, направилась к Лизавете, там еще на раз уже спокойно выслушала письма, узнала последние вести об охоте Андрея, выдохнула с облегчением, что в семье сына воцарился лад, и направилась восвояси.

Придя домой, Любава Ефимовна заставила Вовку прочитать письма еще пару раз, долго разглядывала незатейливые картиночки городско-го внука, а затем свернула письма и сложила их в обычное место.

После внук и бабка сидели за чаем. Бабка была непривычно молчалива, то и дело глядела куда-то вдаль, хмурилась, и когда она в очередной раз глубоко и протяжно вздохнула, Вовка не выдержал:

— Чего стряслось-то? Вон и день хороший, и ты вроде на поправку пошла, и писем принесла ворох, а все равно чем-то недовольна?!

— Да всем я довольна... — тихо ответила бабка Любава, а потом добавила раздосадованно: — От Верки опеть письма нету! Ты ведь помнишь, поди, последнее ешо по лету было, кажись в июне, дай бог памяти... — Она сурово завращала глазами. — Вот так и расти вас, иродов! Пока малы — мать нужна, а как взрослыми сделаетесь — так и забыли. — Любава Ефимовна начала распалаться. — Вот ведь как ей говорила: не езди ты в этот Казахстан, че тебе в нашей земле не живется? Связалась с этим Русланом, а какой он мужик? Слово одно, что мужик! Ни дрова рубить, ни рыбачить не может. Да и был бы красивый ли, умный ли! А то ж без слез-то не глянешь — дылда, как жердь худой, да сутулый, черный как головешка, и нос, как у орла, крючком, еще и очки... Как она обзари-лась на образину-то этакую? Одурманил девку, увез в свою черномазию!

— Да нормальный дядя Руслан... — хотел возразить Вовка, но бабка его оборвала:

— Сядь! Каво говоришь? Чего ты понимаешь в жизни-то! Каждому человеку в своем народе положено судьбу искать, ведь у их-то там совсем по-другому люди живут. Я эван по телевизору-то видела, там у их бабы лицо тряпками завешивают и слово сказать прав не имеют!

— Да это же не в Казахстане, это в арабских странах!

— А кака така разница — что одно страм, что другое! Вот какие парни за ей ухлестывали, а нет — нашла себе басурманина! А теперь че? А теперь вот и писать перестала... А я думай, то ли она там взаперти под замком живет, то ли от отчего дома вконец открестилась... — Бабка выскочила из-за стола и с грохотом стала собирать чашки.

Вовка попытался ее успокоить:

— Ну следующей почтой письмо придет!

Но Любава разозлилась еще больше:

— Все, не говори ерунды! Я уж и так от почты до почты жду... — Чувствуя, что горечь переполняет ее, она поспешила отправить внука домой: — Ну, ступай, уж обед скоро, а ты еше дома не казался.

Весь оставшийся день Вовка пребывал в подавленном настроении. Чем бы он ни пытался себя занять, мысли возвращались к бабке, ее злополучным письмам и безмолвствующей тетке Вере... И тогда он принял решение — написать свое собственное письмо.

Вовка уверенно вырвал из общей тетради лист, взял ручку и стремительно начал: «Здравствуйте, тетя Вера. Пишет вам ваш племянник Вовка...» Немного подумав, он скомкал лист: «Еще здороваться я с ней буду!» И, выдрав новый, на одном дыхании написал: «Тетя Вера, пишет вам ваш племянник Вовка. И пишу я не потому, что меня попросила бабка, а потому что я сам решил вам написать! Как вам не стыдно?! Вы очень долго не пишете писем бабке, а ведь она их ждет! Она же старая уже, больная, у нее давление и нервы. Ей врач сказал, что надо положи-

тельные эмоции, а она только расстраивается. Вам что, трудно написать письмо или совсем времени нет? Она же ваша мама, а вы уехали и забыли про нее! Вы бессовестная. Вот если она помрет, вы будете виноваты. Вот если вы не напишите ей...» Вовка остановился. Он думал, что он сделает в случае теткингого дальнейшего молчания, и, решив, что самое верное дело — напугать тетку органами охраны правопорядка, дописал: «...я обращусь в милицию!» Потом встал, прошелся по комнате, раздумывая, чем бы завершить свое послание, и, не найдя ничего лучше, в конце подписал: «Всё! Владимир Сергеевич Зырянов!» Листок он свернул, тайком выудил из коробки чистый конверт, подписал его, уточнив адрес тетки в маминой записной книжке, и спрятал письмо в потайное место.

На следующий день Вовка благополучно сдал конверт на почту.

К седьмому ноября деревенские посадочные площадки были покрыты достаточным слоем плотного снега, наконец пустили рейсовые самолеты, и первой же почтой Вовкино письмо вместе с другими отправилось к своему адресату.

* * *

Бабка Любава стряхнула снег с верхонок, поправила сбившийся платок и принялась затягивать веревку. Вовка поправлял алак* на Сюне. Сюня — центровой кобель упряжки, белый, массивный, с рыжим носом и лукавыми глазами, — повиливал хвостом и тихонько поскуливал в нетерпении рвануть к дому; остальные собаки вторили ему.

— Ишь, расходились! — радовалась Любава Ефимовна. — Застоялись за лето. Ишь, стосковались-то по упряжи!

— Баб, а где кряжи скинуть? — спросил Вовка.

— Ты, сын**, нарту у заднего двора переверни, там и распилим после...

Вовка встал на полозья позади нарты, собаки было дернулись, но бабка Любава громким окриком их остановила:

— Та! — И лес повторил за нею: «Та! Та. Та...» — Ишь каво делат! — Она шлепнула Сюню по морде верхонкой. — Ты, парень, крепче держись, а то этот кобель вконец одурел. Да смотри, нарту перевернешь и сразу прыгай, а то Сюнька собак обратно поведет, а ты их не догонишь...

— Хорошо! — уверенно ответил Вовка. — Но! — скомандовал он собакам, и нарта понеслась, поскрипывая полозьями по утреннему пухляку.

«Эх, елочки, мои сосеночки!» — торжествовало в Вовкиной душе. До чего ж он любил эту пору, этот лес, укрытый покрывалом кухты***, этот пьяный морозный ветер, это синее, бесконечное, как его любовь, небо!

* Алак — кожаная лямка, шлейка, деталь собачьей упряжи.

** Сын, дочь — ласковое обращение пожилых людей к молодежи независимо от возраста и степени родства.

*** Кухта — обильный иней или снег на ветках деревьев.

Править собаками не сложно, важно перед спусками и поворотами подтормаживать, иначе свалят они и нарту, и тебя самого, на подъемах в горку — прыгивать и подталкивать нарту, а как на горку забрались — не зевай, цепко держись за поручни: не успеешь — убегут собаки без тебя...

Вот сквозь редующий лес стали различимы силуэты домов, дорога вильнула — и собаки вынесли нарту на торную, накатанную трелевочником дорогу; еще поворот — и въехали в деревню, затыкали собаки с чужих дворов: мол, чего по нашей дороге бегаєте, — но не кидаются; ведь знают, что упряжка не по своей воле границ не чтит, но для виду и остратки лая не прекращают, пока не въедет нарта в свой околоток.

Подъехали к заднему двору, тормознул Вовка собак. Легли пристяжные, один Сюня шельмовато глаз на младшего хозяина косит. Вовка скинул рукавицы, веревку распутал, приподнял край нарты. Покатались кряжики, а один за поручень сучком зацепился. Давай Вовка его дергать — и раз, и два, и... Кряж слетел, и в этот же миг Сюня дернул нарту — и собаки стремительно понесли в лес. Вовка схватил рукавицы — и за ними! Бежит, орет:

— Сюня, та! Та! Страм такой!

Но то ли в голосе еще не хватает командных нот, то ли для Сюни он не авторитет — несет кобель упряжку, только пыль снежная следом...

Сначала Вовка бежал, а уж когда собаки совсем скрылись из виду, остановился, сплюнул, зло матюгнулся отборным мужицким словом и, переведа дух, направился в лес.

Вовка преодолел километра полтора, шел он чуть с краю наезженной бабкой дороги, потому как ломать еще не промерзший нарточный след было скверным делом. Ноги вязли в снежной броди, на промокших валячках появился тонкий слой наледи, ватные штаны и фуфайка встали колом. Злость на собак сменилась укоризной собственной неумелости: «Как там бабка одна грузит эти бревна?» Вовке стало грустно, но тут он услышал громкие бабкины окрики на собак, сердце его радостно застучало, и он прибавил шагу.

— Та! — рывкнула бабка Любава, и собаки встали как вкопанные.

Она глубоко выдохнула, утерла с ресниц и бровей наросший куржак и глухо хохотнула:

— Ну че, паря, не удержался? Уволок собак блажной Сюнька? Ну ниче, ниче, всяко бывает!

— Да там бревно суком зацепилось. Пока я его скатывал, этот лукавый черт понес...

— У-у-у! Псина! — грозно замахнулась бабка на кобеля. Тот, прикрыв глаза, скукожился, повилая виновато хвостом. — Ну давай садись, поехали, а то уж околел совсем!

Внук послушно водрузился на нарту.

На шестке друг на друге теснились фуфайки, ватники, шапки, рукавицы и нижняя поддевка. Внук с бабкой с аппетитом хлебали вчерашний борщ, вспоминая о сегодняшних свершениях.

— Я чуть поодаль от того места, где нынче пилили, еще пару сушин заприметила. На днях свалю, а уж там свозим! — радостно сказала бабка.

Вовка деловито закивал. И тут в дверь постучали.

— Заходи! — крикнула бабка, и в дом влетела Лизавета.

Прямо с порога она напустилась на Вовку:

— Ишь, сидит он, развалился! Наглуую рожу свою выставил!

Вовка и бабка Любава оторопели. А Лизавета продолжила:

— Вот, поважась любимчику своему, а он за твоей спиной всякие козни строит!

Вовка побагровел, сердце его задрожало, и он часто заморгал: ему было невдомек, что толкнуло тетку Лизавету наброситься сейчас на него с грозными обвинениями.

Любава Ефимовна тоже не понимала происходящего.

— Цыть! — отрезала она, и Лизавета смолкла. — Чего ревешь у меня в дому? А? Ты мне это брось! Если пришла по делу, то по-человечьи говори, а не базлай белугой!

Лизавета прошла по кухне, села на лавку супротив хозяйки, распахнула пальто и из кармана халата вынула свернутые бумажки. В голове у Вовки лязгнули медные тарелки — так всегда случалось в моменты озарения. Он вспомнил, как месяц назад писал свое гневное послание! Буквально вчера бабке пришло-таки письмо от потерянной дочери, и Вовкиной радости не было предела. Он был уверен, что именно его записка устыдила тетку, и пусть коротко и сухо, но она все же написала матери о своей жизни на новом месте.

— Вот! — начала тетка, развернув листочки. — Вчера пришло письмо от Верки, но я-то на почту не ходила, сегодня Ирка забежала по делу и занесла... — Лизавета испепеляюще поглядела на Вовку: — Че глаза выкатил? Скажи еще, что не знаешь, о чем речь! — И затем, повернувшись к бабке, принялась читать: — «Здравствуйте, дорогие Андрей, Лизавета! Целую и обнимаю ребятишек...» Ну, тут не важно, пропустим, это о другом... О! Вот! «Пишу тебе, Андрей, еще и по делу неприятному, надеюсь, что примешь меры, поговоришь с Сергеем и Натальей. Что там себе Вовка их позволяет?! Он у них самый младший, избаловали его до того, что никакого уважения к старшим не имеет, чуть больше десяти лет ему, а уж туда же — судить и грозить взялся...» Тут дальше тоже пропущу... Вот еще: «Отправляю его записку, которую получила и чуть не слегла от расстройства». А вот и это письмецо для тетушки Веры! — И Лизавета взмахнула Вовкиной запиской.

Вовка онемел, тело налилось свинцом, он глядел на тетку Лизавету не мигая. Бабка Любава нахмурилась, скрестила сухие руки на груди и густым утробным голосом скомандовала:

— Ну!

Лизавета довольно ухмыльнулась и прочла Вовкино письмо. Когда она закончила, в избе воцарилась гробовая тишина. Первым вскочил Вовка, он рывком сдернул фуфайку, свалив с шеста груды одежды, сунул ноги

в мокрые валенки и, запахиваясь на ходу, рванул прочь. Дверь стукнула, и опешившая Лизавета закудаhtала:

— Ишь какой подлец! Посмотри-ка, гонору сколько! Еще и дверями хлопает, бесстыжий!

Но Любава Ефимовна оборвала пылкое негодование невестки:

— Дай сюда!

— Чего? — растерянно спросила Лизавета.

— Письмо, говорю, дай!

Лизавета безропотно встала с лавки и протянула листы бабке Любавае, но та махнула:

— Не все суй, парнево дай, говорю!

Взяв смятый лист, Любава Ефимовна глянула на невестку и сурово скомандовала:

— А теперь ступай! Чего встала, иди!

Лизавета недовольно хмыкнула и, качнув головой, принялась обуваться. В ней кипело негодование, а от молчания старухи ее начинало трясти.

— Ну, будьте здоровы! — визгливо взвилась она на прощание. — Расповалили вы этого Вовку, других внуков, кроме него, и не видите, а он вот чего делает! Еще неизвестно, чего он остальным-то пишет! — и, не дождаввшись ответа, недовольно хлопнув дверью, ушла.

Вбежавший в дом всклокоченный Вовка никого не удивил. Он опрометью бросился в дальнюю комнату и, хлопнувшись прямо в фуфайке на постель, зарылся головой в подушки. Горючие слезы душили его, и клокоцущая боль рвалась из сердца наружу...

Он не увидел, что на кухне были родители и сестра: они уже больше часа обсуждали принесенную Лизаветой неприятную новость. Мама терпеливо выслушала теткинны восклицания и пообещала принять меры. В то время, когда Вовка влетел, семейный совет уже близился к концу.

Когда мама вошла в комнату, Вовка тихо плакал. Мама включила свет и ровным голосом сказала:

— Вова, вставай, надо умыться. А то лицо распухнет, и будешь потом, как хомяк, красноглазый!

Вовка поднял голову с подушки и, всхлипывая, спросил:

— А почему как хомяк?

Мама присела на край кровати и, мягко положив руку ему на плечо, ответила с улыбкой:

— А потому что у хомяков такие вот круглые мордочки и красные веки...

Она крепко обняла сына, и Вовка опять дал волю слезам.

— Ну не плачь, не плачь! — утешала мама.

— Да я ж правду написал... ведь она... она ведь... — сквозь слезы булькал Вовка.

Тут в комнату заглянул отец:

— Эх ты! Жижу тут развел! Ты мужик, и нечего выть. Сделал дело — не пеняй и не ной. Прежде чем сказать — подумай, а если сказал по правде — то и жалеть нечего.

Когда Наталья вошла в бабкин дом, Любава Ефимовна лежала на диване, укрыв голову мокрым полотенцем, в избе был вечерний сумрак, сквозь тишину мерно тикал будильник.

— Ну как вы тут? — спросила Наталья проснувшуюся от ее прихода свекровь.

— Да ниче... Вот малость голова разболелась... Видать, в лесу нынче лишка работнула, — ответила Любава Ефимовна.

Наталья смерила бабке давление, выдала ей таблетку и, складывая тонометр, нерешительно сказала:

— Вы, Любава Ефимовна, на Вовку-то не обижайтесь. Он не из пакости это письмо писал, а от беспокойства за вас. Мы его отругали как положено, да он и сам осознал... расплакался даже...

Бабка оборвала невестку:

— Ну уж, страм какой! Ешо не хватало! — Она глянула из-под густых бровей и продолжила: — Неча парня мордовать, было и было... Я с им сама поговорю. А ты, Наталья, детям в голову-то вбивай, пока не поздно, чтобы читли дом родительский и родину-то не забывали... А то вишь, жизнь какая: выросли дети, разлетелись кто куды и забыли дорогу обратно...

Четыре дня не решался Вовка на глаза бабке показаться. Тайком по-вечеру придет во двор ее, украдкой глянет в окно, а войти в дом стыд не позволяет; постоит, поглядит на старухино бытье и успокоенный восвосяи уйдет.

На пятый день пришел Вовка из школы — и из сеней услышал в дому бабкин голос. Обопнул^{*} на пороге и стоит, не зная, в дом или из дома, но тут Светка следом вбежала:

— Чего раскорячился в дверях? Давай заходи, я замерзла!

И Вовка, подгоняемый сестрой, нехотя зашел.

Когда он выполз из прихожей, Любава Ефимовна радостно и на-смешливо заголосила:

— От он! Родимец! А ты почто к бабке дорогу забыл? Али я тебе перца куды насыпала?! Бабка его который день ждет, эван картошка жареная на печке вся засохла, а он, срамец, нос воротит!

— Да я тут... занят был... — начал оправдываться Вовка.

— Знамо дело, занят он был! По улице шлындать да письма грозные писать — он не занят. А бабку проведать времени нет?

Вовка потупился.

— Ишь он, варнак! — бабка хохотнула, давая понять, что шутит.

^{*} Обопнуться — остановиться в нерешительности.

Вовка заулыбался, а она продолжала:

— Вот нынче шаньги к вечеру печь буду... Уж на шаньги-то придешь, пооди?

Вовка кивнул.

— Вот с делами дома управишься и приходи. Тама надо дров подколоть, да и кряжи распилить.

— Без проблем! — Вовка оживился. — А че, за дровами когда поедем?

— Так ты ж не ходишь — губы надул! Давно б уж съездили за имя.

— Ну тогда в субботу и поедем, — деловито сказал Вовка.

— В субботу так в субботу. Ты ж у нас мужик-то, ты и решай!

* * *

Ошиблась Светка, когда предположила, что уволит бабка Вовку из писарей. Поначалу старуха ему малость не доверяла, письма разглядывала да слова считала, но очень скоро все вернулось на круги своя.

— Вот школу-то кончишь, в город учиться поедешь — бабке-то весточку хоть пошлешь? — прищурившись, как-то спросила Любава Ефимовна взрослого внука.

— Конечно! Слово даю! — утвердительно кивнул он, и она расплылась в счастливой улыбке.

Не удалось Вовке сдержать свое обещание. Умерла Любава Ефимовна в аккурат через месяц после его семнадцатилетия, перед самыми выпускными экзаменами в школе...

Ничто не объединяет людей так крепко, как общее горе. Вот и по смерти Любавы Ефимовны съехались дети ее: к похоронам — ближние, а уж к девятому дню из дальних краев подъехали... Наполнился дом шумом, смехом, воспоминаниями — больше добрыми, ведь чего дурное поминать: «В жизни всяко бывает! Чего век былье ворошить?..»

После сорокового дня, когда Вовка уже отбыл в город поступать в институт, принялись и дочери разъезжаться. Каждая взяла из материнского дома вещицу на память да письма свои, матерью сбереженные. В глубине старинного сундука среди прочих важных вещей и бумаг, на самом донце, хранилось и разглаженное утюгом, писанное Вовкой размашисто и гневно, то самое письмецо...



Михаил РАНТОВИЧ

АФЕЙ

Р а с с к а з

Дзынь! Бог прислал вам новое сообщение.

Именно эта метафора пришла на ум, когда я стал общаться с бывшей одноклассницей (мы не виделись около пятнадцати лет), неожиданно написавшей мне в социальной сети. В Интернете я нигде не свечу свою фамилию, и настоящее чудо, что Ксения смогла меня отыскать.

Она часто обо мне думала. Она всегда пыталась выйти на меня. Она вдруг почувствовала, будто я нуждаюсь в ней. В последнее время она все чаще и чаще стала видеть меня во сне. Божий промысел, не иначе. (Нет, говорю я, Бог не напишет никогда не потому, что Его нет, а потому, что Он постоянно офлайн.)

По будням я работаю, а придя домой, долго что-нибудь читаю; в выходные сплю до полудня, потом отправляюсь на солнечную прогулку, в шахматный клуб или остаюсь дома и смотрю какой-нибудь сериал; а теперь, по вечерам, потягивая чай или коньяк, я запускал браузер и общался с той, кто давно меня знала (убеждаясь при этом, что знала она другого человека).

Ксения рассказывала, как находила других одноклассников и помогала им преодолеть трудную жизненную ситуацию или выйти из плохой компании. Я не скрывал, что живу одиноко и замкнуто, но ничего плохого в этом не видел. Ксения, по-видимому, была иного мнения.

Ее страница в социальной сети была наполнена рисунками антропоморфных слонов в бусах, высокомерно-высокоумными цитатами некой Шри, носившей бинди* и бульдожьей щеки, и репостами кулинарных рецептов вперемешку с общественно значимой информацией. По виртуальным группам, на которые Ксения была подписана, нетрудно было составить представление о ее религиозных воззрениях. Мимоходом, будто бочком, она иногда заговаривала об этом, а однажды призналась, каким благом, светом и счастьем для нее стала махаджа-йога.

Я спросил, как она пришла к этому. Она ответила: «Я с детства искала какой-то особенный путь. Была не от мира сего. Я ведь часто болела и поэтому удалялась от всех, искала духовной истины. Я многое перепробовала, но ничто меня не удовлетворяло. А потом наткнулась на брошюр-

* Бинди — цветная точка на лбу.

ку по махаджа-йоге — я тебе дам почитать. Это было для меня настоящим открытием. Ты должен попробовать».

Орфография и пунктуация автора не сохранены. Хотя Ксения ставила точки, но начинала предложения со строчных букв и для обозначения эмоций чрезвычайно охотно пользовалась одиночной скобкой, употребление которой взрослыми людьми всегда приводило меня в недоумение.

Ксения не могла быть довольна тем, что я редко и ненадолго выхожу в Сеть и она не может предаваться со мной продолжительным воспоминаниям; тем, что я игнорировал видеоматериалы околорелигиозной тематики, которыми она делилась, а на вопрос, что думаю о махаджа-йоге, отвечал уклончиво, — и она приехала из Утопска, в котором теперь жила, в город, где по-прежнему жил я. В этом городе, в детстве бывшем для нас общим, она время от времени навещала родителей, и очень удачно совпало, и она надеялась, что сможет встретиться со мной.

Мы, разумеется, встретились. Звать ее к себе на квартиру я не стал. А между тем была зима, ветер стервенел, и посреди тусклого серого дня горели рыжие фонари. Мы пошли в единственное на весь город кафе. Обычно я не посещаю подобные места не только из-за диких, голодных цен, но и потому, что разные сорта кофе, чая и мучных изделий тут подают с мучительным, тошнотворным подобием музыки. В кафе, однако, был кузый закуток, тихий аппендикс с детскими снарядами и парой столиков, где в тот день никого не оказалось.

Да, согласилась Ксения, она тоже не любит эту музыку. Это негармоничные вибрации.

Это просто плохо, это какофония, сказал я.

Да, но это еще и вибрации. Они плохо влияют на организм.

Несмотря на плохие вибрации, Ксения продолжала сидеть и как ни в чем не бывало улыбаться. Она, конечно, изменилась. Будучи и в юности невысокой, она, казалось, стала еще ниже и раздалась вширь. Полноты ее тела не скрывал бурый свитер с темными и светлыми зигзагами, дополнительно ломавшимися на круглых грудях. Маленькие пухлые руки с детскими ямками на месте костяшек были в многочисленных серебристых кольцах. Темные глаза сверкали. В эти ведьмовские глаза словно закапали атропин: я не мог различить зрачка, настолько они были черными. (Как потом выяснилось, у нее была привычка смотреть молча, пристально, неотрывно, почти похотливо. Глазами она гипнотизировала и допытывалась. Впечатление от этого было неприятное.)

Продолжая смотреть на меня и не изменяя выражения губ, Ксения отмахнулась от мухи. Я перевел взгляд на телевизор под потолком: мультипликационный кот, безуспешно гоняясь за маусом, разбивал вдребезги кухонную посуду. Подошла девушка в белой блузе и черном фартуке, ссадила с подноса приземистую чашку кофе (мне) и высокий бокал молочного коктейля (Ксенин), ушла, взяв поднос под мышку.

Ксения спросила, что я смотрел из того, чем она со мной делилась. Я признался. Она ничуть не удивилась и тут же принялась рассказывать о пассах, которые нужно проделать над головой потертыми друг о дружку ладонями, чтобы почувствовать, как из темени родничком выходит энер-

гия, связывающая нас с океаном мироздания. Одно из первых доказательств истинности махаджа-йоги. Простое, но достаточное. И столь же легко объяснимое естественными физиологическими процессами вроде движения крови по сосудам или чем-нибудь подобным. Ксения только улыбнулась на мое возражение. Мне нужно попробовать, и я увижу, что все так и есть, сказала она.

Ксения принялась вспоминать школьные годы, однако прошлое для нас было окрашено и освещено по-разному, и, заметив, что я не разделяю ее восторгов относительно нашего «Б» класса, она заговорила о своей семье, о двоих сыновьях, стала удивляться, почему же я до сих пор холост, а потом (прошлое не отпускало) вытягивала, был ли я влюблен в кого-нибудь в школе, и если был, то в кого. Женщины, эти мягкие, чуткие существа, бывают иногда удивительно бесцеремонными. Нет, это не была ты, признался я и, кажется, несколько ее расстроил. Она опустила глаза и приложилась губами к коктейльной трубочке. Но затем опять улыбнулась, просияла, защебетала. А все-таки — кто?

Мы покинули кафе в сгущающихся сиреневых сумерках. Холодало, и мы зашли в остекленный павильон, где продавали отечественного производства фастфуд. Ксения купила какао, я не взял ничего, и она все предлагала мне картонный стакан с плещущимся лампочным светом, а я все отодвигал его от себя на стойке. Она пригласила приехать к ней. Я удивился: в Утопск? Да, ответила она, это не так далеко, около пяти часов на автобусе.

Я начал подсчитывать, во что это может мне обойтись, от чего на несколько месяцев придется отказаться, я уже подыскивал убедительную отговорку, и уже мне было неудобно перед Ксенией, как вдруг из черного бумажника в ее руках показались лиловато-фиолетовые углы купюр — и стало еще неудобнее: чужая, пусть даже искренняя, щедрость всегда ставит в неловкое, унижительное положение. Ксения сложила купюры вдоль и пальцами разгладила сгиб. Как раньше стакан, теперь я отвел банкноты с императорскими ногами. Она протянула бумажки снова. Я отстранил их и пододвинул к себе стакан. Ксения настаивала. Я отодвинул стакан, взял деньги, развернул, шлепнул ими по стойке, придвинул к Ксении и притянул к себе стакан. Ксения спросила, уверен ли я. Я был уверен не вполне, но деньги принять отказался. Если я не могу заплатить за дорогу, то тут нечего стыдиться. Сколько я зарабатываю? Как-нибудь решу этот вопрос, сказал я — и убрал подальше стакан с нетронутым какао.

Я проводил Ксению до дома ее родителей, находившегося в частном секторе. До этого мне не приходилось здесь бывать. За пятиэтажками, после спуска с рудиментарной лестницей, мы преодолевали ледяные колдобины. На фронтонах одноэтажных домиков лунатически горели фонари, и на снегу лежали веерные тени заборов. В молчаливом холоде сияли крупные звезды. Ксения взяла с меня обещание непременно приехать погостить. Только когда я покинул частный сектор и направился к автобусной остановке, внезапно спохватилась и зло залилась звонкая шавка, но ни один пес ее не поддержал.

На остановке никого не было; через дорогу, под ярко освещенными литерами маркета, по телефону разговаривал мужчина, свободной рукой преувеличенно жестикулируя.

Из темноты сошлись двое. Один был без шапки, лысым брит, с глупыми губами, у виска лоснился шрам; другой, в лыжной шапочке, с лицом в бородавках, был толст, как откормленная свинья.

Лысому страсть как хотелось прикурить, он обратился ко мне, однако я проигнорировал его: я вслушивался в ругательства, которые мужчина с телефоном кидал равнодушному пространству. Слышу ли я, земля, попытался лысый опять обратить на себя внимание. Ну, неопределенно протянул бородавчатый боров, подходя сбоку. Что вам нужно, спросил я, когда лысый оказался прямо передо мной. Он уточнил, не оглох ли я. Ну, выдохнул кабан. Не мог бы я дать закурить, сказал лысый. Я не курю. Не мог бы я занять денег на проезд, поинтересовался он. Он высказал недоумение, откуда я вообще взялся, не видел меня раньше. Я стоял в снопе фонарного света и ничего не отвечал. Брови лысого лезли на лоб от удивления и раздражения, свет резал ему глаза, он часто мигал. Ну так что? Деньги есть? Отойдите от меня, сказал я и жестом отстранил его. Он горько улыбнулся, переглянулся с толстяком: мол, первый раз такое. Не соизволю ли я отойти с ними вон туда для разговора, кивнул он на темный остановочный павильон. Мне было неплохо и там, где я находился. Ну, замычал его приятель, потянул было за нейлон куртки, но я отступил от них на шаг. Не распускайте, пожалуйста, руки.

В этот момент к остановке подошли двое крепких мужчин, в чем-то сродных одиночке под вывеской магазина: они так же безостановочно болтали и чрезмерно размахивали руками. Они покосились на нас, продолжая свой сторонний диалог. Лысый и толстяк еще потоптались и вскорее ушли, бросив сквозь зубы, что мне придется худо, когда мы встретимся в другой раз. Курва, крикнул человек под вывеской, рубанул рукой и тоже удалился со сцены.

...В Утопск я поехал через месяц, когда в марте выдались большие выходные. Прибыл под вечер, так что не смог толком рассмотреть город; осталось общее впечатление его разбросанности, бесконечности, гнотости его дорог. Маршрутка, на которой я ехал, заворачивала вправо, потом влево, потом снова вправо — и так несколько раз. Новостройка, где жила Ксения, оказалась где-то далеко, среди снега и серого льда. Я отыскал нужный подъезд и поднялся на лифте.

Проходи, проходи, сказала Ксения, открывая дверь. Она улыбалась, растягивая губы и зубов не обнажая. На ней была сиреневая юбка с отливом и спортивная майка, в проймах которой виднелись лямки бюстгалтера. Она казалась еще более полной, румяной, спелой.

Ксения провела меня по квартире. Пространство голубой комнаты умножалось на два зеркальным шкафом, в котором отразилась огромная кровать; рядом с дверью застекленной лоджии располагался компьютерный стол; в углу, на клеенке, были сложены детские игрушки. На стене другой комнаты висел портрет знакомой щербатой индианки, вдоль кофейных обоев вытянулись кровати, а на полу лежал палас в психоделиче-

ских зигзагах и трансцендентальных трапециях. Здесь же ползал двухлетний человеческий детеныш, которого Ксения мне незамедлительно вручила. Его брат в детском саду, пояснила она, придет с отцом.

И они возникли. Муж Ксении, с таким неподходящим именем — Валентин, носил очки-хамелеоны, а подбородок его как будто густо облепило маковое зерно. Старшему ребенку было пять или шесть лет, и, переодевшись, он бросился к игрушкам, которые в испуге стали расползаться от него по комнате. Ксения представила меня мужу, мужа мне, меня сыну, сына мужу — и ушла в кухню.

Я не знал, о чем говорить с мужчинами Ксении, и сел с книгой на пуф. Была одна из тех минут, когда я чувствую себя особенно одиноко и независимо и удивляюсь, что делаю среди чуждых мне людей.

Мы сели ужинать. Валентин, в одних штанах цвета хаки, сидя на табурете, выгибал смуглую спину, разделенную надвое утонувшим позвоночником. Старший сын в кулаке держал вилку, и сосиска елозила по фаянсу, избегая бледного мазка майонеза. Младший жевал то, что скормливала ему Ксения, сплевывал на воротничок и смеялся. На плазменной панели половинчатая дикторша равнодушно рассказывала об обязательном насилии. Я говорил с Ксенией о погоде и соглашался, что сейчас опасно ходить по тротуарам: с крыш в обморочном состоянии падают сосульки.

Когда я пошел в туалет, меня догнал Валентин, сообщил, что кнопка бачка западает, и объяснил, как от сливного механизма добиться желаемого эффекта.

На следующий день Ксения занялась моим обращением. Я полулежал с книгой в голубой комнате и блаженно жмурился от пыльного света, бившего сквозь стекла. В животе урчало. Ксения вошла в комнату с большой деревянной ложкой, облепленной бурой пеной. Она тоже любит стихи, сказала она. Неужели, спросил я. Ну, других авторов. Она повертела в руках книжку Блока, которую я ей передал. Это сложно, никогда ей не нравилось. Да, другие авторы. Мне представились популярный слепец и выпцветающая цветаевщина. Кстати, сказала она, мне нужно меньше читать. Не уверен, уверенно сказал я. Да, нужно. Это все прекрасно, но я забиваю себе голову, слишком все усложняю, а ведь есть простое, Божественное — тут она ойкнула, махнула рукой и убежала в кухню, где что-то зашипело.

Управившись там, Ксения вернулась. Она хочет дать мне кое-что почитать. Ах да, махаджа-йога, подумал я, сел и принял из ее рук тощую книгу формата А3. С обложки глянуло знакомое рябое лицо, я перелистал и почувствовал скуку. Ксения добивалась, что я об этом думаю. Да ничего я не думаю, что я могу сказать? Я с этим не сталкивался. Она пустилась в долгие, путаные объяснения, не обращая внимания на рулады, которые выводила моя желудочная мускулатура. Впрочем, все оказалось просто: есть техники и молитвы, делающие человека счастливым и особенным, прочищающие мозги и чакры.

Я сделал пару иронических замечаний о той довольно плоской картине мира, которой Ксения силилась придать объем. Она нахмурилась. Иногда непонятно, серьезно я говорю или шучу. Я хотел было разъяс-

нить. Мне надо поменьше читать и думать, перебила Ксения. Уж этого я точно делать не собираюсь, возразил я. Да, надо. Она подвинула книгу: но это все-таки прочитывать необходимо.

Мы сели завтракать. Ксения предложила посетить медитативное занятие. Как раз сегодня. Она думала, что я ради этого приехал. После моего согласия (я не стал отказываться, желая посмотреть на секту вблизи) Ксения повеселела. Блины, которые она напекла, с медом оказались очень вкусны. Ну как, нравятся? Я жевал и потому не словами, а мимикой выразил одобрение. Я могу заходить в гости, когда переберусь в Утопск, она многое умеет готовить. По-прежнему жуя, я только улыбнулся ее уверенности, что я перееду. Прожевав, я спросил: как муж относится к ее участию в, скажем так, мистической жизни? Нормально, ответила она, почему он должен плохо к этому относиться? Пока это ничему не мешает, ему все равно. Я кивнул, припоминая, как ловко он держал вчера хищную вилку. Но если Валя не вернется вовремя с работы, мне придется ехать на занятие одному, с детьми сидеть некому. Доберусь. Она вызовет мне такси.

На такси я, действительно, поехал один. Последователи махаджайги собирались на квартире седобородого гуру (всякий духовный учитель невольно подражает Льву Толстому). Повсюду в комнате были расставлены курильницы; хозяин неторопливо зажигал сандаловые палочки и, не отрываясь, встречал каждого входившего завидным белозубьем, а потом взбивал воздух пятерней в пестрых перстнях: проходи, проходи.

Я осмотрел шкаф, набитый так называемой духовной и мотивационной литературой. У меня дома только художественная. Люди собрались, расселись по диванам, креслам, на полу — по-турецки, в полном или неполном лотосе, — и тогда гуру, которого все называли дядей Юрой, опустился на бордовую подушечку перед огромной «плазмой» и начал лекцию.

Христианство бессильно исправить современное общество и дать надежду посреди тех политических и военных сшибок, о которых можно узнать из телевизора, — и только их учение позволяет наладить контакт с вечным, а не сиюминутным. Даже не нужно покупать товар их Бога, он безвозмезден (два — нет, три по цене одного!), хотя и проявит весь свой функционал лишь в руках истинно уверовавшего.

Ароматические палочки красновато тлели, липко пахли, от них тянулись сизо-голубые ленточки дыма. Наступали сумерки, в комнате стоял прозрачный туман, и туман возникал в голове. Но после лекции устроили небольшой перерыв, включили свет, приоткрыли окно. Знакомые подходили друг к другу с пошлой улыбкой, какая скорее бывает на лицах людей, между которыми ночью случилась близость и которые этой бесстыдной улыбкой ее выдают. Дядя Юра спросил меня, как я узнал о занятии. При имени Ксении он просиял.

После перерыва — обязательная практика: общая медитация. Дядя гуру попросил всех закрыть глаза, а потом монотонным голосом стал указывать, как дышать, на какой чакре сосредоточиться, под каким углом расправить ментальные крылья. Я рассматривал бритый юношеский затылок прямо перед собой: спускавшиеся на него русые пряди свивались в

тощий хвостик, нырявший за ворот свитера. Я закрыл глаза тоже, было скучно, в выпуклой темноте змеились фиолетовые линии.

Дядя Юра бодро объявил, что достаточно. Все разжмурились, у многих были сонные глаза, кое-кто, бессмысленно улыбаясь, часто-часто мигал на потолочный свет. Несколько человек решили уйти, и я тоже натянул куртку. Можно остаться, сказал дядя Юра, в прихожей было темно, казалось, там присутствует одна светлая борода. Сверкнули чьи-то белки, пытавшиеся соблазнить печеньем и горячим чаем. Я отговорился тем, что такси ждет у подъезда. Мне вручили песочное сердце и протянули полиэтиленовый пакет со свернутыми бумажками. Это на удачу: подскажет, что ждет впереди. Я взял бумажный рулончик и не читая положил в карман.

Я выкинул его в урну у подъезда. Не то чтобы я не верил в возможность если не полноценного предсказания, то хоть смутного намека судьбы, но мне всегда интересней было следить за фабулой, не зная наперед, что случится на последней странице. Чувствуешь себя собранней.

Пока ждал такси, я продрог. Мороз был восхитительно одинок среди звезд на небе и звезд на снежном насте. Наконец подъехал «седан» с шашечками. Я сел, машина свернула за угол, дважды качнулась на «лежащем полицейском» (передние колеса, затем задние), после этого пошла шибче и скоро выехала на долгий мост, освещенный янтарными фонарями, отмахивавшими один за другим за смуглым стеклом дверцы.

Вернулся-таки, сказала Ксения. Валентина дома не было: его срочно вызвали на работу в ночную смену. Из голубой комнаты лилась знакомая музыка (BWV 1048). На мониторе компьютера был развернут аудиоплеер с чересполосицей треков. Я полюбопытствовал: третий концерт? Просто Бах, сказала Ксения. Очень любит, это просто прекрасно. С тем, что это прекрасно, я спорить не собирался. Соль мажор.

Во время ужина Ксения спросила, как прошло занятие. Дурацкая привычка разговаривать за едой. Я прожевал овощи, запил водой и сказал, что я взрослый человек и мне не слишком приятно, когда малознакомые люди смотрят на меня свысока, как на глупого ребенка, который ничего не смыслит и которого всему нужно учить. В некотором смысле, сказала Ксения, мы, в самом деле, дети, и без руководства старших товарищей не обойтись. Я пожал плечами и стал пилить ножом сочную котлету. Ксения скребла ногтями рябую поверхность апельсина.

Я еще вяло пообщался со старшим сыном, потом Ксения увела его, уложила обоих детей, и, конечно, почитать мне так и не удалось. Я был распластан на кровати, стояя держал на груди раскрытую книгу. Ксения вошла, села за компьютер, поклацала клавиатурой, и затем я почувствовал, как, повернувшись, она смотрит на меня. Пришлось убрать книжную заслонку. Ксения улыбалась и моргала, оттого что свет люстры, как-то хитро отразившись, бил прямо по глазам. Она спросила, смотрел ли я — и назвала фильм, о котором я был наслышан. Нет, признался я, советуешь? Мы можем посмотреть, продолжала улыбаться она. Ну хорошо, сказал я и зашевелился, собираясь встать. Я могу лежать, будет хорошо видно, сказала Ксения и без предупреждения погасила люстру. Поводив и пощелкав мышкой, она нашла нужный файл на компьютере.

В интимном мраке сиял прямоугольник бирюзовых волн. По ним плыл рафинадовый рафт, снятый с восхитительной высоты. Таким, вероятно, видит мир Господь. Я взбил, приподнял подушку и полулег на нее. Ксения, сперва сидевшая на краю кровати, улеглась рядом со мной; я почувствовал, как на меня давит ее круглое горячее плечо. Она фильм уже видела, и потому происходящее на экране ее не занимало. Вот что ей делать с Вале́й? Он смотрит все подряд, досматривает самые отвратительные фильмы до конца, как ему это удовольствие доставляет? У каждого своя страсть. Но ведь это плохо, просто плохо. Плохо — относительная категория. Домой я поеду завтра? Да, завтра. Когда вернусь? Трудно сказать, это не так просто. Да просто, мне только стоит захотеть. Ксения придвинулась, навалилась сильнее, плотнее, положила ладонь мне на бедро. Одного хотения мало, сказал я, сгибая ногу и полуотворачиваясь, как если бы в прежней позе мне было неудобно. Мне там (она имела в виду родной город) совершенно нечего делать, я просто не представляю, какой я хороший человек. Она попыталась поймать мою ладонь и сплести пальцы. Странные комплименты. Что она делает, спросил я, указывая на экран. Ну, так у них принято, так они детей воспитывают. Она поймала мою руку. Я должен обещать, что приеду, перееду. Перееду? Трудно мне тут будет найти работу. Она убежденно сказала, что найду, и теперь напирала мягкой грудью. Я освободил руку. Мне нужно в туалет.

Не сразу удалось спустить воду в унитазе, и уже в ванной, когда я умывался холодной водой и отражался в зеркале среди чуждого голубого кафеля, было забавно думать о людях, которые со рвением и остервенением обустривают духовную жизнь, но при этом годами терпят своенравие сливного механизма унитаза.

Я вернулся в комнату: видео стояло на паузе, Ксения скучно лежала на боку. Я спросил: еще не конец? Ксения ожила: половина только — и похлопала ладонью по одеялу. Давай досмотрим в другой раз, ужасно хочется спать. Вставая, она сказала, что еще нет полуночи. Надо пораньше встать. Зачем же пораньше? Мне ведь ехать. Я собираюсь прямо с утра? В темноте я, слава богу, плохо видел выражение ее лица. Не хочется приезжать домой поздно, и дела есть. Она выключила компьютер. Ну, как хочешь, спокойной ночи. Но в другой раз мы досмотрим, предупредила она, помедлила и вышла. В другой раз — обязательно.

К утру Валентин не вернулся; Ксения была слишком занята капризами младшего сына и хмурым настроением старшего; я чувствовал себя раскованно, легко позавтракал, быстро собрал немногочисленные вещи и распрощался, не позволив себя обнять на пороге квартиры.

День был хороший — голубой и белый, с теплым, янтарным светом. Люди распахивали одежду на груди, взлохмаченные голуби купались под сосульчатой каплейю. Я достал из кармана нетронутое печенье в форме сердца, раскрошил его и скормил голубям.

Никаких особенных дел у меня не было, и в свой город я как раз успел вернуться к закату, демонстрировавшему в небе целый ассортимент розовых облачных лезвий. В магазине я улыбнулся кассирше, которая пробила, но забыла снять с весов черно-желтую связку бананов.

Александр ДЕНИСЕНКО

**«...С ОТЧЕТЛИВОЙ НАДЕЖДОЙ
НА ПЕЧАЛЬ»**

История одной любви

Кони шли босиком к водопою
По следам, что оставили мы,
Возвращаясь назад через поле
Из двухместной любовной тюрьмы.

Истомленные жаждой познания,
Мы паслись на другом берегу
И, напившись любви и страдания,
Оказались босые в снегу.

Лишь тебе улыбнулась гнедая,
Только мне поклонился гнедой,
Когда шли мы в упряжке, страдая:
Молодая и я, молодой.

Никогда с тобой счастлив я не был,
Потому что всегда и везде
Ты тайком улетала на небо,
Чтобы ждал я тебя на земле.

И я снова бреду к водопою,
Чтоб напиться студеной воды —
Через снега несжатое поле, —
Разбивать своей мордою льды.

Жеребят разноцветная стая
Возвращается с неба с тобой.
Я, босой, и ты тоже, босая,
Долбим лед — напоить их водой.

* * *

деревенский вор
подперев щеку
ждет полуночи
ему чудится
из-под белых штор
дружелюбный взор
тихой дурочки

ходит кот впотьмах
мама спит-лежит
кони поены
вот ладони взмах
и она летит
губы сдвоены

а помещица
ей семнадцать лет
спит за стеклами
с нею лег во сне
молодой ранет
ветки мокрые

* * *

О не смей, сыромятное сердце,
Так сжиматься от смертной тоски —
В том окне, где состарилось детство, —
Буква «Х» в две сосновых доски.

...Уж не выйдет Демидыч, не встретит вас ласковым словом,
Не сыграет на хромке, не выпьет треклятой стакан,
А потом своей Марьей до дому на ручках несомый,
Не застонет, сердечный, от курских и краковских ран.

Сколько кружев с морозных окошек
Успевала связать к Рождеству,
А теперь вот, такая хорошая,
На работу ушла ко Христу.



Вместо слез вытирая снежинки,
Он прижался виском к косяку...
Птицы черные, словно косынки,
Всё летели на грудь старику.

Еще крепче вцепившись в работу
Черно-синими венами рук,
Он забыл, что он есть, но что кто-то
Ходит к месту последних разлук.

Весь облит водяными частицами,
Шел, обнявшись, в поля с Воронком,
Задушевное дерево с птицами
Пробегало вдали босиком.

Я молчу. Потому что не знаю,
Как старик истончился на нет.
Я курю. Я опять вспоминаю
Деревенский немеркнувший свет.

...Что ж опять ты, сыночек, не спишь, мое милое золотце, —
Мама гладит меня позолоченной в долгой работе рукой,
Ангел сна, позабыв обо мне, на ладонь ее светлую молится,
Омываемый льющей в темную комнату лунной рекой.

...Там, где солнце садится в телегу,
Повалюсь в голубую траву
И засну под березовым снегом
В незасыпанном полностью рву.

* * *

Голову на плаху, сердце на алтарь —
Со всего размаху, как когда-то встарь.

Верная, красивая, сильная любовь,
На алтарь, на плаху меня приуготовь.

Скоро снег распустится на тысячу вод —
Помолиться в церковь мой палач пойдет.

В подзакатный вечер, в день успенья зимы
Будет чист и светел образ русской земли.

Прорубь потемнеет от вешней воды,
Только в одну сторону ведут к ней следы.

* * *

Саня пил вино зеленое
С незабудками в руке,
Две березы в черных платьях
Показались вдалеке.

Господин мужик с гитарой
Поднимался от реки,
Напевая грудью впалой
Одинокие стихи.

У ручья, в траве деревьев,
Мальчик с липовой ногой
Спит лицом на оглавленьи
Нашей книги дорогой.

Через поле маргариток
Все, кого я помянул,
Собрались на молитву,
Да и я не преминал.

Суслик с мокрыми глазами,
Покажи мне со слезами
Позаброшенную флешь...
Вот удача. Рыть не надо.
Здесь пшеничная ограда
Для несбывшихся надежд.

* * *

Тоска по женщине хорошей
С надменным, граждане, лицом,
Ну неужели не поможет
Родное сердце, или тоже
В нем тянется старинный сон?



То было осенью, однажды
Пошли на убыль холода.
Красивый узкий змей бумажный
Над нашей родиной летал.
Еще за полночь видно было,
Что он всегда был, испокон,
И шесть крестьянинов лениво
Ему грозили кулаком.
Тогда как в русском букваре
Насобирать, добрать глаголы,
Тогда как хочется скорей
Разбить глаза о радиолу
«Родина».

Большуц

И мягок рот твой, мамочка.
Я полощусь,
бумажный змей,
Как во дворе цветная наволочка.
Коричневым ли, золотым
Сгорит наш сад.
Ну жаль.
Ну очень.
Я делаюсь совсем простым
Вот этой ночью.

...Пиши сама.

В дороге

Что ж, расстанемся... Я ведь не против,
Но скажу я тебе без прикрас:
Полюбился мне крепкий наркотик
Голубых твоих ласковых глаз.

В третий раз нас дорога спасает:
То сведет, то опять разбросает...
Конь внатяжку встречь ветру идет,
Он везет, ну а нам — не везет.

Я-то думал, что выжил, что выстоял,
Что тебя, может, ранил больней,
Не заметив два ласковых выстрела
Из-под черных внатяжку бровей.

* * *

Все в мире пепел, все свет, все тень — все только лепет, все лесть, все всклень,
да лишь бы правда жила в цвѣту настѳойкой девушек да на спирту.

Дыра опять никак не пришивается,
Лесник принять букет не соглашается,
Любовь любой ценой не приживается,
Невеста в мое сердце не вмещается.

Ну хорошо, ты говоришь, есть вѣсть, что вместо лести всем будет месть,
да лишь бы правда в алчбе с судьбой не опоила нас сон-травой.

Недолго спал, да много в жизни видел я,
Меня страна ни разу не обидела,
Я тихо жил, как каменная ласточка,
На синем небе серая заплаточка.

Все в мире пепел, все земь, все прель — лишь прах и трепет, лишь тлен, скудель,
да лишь бы правда с судьбой в ладу нас не застигла в земном саду.

Твои глаза, как небо темной осенью, —
Ни разу не цвели, не плодоносили,
Прости меня, люби меня, встречай
С отчетливой надеждой на печаль.



Наталья МОЛОВЦЕВА

НА ОТШИБЕ

Р а с с к а з

Махал Махалыч — звали его в селе. Без юмору, без смешинки народу скучно, особенно в нынешнее сумеречное время. Колхоз давно прихлопнули, какого-то управляющего вместо председателя привезли. Да ладно бы мужика — бабу. Утром она приезжает из райцентра на машине, вечером таким же макаром уезжает. Это как — чтобы председатель, ну пусть и управляющий по-теперешнему, жил не в селе, вместе с народом, которым руководить приставлен, а где-то на стороне? Это все равно как не мать, а мачеха в доме. Чужая.

Ну да где ему разобраться во всех этих новых порядках! Тут с собой — и то не все ясно. Хоть то же имя взять: в детстве был Мишкой, в женихах — Михаилом. А как зажил семейной жизнью да попер на колхозной работе в передовиках — так и в Михаила Михайловича произвели.

А потом всему — крах. Колхозу, привычной жизни. Да и семейной тоже. Выросшие дети разъехались, жену схоронил. Сейчас ему даже говорить с сельчанами — и то не больно охота. Он и взял манеру: спросят о чем — поглядит недоуменно, да и махнет рукой. Ну и как тут было народу не воспользоваться моментом, Махал Махалычем не наречь? Сказать честно, он и не обижается на это то ли имя, то ли прозвище: пускай тешатся, от него не убудет. Хотя где-то глубоко внутри себя... Народ ведь какой: за глаза — Махал Махалыч, а как в водонапорной башне поломка, как пересохнет в колонке вода — так и идут во двор к нему, к его колодезю, и тут уж если не полной регалией, так хотя бы Михалычем назовут.

Колодец Михалыч соорудил по двум причинам. Первая — живет на отшибе, на самом краю села, и когда строили водопровод, при советском еще времени, то ли труб не хватило, то ли еще чего, но до его дома линию не довели.

А вторая — не больно ему водопроводная вода и нравится. Железом отдает, ржавчиной. Вот он и почистил заброшенный, вырытый в огоро-

де еще дедом колодец, подновил сруб, крышу над ним поставил. Еще и красочкой синенькой прошелся по ней — пусть веселее глядится. Цепку крепкую в райцентре купил. Ну и стал пользоваться своей персональной водой, еще и односельчан время от времени выручает.

Но вот однажды зашла в его двор женщина совсем незнакомая. И мало того, что незнакомая, еще и всем видом не своя, не деревенская. Местные бабенки больше в байковых халатах ходят, а эта в цветастом сарафане; местные повязывают платок узлом под подбородком, а у этой платок — чудное дело — жгутом перекручен и концы его отведены назад. Получается, голова как венком окружена. Кто такая?

Вышел Михалыч по такому случаю на крыльцо.

— Здравствуйте. Говорят, у вас колодец есть. Можно я водички наберу? — спросила незнакомка.

Тут уж не отмахнешься, пришлось отвечать:

— Чего же нельзя? Для того и сделано.

Тем же вечером пришел за водой Василий, давний Михалычев дружок, с которым они вместе когда-то и пахали, и сеяли. Присели на крыльцо, закурили.

— Ты подумай, Михалыч, совсем народу работы не стало! На посевную своих людей из района привезла — управляющая-то. Убирать, говорит, они же будут. Объясняет: у них техника такая, что вы в ней не сообразите.

Михалыч, по привычке, молчал. А Василий шел дальше:

— И чем теперь местному народу заниматься? Только и остается — самогон гнать.

В ответ — опять молчок. Дружок осерчал:

— Ты совсем немтырем становишься! Женился бы, что ли. Вон и невеста в селе объявилась.

— Кто такая? — отверз наконец уста Михалыч.

— А-а, интересно все же? Бабенка вполне справная, стала на квартиру в пустой Дунькин дом. Говорят, картины рисует. Ненашенское, конечно, занятие, и потому непонятно, чего она в нашем селе забыла. Ну да у всякого свои причины. Так что заказывай, Михалыч, картину!

Михалыч, опять свое прозвище оправдывая, только рукой махнул: зачем ему?

А перед сном, поужинав хлебом с кружкой молока, вдруг задумался: а чего бы ему и вправду не завести в доме картину? Стена-то над диваном все равно пустая. Над кроватью — тут всегда ковер висел. Пока жива была матушка, это была картина с крутошеими лебедями, плавающими в пруду, и девицами вдоль по бережку — пышноволосями, глазастыми, с красными, что твои яблоки, щеками — тоже, видно, какой-то художник нарисовал. Михалыч с женой завели уже настоящий ковер, фабричного производства, с цветными узорами да разводами. Он и сейчас висит, и никакого другого, пожалуй, больше не предвидится. А вот над диваном...

И когда женщина в перевитой косынке пришла за водой в другой раз, он решил не отмахиваться, а поговорить с ней по-человечески. Для начала спросил имя-отчество. Она несмело представилась:

— Милана... Можно без отчества.

Он удивился про себя: Милана? Это еще что за имя? Маланьи в их краях — да, водились, но ведь это когда было-то. Сейчас имена другие пошли. А Милана... это почти что «милая». Это же выговорить невозможно! И зачем выдумывать такие трудные имена?!

В общем, обошелся без имени. И когда эта... Милана... шла уже назад, от колодца, остановил ее вопросом:

— Вы, говорят, картины рисуете? Я бы, пожалуй, приобрел одну.

— А вы приходите ко мне. Посмотрите, может, какая и понравится.

И на другой день они пошли к ней вместе. Ведро с водой нес он, Михалыч. Ну а как же? Не пойдешь же рядом с нагруженной женщиной порожняком.

Дунькин дом — известное дело — не дом, а домишко. Хозяйка давно умерла, и никто не подправлял разошедшие полы, не подновлял обсыпавшуюся штукатурку. И все в доме было как при хозяйке — по старинке: стол, лавки вокруг стола, кровать у стены. А вот картины, на полу вдоль стены расставленные, — это внове. Стал разглядывать. Девчонка сидит на лавке, голыми ногами болтает — ну, это он и без картины каждый день может увидеть. Мальчонка белоголовый... В их селе, после того как сюда повалили откуда-то из своих краев армяне, больше черноголовые да черноглазенькие бегают. Он, Михалыч, с советских времен привык все национальности равными считать и против армян ничего не имеет: раз там, на родине, стало вам плохо, живите у нас, земли на всех хватит. А все-таки обидно, что светленьких-то голов среди играющей на улице пацанвы почти не стало. И имена... Ашотик, Гарик, Левон — кличут по вечерам женщины, созывая ребятишек домой. И не слышно знакомого: Иван, Вовка, Петька... да тот же Мишка, в конце концов...

Однако он пришел сюда не за тем, чтобы об именах размышлять. Он пришел за картиной. И вот, кажется, та, которую он унесет домой. Совсем простенькая картинка — букет цветов. И все они такие знакомые-раззнакомые: ромашки, да васильки, да желтая кашка, да ржаные колоски среди них. Лето красное минет, а они у него над диваном так и будут цвести — глаз радовать, душу греть.

— Вот эту возьму. Говорите цену.

— Да вы можете и не платить ничего. А лучше наделали бы мне рамочек. Рамочек мне не хватает.

С тех пор так и повелось: то она к нему за водой, то он к ней с рамочками. Народ, конечно, все это наблюдал, делал прогнозы. Озвучил их тот же Василий:

— А что, Михалыч, не пора ли тебе в сам-деле?.. У вас ведь уже кооператив образовался: она рисует, ты рамочки мастеришь. Вы бы ладком, мирком — да за свадебку...

Михалыч не стал отмахиваться, ответил словами:

— Людей на старости лет смешить?

А сам тем же утром, когда она пришла за водой, вдруг взял да сказал:

— И чего мы ходим туда-сюда? Оставайся у меня насовсем.

Ее, кажется, не обидело, что он без согласования с ней на «ты» перешел. Дружелюбно, даже с улыбкой, ответила:

— Хорошо, Михаил.

У него по сердцу как ангел пробежал: Михаилом назвала. Именем, от которого он почти отвык.

Старенький чемоданишко — все, что она принесла вечером. «О-о-о!» — пропела уважительно, оглядев его дом и сравнив с Дунькиными «хоромами».

Свадьба — какая уж там свадьба... Но стол они, уже вместе, собрали, друг напротив дружки сели. Михалыч наполнил рюмочки взятой по такому случаю беленькой. Без лишних, ненужных слов чокнулись. Выпили. Потянулись вилками к салату.

Михалычу и от одной рюмки хорошо стало. А она — заметил он — была не прочь еще выпить, только сказать не решалась. Так он и не стал ждать никаких слов, взял да налил по новой. После второй вдруг и разговорился: стал рассказывать про то, что жили они с женой ладно и детей вырастили вроде неплохих — все в городе теперь живут, работают, ребяташек, то есть внуков его, растят, да уж больно редко навещают. Скучно им в сельской, как они говорят, глуши, а ему скучно одному. Но вот теперь, когда они будут вместе...

Милана сама вдруг потянулась к бутылке, налила и ему, и себе, вот только ждать его на этот раз не стала — опрокинула рюмашку первая, а выпив, посмотрела на него туманно и даже как бы с легкой усмешечкой:

— Ладно жили, говоришь? Это хорошо. Это просто замечательно. А вот у меня ладно никогда не было. Никогда! Даже в детстве. Отец пил, мать пила. Школу кое-как окончила — что дальше? Учительница по рисованию говорит: у тебя талант, развивать надо... А на какие шиши? Родителям не до меня... В общем, ушла я из дома.

Михалыч слушал, сочувствуя гостье всей душой.

— Ну и — как же ты дальше?

— А как многие такие же... Общага... официантка в кафешке... по вечерам картинки малюю... кавалеров меняю как перчатки...

Милана опять потянулась к бутылке, опять выпила, не дожидаясь его, и понесла совсем уж непотребное:

— Думаешь, обрадовал меня, осчастливил? Да я, если бы захотела, могла бы и в городе... не хуже, а лучше, чем в вашей дыре... у вас тут теперь даже молока не купишь — крестьяне, называется...

Он слушал ее, дивясь и не веря, что человек может так быстро перемениться: вот только тихой да кроткой была, вот только имя свое — Милана — оправдывала, и вдруг — на тебе...

Когда ее речи стали совсем уж дерзкими и путанными, он, сам того от себя не ожидая, стукнул кулаком по столу:

— А ну, марш на диван! Под свою картину...

Милана (да какая там «милая» — глаза бы не глядели!) упала на диван кулем и всю-то ноченьку ворочалась, бормотала что-то, вздыхала со стоном, будто кто ее душил, — ну да с ней все понятно, а он-то чего в потолок глядит? Глядит и костерит сам себя: красоты захотел, дурак? Ну ешь теперь полной ложкой. Да запивай еще. Пример перед глазами...

Ругал Василия: ладно он, Михальч, с краю села живет, а тот-то в самой середке — неужто за ней ничего не замечали? Чего ж не сказал, не упредил? Нет — «женился бы в сам-деле...»

«А сам что — маленький?» — обрушивался опять на себя. Свою жену сызмальства знал, потому без ошибки и вышло. А тут... загорелось ему... одному, вишь, скучно... зато теперь больно весело стало...

Потом в его измученную горькими мыслями головушку пришла такая: да что — она одна, что ли, вот так-то? Как все перевернулось в стране, как пошла эта дурная перестройка, как пооставались люди без работы — многие стали находить утешение в бутылке. Где-то ведь ее отец работал до этого. И мать. Что не спросил?..

Да что спрашивать — у них в селе, что ли, не так? Василий правильно сказал: люди бесхозные остались, государству ненужные. А приезжающая управляющая — она сама человек подневольный. Что велат, то и делает. Велат работников из района везти — она и везет. А что местных оставили без работы...

Без работы человек дичает. Даже личным хозяйством — и то не хочет заниматься. Она, Миланка-то, верно сказала: только называемся крестьянами. Это же надо: молока в деревне теперь не найти! А если и купишь — то только у тех же армян. Они-то сразу поняли, что на чужой земле их никто кормить не будет; понастроили хлевов да сараев, завели скотину. Раньше, при колхозах, как весна — один колхозный трактор пашет все личные усады сразу: они так и шли за домами, один за другим, образуя одно поле. Любо-дорого было потом смотреть, как хозяева торят межи, восстанавливая границы своего усада, как дружно, всем семейством, сажают картошку — основную крестьянскую еду. А теперь... Теперь на тех усадах, на той земельке, что кормила их, стоят армянские скотьи постройки, а где их нет — земля зарастает ивняком и чертополохом.

Милана с утра глядела искоса, обидчиво, но когда он позвал ее пить чай, сникла вдруг, опять стала тихой:

— Вот, теперь ты знаешь, какая я.

Не дождавшись в ответ ни звука, сказала еще:

— Пойду, наверно, опять в свой домок.

И опять он промолчал.

Так, молча, и допил чай, вышел на улицу. Сошел с крылечка, поднял голову к небу. Ах, хороший занимался денек! Такой уж светлый, такой благостный... И чего ей, заразе, надо?.. В хороший дом пришла. Мужик не пьет, не бьет. Становись к плите, свари щей, а потом рисуй, сколько твоей душеньке угодно. Душенька-то вот только... больная. И признайся себе, Михалыч: залечить ее раны тебе не под силу. Тут какое-то особое снадобье требуется, а ты его рецепта не знаешь.

Оглянулся — а она уже стоит на крыльце со своим драным чемоданишкой. Стоит и стоит. И чего медлит? Вышла — так иди, не дли муку.

— Михаил... можно я напоследок водички из твоего колодца попью?

Как и в тот, в первый раз, он сказал:

— Чего же нельзя? Для того и сделано.

Пошли в огород. Звякая цепкой, Михалыч опустил и вынул ведро. Она зачерпнула кружкой.

— Хорошая у тебя вода, Михаил.

И вот это «Михаил», сказанное дважды, так резануло по сердцу, что он вдруг разозлился и пошел на грубость:

— Хорошая, говоришь? Ты могла бы каждый день ее пить. Вместо белой-то отравы.

И отвернулся.

А когда обернулся, увидел, что она уходит прочь. И опять его резануло чувство, которому он и названья не знал. Боль? Жалость? Одинокость? Все вместе... Стало трудно дышать.

Сделав над собой усилие, он все же набрал в грудь воздуха и выдохнул в два приема:

— Ми... лана...

Она замедлила шаг.

— Не уходи... Ты мне вернула... имя. Кто еще и когда назовет меня Михаилом?



Екатерина РАСКОЛЬНИКОВА

ИСКУССТВО НЕПОНИМАНИЯ

Р а с с к а з ы

Жаль

Жил-был на свете несчастный Жаль. Он был маленький, хрупкий, все время чихал и жалел себя. И было бы ему жалко кого-то еще: украинцев, голодных или бедных... Но нет, он жалел только себя. И даже когда мать, которая и научила его жалеть себя, умерла, Жаль заплакал горькими слезами и стал жалеть — себя. Он же один остался.

Жаль жил в большом городе. Как и всем, ему приходилось ходить на работу, в магазин и в другие городские места, и он всегда брал свою жалость с собой. Жаль был молод и полон сил, но жил убежденным холостяком. Располагался он в богатой квартире с видом на роскошный детский сад, где резвились дети. В окна к Жалю стучалась листва и светило солнце, пока он жалел себя, лежа на диванчике, отвернувшись к стенке.

Он жалел себя по любому поводу. Это был мастер своего дела! Его ежедневные жалости начинались, как только он открывал глаза. Он рано вставал — и жалел себя за недосып. Вставал поздно — и жалел, что потерял так много времени. По утрам он сожалел, что ему нужно готовить завтрак, идти на работу, спускаться в метро, что чай его плохо заварился. Он жалел себя и не знал покоя, если вдруг чувствовал, что чуть-чуть себя недожалел. Он специально работал в меру, чтобы не уставать, и не ездил на море — жалел себя, мало ли что случится.

Что и говорить, Жалю было тяжело.

Однажды Жаль, как обычно, ехал в метро, где проводил традиционный послерабочий сеанс жалости к себе. Чтобы жалеть себя было легче, он втиснулся между толстой дамой и немытым гражданином. Вагон нещадно трясло, и Жаль решил, что он невыносимо несчастен.

На следующей станции немытый гражданин вышел, и Жаль увидел чудесную девушку в конце вагона. Она была одета прелестно: платье в цветочек, туфли, книжка в руках, милое личико — мечта! Он так засмотрелся на девушку, что даже перестал себя жалеть. И, вопреки своим принципам, решил действовать решительно. Он никогда не знакомился с девушками, тем более с красивыми (на всякий случай жалел себя), но теперь как будто инстинктивно почувствовал, что должен сделать.



Девушка доехала до той же станции, что и Жаль, даже разок мило улыбку ему улыбнулась, и он дерзнул. Прямо подошел к ней и заговорил. Он был неплох в красноречии, однако и это было жаль, ведь за что тут жалеть себя? Жаль даже от себя скрывал свои таланты.

Девушка поразились харизматичным речам Жалю и позволила пригласить себя на свидание. Жаль был на седьмом небе от радости. Только дома он вспомнил, что забыл пожалеть себя... и решил перестать это делать! Ведь на свете столько хорошего, столько прелестных девушек в цветастых платьях, которые могли бы пойти с ним на свидание, пока он жалеет себя!

Утром он открывал окно и радовался жизни, радовался, что дети радуются в саду под окном. Он готовил вкусный, а не скучный завтрак и, не печалась, оставлял посуду невымытой. Он ни о чем не жалел. На крыльях любви (или свободы от жалости) он летел к девушке в цветочек, дарил ей цветы и влюбленные взгляды.

А девушку звали — Обижаль. И такая она была красивая, что не могла выносить, чтобы ее тонкие чувства были задеты. Хотя людям необязательно было говорить ей что-то грубое: она была самодостаточна и сама знала, когда ей обижаться. Вот сидит-сидит и вдруг чувствует — пора. Закатит глаза, вздохнет и обидится. Зато красивая.

И вот встречаются Жаль и Обижаль неделю, месяц. И все-то у них складно, без жалости и обид, только радость и веселье, цветы и конфеты. Жаль как цветок распустился, ходит сияющий на свидания и с ними. Доволен собой, ой как доволен!

Но начало Жалю казаться, что предает он себя, что надо уже переставать радоваться жизни, пора и честь знать. Он же Жаль как-никак. И пришло ему в голову, что, может, оно и хорошо — пожалеть себя? Обижаль его поддержит и поймет, пожалеет. Больше всего на свете Жаль любил, когда его жалели.

И вот сидят Жаль с Обижалью на лавке. Парк, золотая осень, красота! А Обижали, видно, тоже тяжело без прежних привычек стало — радовалась она, радовалась да и обиделась. Говорит, и то не это, и это не то. Не хочу, говорит, чтобы солнце светило, чтобы дети резвились, чтобы было тепло. Хочу дождь. Обиделась Обижаль и на Жалю: что ты, говорит, сидишь сбоку, неудобно мне смотреть на тебя, что у меня, говорит, глаза как у стрекозы? И говорит, говорит неприятности всякие, ведь она не только обижаться умела, но и обижать. И сидит ждет, что Жаль ее утешать начнет.

А Жаль и сам имел планы на этот вечер, ему тоже пожалеть себя надо. Да и не умел он жалеть других. Еще чего! Сидит он, не знает, что делать. Ну, думает, тогда буду жалеть себя. Вот я, думает, несчастный. Девушка моя красивая, а глупая и злая. Ну и что, что красивая? Главное, что глупая и злая. Главное, что есть за что пожалеть себя.

И жалость как бальзам по душе Жалю растеклась. Так ему хорошо стало, так жалостливо, так привычно. Взял он и ушел.

А Обижаль сидит, слезки глотает, тоже думает, какая несчастная она. И никто-то ее не пожалеет. И всем-то только обидеть ее надо. И все-то садятся неудобно, сбоку, и глаза у нее как у стрекозы. А она же красивая. Ей нельзя как у стрекозы. И тоже ушла.

Путешественники

Николай Петрович путешествовал редко. Конечно, если считать загородные поездки, то он был путешественник бывалый, но вот за границу поехал первый раз.

— Ты там себе бабу найдешь! — говорила неугомонная Мария Николаевна. — Я тебе совсем не нужна! Тебе лишь бы уехать! А мне что, отдыхать не надо? С матерью твоей сидеть? С детьми?

Пришлось взять жену.

«Ну, хоть пива попою», — решил Николай Петрович и показал ей билеты в Баварию. Они собрали чемоданы, взяли себя в руки и поехали.

Дивная оказалась земля — Бавария! Спокойно, тихо, голоса на чужом языке что-то хрипят, шуршат. Улицы чистые. Дома будто ненастоящие, из пряников сделанные, как в сказке. И беззаботно тоже как в сказке, никто не смотрит угрюмо или подозрительно. Не то что на Руси.

Остановились они в маленьком отеле Вюрцбурга по совету знакомых. И в первый же вечер поругались.

— Что это за отель так далеко от центра? Теперь, что ли, пешком до центра тридцать километров идти? Или, может, на автобусе, за дополнительную плату? — негодовала жена.

Отель был совсем маленький: два этажа и пять номеров плюс ресторан, точнее столовая. Держала его семейная пара, пожилые интеллигенты. Еду для постояльцев готовили сами, с ними же и обедали, если завязывалась дружба.

На самом деле отель был километрах в трех от центра города, но Мария Николаевна не стремилась быть точной в своем неистовстве. Важно было, как она чувствовала себя в этой двухэтажной западне, далеко от центра, куда она, в общем-то, и не стремилась.

А Николай Петрович был в восторге, и это ей не очень нравилось. Он уходил куда-то радостный, приходил, напевая песенку, звал ее гулять. Она отказывалась. Тяжело ходить, старая она уже (сорок восемь лет — это вам не шутки), ей бы сесть на диван, включить телевизор — и чтобы не трогали. И хотя она делала все, что ей хотелось, то есть ничего, недовольство так и кипело в ней. Что там за другая жизнь за окном? Но смотреть сама она не хотела, а когда Николай Петрович ей рассказывал, она нахохливалась и молчала. Мол, вот ты можешь ходить везде, здоровяк (он был на десять лет старше жены и недавно перенес операцию на сердце), а я не могу, страдаю. А он говорил: ну и страдай, мое какое дело, я отдыхать приехал, пока. Хлоп дверью — и все, опять она весь день наедине с телевизором.

С хозяевами Мария Николаевна держалась холодно. Они считали, что она не в себе. Недопонимание еще больше усугублялось разной классовой и лингвистической принадлежностью: Мария Николаевна одевалась с рынка и почитала себя шикарной («для них сойдет») и наотрез отказывалась учить язык, даже базовые приветствия. При встрече с этими полноватыми, опрятными немцами недовольно молчала. В довершение всего немцы готовили очень вкусно, но признать это Марии Николаевне мешала ее крестьянская гордость.



«Мы из крестьян вышли, землю от зари до зари пахали, а вы тут колбаски жарите, интеллигенция», — говорила она себе и просила добавки.

Постояльцев она считала ворами и шпионами, так что с ними дружба тоже не сложилась. Да еще эти шпионы странно на нее посматривали (разговаривать с ней было бесполезно, оставалось только смотреть) и общались с хозяевами. Смеялись. Ну, точно, заговор.

Погода в Баварии была прекрасная: конец августа, солнце, воздух прозрачный, свежий. Николай Петрович приходил домой пахнувший улицей и пивом. На четвертый день Мария Николаевна согласилась выйти. Оделась многослойно и тяжело: не дай бог, продует. Ну, будь что будет. Выдохнула и вышла в свет.

В «свете» перед ней расстилась идеально ровная дорога, по которой шло больше людей, чем машин. Мамы с колясками, старики, дети. Беззаботные, сволочи, подумала Мария Николаевна.

— Маша, догоняй! — крикнул муж.

И этот туда же, неистовствовала Маша. Но пошла вслед.

Гулять оказалось, как назло, приятно. Даже не хотелось присесть и отдохнуть, и вся усталость, ломота в костях как-то сами собой забылись. И все же Маша не сдавалась.

— Я не могу идти так быстро, — говорила она периодически, однако продолжала бодро шагать.

— Ты не понимаешь, мне тяжело? — вздыхала она шумно, как будто взбиралась в гору, а не прогуливалась по площади.

— Я не могу задирать голову, — протестовала она, когда муж показывал ей на шпиль старинного дома.

Николай Петрович смеялся.

— Я больной человек! — сказала она наконец, на чем запас ее аргументов иссяк.

Они побродили по улицам. Зашли из приличия в музей. Поели в кафе чего-то баварского. Домой вернулись усталые и довольные. Даже поговорили с немцами-хозяевами на ломаном англо-немецко-русском.

— Ох, наверное, давление поднимется — столько гулять! — заметила Мария Николаевна для проформы.

Николай Петрович пропустил это мимо ушей. Легли спать, и никакое давление не поднималось.

На следующий день они поехали в пригород Вюрцбурга, потому что знакомая рекомендовала там Марии Николаевне магазин. Переборков выдуманную немочь, Мария Николаевна отправилась в путь. Муж шел рядом и тихонько насвистывал.

Магазины были для нее целая страсть. Она любила все скупать, прятать в шкаф и забывать об этом. Надеть снова было нечего, а значит, надо опять покупать. Тратила она, конечно, не свои деньги.

Подруга рассказала ей, что проездом была в этом дивном пригороде, где нашла чудо-кофточку, и еще сумку, и пальто. В общем, неопровержимые аргументы. И Мария Николаевна отправилась на охоту. Муж утешал себя тем, что вечером выпьет пива с шумными немцами.



За пару часов они обошли большую часть магазинов, точнее лавочек, в этой милой глуши. Цены там были невысокие, только вот и ассортимент небогат. «Чудо-кофточек» не наблюдалось и следа. Зато были пивные кружки и странная сувенирная утварь, которой не будешь пользоваться в здравом уме. Мария Николаевна начала разочаровываться, медленнее идти, вздыхать, капризничать. Николай Петрович уговаривал ее зайти еще в магазин, то ли хозяйственный, то ли стройматериалов, но она гордо осталась сидеть на лавочке снаружи.

В магазине пахло деревом и клеем. На витринах и стенах были выставлены перочинные и кухонные ножи, пилы большие и малогабаритные, сбоку стояли строительные леса, лежали свеженасаженные топоры, рубанки... Николай Петрович радовался как ребенок. Все ему было интересно. С хозяином они даже обсудили на жестово-немецком, как в стране обстоят дела с беженцами, посмеялись и сошлись на том, что уж мы-то правильно бы поступили, не то что это правительство.

Вышел Николай Петрович из магазина с косой. Мария Николаевна сначала опешила, потом испугалась, потом переключилась на самую для нее привычную реакцию — возмущение.

— Ты что купил, старый дурак? Как тебя можно отпускать одного в магазин? Зачем она тебе нужна? Как мы ее повезем, ты подумал? — кричала она на тихой улице.

— Да ты не понимаешь, Маша. Мы ее сыну дадим, пусть хоть что-то на даче делает. Я косил в детстве, и он пусть косит. Вырос, балбес, ничего не умеет и не хочет. Все ты! — И он погрозил ей косой.

Коса была замечательная, переливалась на солнце, а ручка сдержанно пахла лесом.

— Это инновационная коса, Маша, — объяснял Николай Петрович, заворачивая лезвие обратно в плотную бумагу. — Очень тонкий срез, лезвие первоклассное, будет косить как по маслу. И ручка, смотри, какая удобная и какая большая — это навсегда. — Он протянул ей косу, но жена брезгливо отвернулась. — А не будет этот балбес косить — я буду косить. Шикарная вещь. А то: «Газонокосилка, газонокосилка!» Вот вам газонокосилка! Нашу траву косить в самый раз.

Мария Николаевна шла пораженная, и оттого негодование ее было несильным.

— Мне стыдно с тобой ехать! — говорила она, когда они садились на поезд в город, а пассажиры их откровенно рассматривали, хотя скорее с любопытством, чем с испугом. — Вот приедем — я с тобой разведусь, старый алкаш. Пива нажрался — видно, оно и не выветривается теперь. Пивная башка покоя не дает. Купил косу. Идиот. На посмешище меня выставил. И деньги потратил, — бормотала она, пока муж терпеливо любовался видом.

За окном были поля, вдалеке небольшие озера. Спускался фиолетовый вечер. В поезде зажгли свет. Пассажиры — преимущественно немцы — быстро забыли про мужчину с косой. Чего только не увидишь в поездах: везут ежей, белок, пылесосы. Да у европейцев всегда есть дела поважнее, чем следить за кем-то еще.



Минут через пятнадцать они должны были быть в городе. На одной из остановок в вагон зашел юноша лет двадцати. Афганец, подумал Николай Петрович, видел я вас таких в газетных сводках про ИГИЛ*. Парень прошел до конца вагона, потом расстегнул куртку и достал... топор. Красивый такой, новенький топор. И заорал что-то на немецком, затем на каком-то другом языке и замахал топором. Женщины вскрикнули, заплакали дети. Афганец кинулся на кого-то из мужчин. Кого-то ранил. Дико завизжала женщина.

Мария Николаевна побледнела и вжалась в кресло. Как будто хотела спрятаться, но только вот спрятаться ей было сложно — все-таки пятьдесят второй размер. Николай Петрович тихо развернул косу.

— Эй, товарищ! — сказал он, подойдя сзади к террористу.

Парень повернулся — и получил в лоб косою. Аккуратненько так Николай Петрович примерился, чтобы рукояткой прямо между глаз. Афганец повалился на пол. Топор упал под ноги заплаканному мальчику лет восьми. Ребенок замороженно рассматривал оружие, худая немка-мать обнимала его дрожащими руками.

— Ну что же ты такой неловкий? — сказал Николай Петрович и добавочно ударил удивленного исламиста в висок.

Прицел у косы был замечательный. Парень обхватил голову.

— А ну-ка, убирайся отсюда! — повысил голос Николай Петрович и стал делать вид, что косит — прямо в ногах афганца.

Тот пытался испуганно отползти. Коса порезала ему ноги. Афганец что-то возмущенно орал, прямо как Мария Николаевна час назад.

Тут поезд остановился и в вагон ворвались полицейские. Говорили что-то грозное на немецком, грозили пистолетом. Пассажиры кричали хором. В следующий момент афганца застрелили. Снова заревели дети, а пассажиры, сохранившие дар речи, принялись объяснять полиции, что произошло.

Один из стражей порядка, видимо старший по званию, подошел к Николаю Петровичу, снова упаковывавшему косу, и сердечно пожал ему руку. Оглядел с любопытством, что-то сказал, вероятно слова благодарности.

До отеля Николай Петрович с Марией Николаевной добирались на автобусе. В автобусе потолок был ниже, чем в поезде, и Мария Николаевна помогала мужу удобно поставить косу. Ей даже было немного стыдно, только такого слова в ее лексиконе не существовало.

— Ну что, все еще хочешь со мной развестись? — поинтересовался Николай Петрович.

Жена молчала.

...Через день они уезжали. В аэропорту купили газету. «Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение на поезд в Баварии...» — писала передовица.

«Вот оно какое, Исламское государство», — подумал Николай Петрович, прикрылся газетой и уснул.

* Исламское государство (ИГ), ранее — Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) — экстремистская террористическая организация, запрещенная в России.



Сопроводительное письмо

Здравствуйте!

Меня зовут Александр, и меня крайне заинтересовала ваша вакансия помощника редактора. То есть как — крайне? Я в отчаянном, безработном положении, у меня дома только хлеб и какая-то крупа — другими словами, меня сейчас любая перспектива найти средства к существованию крайне интересует.

Не буду вас убеждать, что я подхожу для этой работы. Я подходил много лет назад, до того как женился, появились дети, до того как мы с женой впряглись в этот всеобщий жизненный конвейер. А сейчас я седею, говорю слишком много правды, иногда ухожу в запой. В оправдание могу сказать: дети мои выросли непутевыми — мне можно. Жена умерла.

Еще меня угораздило родиться писателем. Не Толстым, не Чеховым, а, понимаете, среднестатистическим писателишкой, который жизнь видит и конспектирует. Так мозг у меня устроен, я иначе не могу. Но ничего великого никогда не напишу, вы не бойтесь. Только глупости про глупых людей, таких же, как я.

Я много думал в юности, и это мне повредило. Думал я, например, что неплохо было бы сделать что-то прекрасное. Дурак. Больше таких иллюзий не питаю.

Из моих сильных сторон: хорошо и быстро формулирую мысли (не обязательно приятные), люблю мыть посуду и быстро ем. Пользуюсь компьютером. Из знаний языков: русский стандартный и русский матерный, могу давать частные уроки. Опыт публичных выступлений за гаражами. Регулярно тренирую свои и без того незаурядные ораторские способности в социально-политических дискуссиях с друзьями там же.

Выпиваю — да, потому что тяжело жить в России-матушке. Кроме этой, все вредные привычки остались в юности. По клубам не хожу (одна остроумная особа из подбора персонала поинтересовалась недавно — так вот вам сразу говорю, во избежание глупых вопросов сидящему, без пяти минут пожилому человеку). Не курю, но это не от силы воли, просто у меня рак. Врачи говорят, что жить от силы лет пять, только это не утешает. Есть-то нечего уже сейчас.

Из слабых сторон: пишу плохие рассказы, которые не читала даже моя жена. Из-за этого моего таланта она развестись со мной хотела, да не успела: ее сбил грузовик.

Помимо всего прочего, постоянно кашляю, однако не заразный. Не умею жить, не умею воспитывать детей, но кому и когда это было важно? Скверный характер и язык. Скоро умру. (Зато не успею попросить повышения зарплаты — согласитесь, плюс же?)

В целом же я не советовал бы брать меня на работу. Я вам все испорчу. У вас живой, энергичный журнал, а я слишком много прожил. У меня такой юмор, что меня не возьмут даже в «Шарли Эбдо». А сейчас еще и зима с ее ветрами и гололедом подливает масла в мой циничный огонь.

Впрочем, я неподвластен всяким осенним хандрам, про которые вы так удачно написали в ноябрьском выпуске. Я сам хандра, причем в лю-

бое время года. Хандра, печаль, боль, кашель — распространяйте сколько угодно это лексическое поле.

О да, в довершение всего я филолог. С печатным словом настолько на «ты», что мы уже совсем друг друга не стесняемся. Отсюда и моя лингвистическая дерзость.

О дипломах. МГУ имени Сами-Знаете-Кого, филологический. Принести не смогу — однажды пролил на него спирт и поджег. Вы не поверите, это вышло случайно. В СПбГУ изучал журналистику, не понравилось. Еще учился в Австрии, опять журналистика, диплом красивый, большой, храню. Немецкий почти забыл с того времени, извиняйте.

Год назад окончил курсы слесарного мастерства, если вам интересно. Дипломов там не дают, но это единственное ремесло, которое кормит меня по сей день.

Из увлечений: телевизор, гаражи, водка. И писательство, черт его дери.

По требованиям. Презентабельная внешность — сразу нет. Это было, однако давно и неправда. Про седину и запой я, кажется, уже говорил. Самый же большой вклад в мою непрезентабельность внесла химиотерапия. После нее я сам себя не узнал.

Далее по списку. Исполнительность — да. Что угодно сделаю, только платите. И не думайте, что я буду все пропивать. На данный момент я настолько голоден, что почти забыл, что я алкоголик.

Креативность не обещаю, ибо у меня она есть, но немного отрицательного свойства. Работа хоть в команде, хоть без команды — мне все равно. В остальном абсолютная грамотность, задорный слог, понимание целевой аудитории — все есть, хотя ваши формулировки мне и не нравятся, так как немного отдают рекламной пошлостью.

И последнее: мотивированность. Мне нечего есть — куда уж мотивированней, не находите? Если захочу, я все смогу, а я как раз мечтаю о мясе из ближайшего магазина, а следовательно, и на него заработать. Украсть же его мне мешает моя интеллигентность и охранник мрачного вида.

Что касается организационных моментов. К командировкам не готов, пусть ездят молодые и здоровые. Работать могу только с десяти: у меня режим. И еще: по утрам я злой и капризный. В холодное время года у меня ломит кости, в теплое — поднимается давление. Сквозняков и кондиционеров не терплю. Громких звуков тоже: у меня сосуды. Ем по часам (когда есть что), и никакие поручения меня не остановят.

Переработки — сразу нет. Ухожу в свое время и ни минутой позже. Может, даже раньше. Мне надо еще успеть выспаться: мне же осталось всего пять лет. Пусть перерабатывают молодые, им свое здоровье еще гробить и гробить. И хочу корпоративный транспорт. Хватит с меня в метро ездить с бомжами и сифилитиками.

Телефон есть в резюме, но вы мне звонить не торопитесь. Жду еще ответа из слесарной конторы. Надеюсь, возьмут.

Без уважения, но с желанием работать и есть,
неискренне и не ваш
Александр Негодный.

Анастасия АНДРЕЕВА

«В ТЕМНОМ НЕБЕ ОБЛАКО...»

* * *

поля цветут веселым вздорным сорняком,
перед грозой — навтыяжку деревья,
дорога, дальше — за живой оградой дом,
где варится вишневое варенье.
гигантский таз воздвигнут на огне,
кружит оса, прорвавшаяся с боем
на кухню. женщина, еще вполне,
еще в себе, за женскою простою
работой, дом и сад, гортензия в цвету,
а в животе живое чудо дышит,
и кажется, что годы не идут,
и ласточек гнездо под самой крышей

сентябрьский синдром

отыщешь камешек на берегу
тот самый
с дырочкой сквозной от бога
куриного
пока я листья жгу
и собираю
яблоки в дорогу
ты думаешь
что нам уже пора
я думаю

нам лучше здесь
остаться
повсюду будет черною
зола
и золотыми
солнечные зайцы
и зарево
просроченных минут
сочится
застывая в сонной лете
а лето кончилось
и там и тут
усиливается
попутный ветер

* * *

у домов родные лица
с отпечатками тоски
ночью море будет сниться
и пустынные пески
с белым солнцем из ванили
и пылающий баркас
мы на нем куда-то плыли
и придумывали нас

кто последний тот и вода
завтра елочка гори
на краю другого года
догораем изнутри

* * *

кто не спрятался, ни в чем не виноват,
так хотели быть однажды ближе к звездам,
собирали в космос доблестный отряд,
и поэтому домой вернулись поздно.

провоняли дымом, на ботинках грязь,
жгли костер на пустыре за гаражами,
не заметили, как осень занялась
всеми нашими небесными делами

* * *

в темном небе облако
молочное зависло
и не понимает
куда ему податься
в голове переставляешь
города как числа
чтобы снег случился
надо улыбаться
солнечные зайцы
спрятались до лета
где-то под подушкой
выкопав траншею
очень очень тихо
тикает комета
я, мой зайчик, к ночи
обо всем жалею

сказочку расскажет
ветер вьющий гнезда
в шелухе оконной
в солнечном сплетении
мы поедem в отпуск
до фонтанки слезной
где цветет снежинок
сонное растение



Анатолий БИМАЕВ

ЗАПРЕТКА

Р а с с к а з

Вчера Колин отец вернулся из командировки. И, как всегда, не с пустыми руками. Он привез видеокассеты с новыми фильмами. Там была вторая часть «Терминатора», все части «Рэмбо», «В осаде» и «Танго и Кэш». Обладая таким несметным сокровищем, Коля не собирался появляться на улице как минимум несколько лет.

Через стенку вдруг послышался стук. Это друг Васька, живший в соседней квартире, звал Колю во двор. И разве мог он противиться этому зову? Конечно же нет. Ведь условный стук был для мальчишек не просто сигналом, а тайным кличем о помощи, услышав который каждый из них должен был поспешить на выручку, если не хотел прослыть негодяем или девчонкой.

Три тихих удара и один громкий. Вот как звучал этот клич. Коля быстро оделся, взял любимую машинку — точную копию «Тойоты-Короны» в последнем кузове, у которой открывались не только двери, но капот и багажник, где даже лежала запаска, и вышел на улицу.

Васька уже ждал его у подъезда.

— Здорово, — сказал он, недовольный задержкой друга.

— Привет, — сказал Коля.

И тут же смутился своим детским приветствием. Ему никак не удалось научиться разговаривать по-взрослому. Сколько раз он зарекался говорить «привет» вместо «здорово», однако всегда забывал. А если не забывал, то все равно говорил по старинке. Заставить себя произнести это, как ему казалось, грубое, неблагозвучное слово было выше его сил.

— Поиграем в песочнице? — спросил Васька.

— Можно.

— Смотри, какой мне папа купил джип! Такой пройдет где захочешь.

Когда-нибудь у нас будет точно такой же, только настоящий. В миллион раз больше этого.

Машинка в руках Васи была огромной. Чуть ли не в четверть роста самого мальчика. Ядовито-оранжевая кабина, чем-то напоминавшая голову динозавра, компоновалась на мощных, с глубоким протектором шинах. Снова Коля почувствовал нечто вроде стыда. По сравнению с

Васиным монстром его машинка выглядела куда как скромнее. Да, у нее открывались двери и все такое, но разве это главное? Лучше бы она умела летать, тогда ей не понадобились бы большие колеса. Она смогла бы преодолеть любые лужи, ручьи и ямы. Ни один джип этого сделать не смог бы.

Словно угадав его мысли, Вася высокомерно взглянул на зажатую в руке Коли игрушку:

— На такой ты сегодня далеко не уедешь.

— Это еще почему? — обиделся Коля.

— Вон сколько песка! Его вчера привезли.

Песка, действительно, было много. Целая гора темного, еще не успевшего высохнуть на утреннем солнце счастья, завалившего песочницу вместе с бортами.

— Побежали, пока никто не занял! — бросил Вася, засеменяв ногами по зеленой траве.

Песочница располагалась за баскетбольной площадкой, посредине двора. Тень возвышавшихся вокруг пятиэтажек не закрывала ее. Поэтому играть приходилось на солнцепеке. Но детям было без разницы. Они представляли себя шейхами бесплодных пустынь, выбравшимися из своих тесных, раскаленных, как печь, мегаполисов погонять по желтым барханам.

— Я буду сегодня ездить как бедуины во второй части «Доспехов Бога», — воскликнул Вася, буквально вдавив машину в песок.

Он загудел, изображая работающий двигатель. Толкаемая его рукой игрушка катилась легко и надежно, оставляя после себя цепочку волнистых следов.

— «Доспехи Бога» — мой любимый фильм, — сказал Коля.

— Да? И сколько раз ты его посмотрел?

— Десять.

— Всего десять?

— Десять — на этой неделе.

— Ого! — сказал Вася. — Столько же, сколько и я.

Они бы ни за что не признались друг другу, ни под одной, самой изощренной из пыток, что во всем мире для них нет ничего важнее их дружбы.

— А помнишь, — восторженно сказал Коля, — как Джеки Чан дрался с бандитами в шахте с раздвижными магнитами и пропеллером?

— Помню, конечно.

— Классный момент.

— Мне больше нравится эпизод с копьями.

— Точно. И мне, — радостно сказал Коля. — У-гу-гу. У-гу-гу, — промывчал он, подражая героям любимого фильма.

Мальчики рассмеялись.

Они как раз закончили строить дороги в песочнице, когда вдалеке послышался нарастающий гул вертолета. Друзья подняли головы, напряженно всматриваясь в синее, без единого облачка небо. Звук нарастал. Казалось, вертолет летит прямо над ними, но видно его нигде не было.

Наверное, его закрывали дома. Как бы мальчишкам хотелось сейчас, чтобы у них отрасли десятиметровые ноги! Тогда они могли бы встать над всем городом и хорошенечко осмотреться.

Наконец Коля крикнул:

— Вон он! Я его вижу.

И действительно, над одним из пятиэтажных домов показался боевой вертолет. Почему-то он летел не с той стороны, откуда слышался звук. Чуть не задев телевизионные антенны на крыше, вертолет вырвался на открытую местность. Пузатое, громоздкое чудище — оно двигалось на удивление быстро и плавно, без какой-либо видимой трудности. Оно подминало под себя воздух, словно каток. В атмосфере чувствовалось огромное электрическое напряжение, как перед сильной грозой, рожденное схваткой между природой и стальным механизмом.

Побросав игрушки, мальчики бросились навстречу винтокрылой машине.

— Я вижу ракеты, смотри! — крикнул Коля.

Вертолет пролетел прямо над головами. Звук его лопастей, казалось, был осязаемым. Он вибрировал где-то в груди у мальчишек, отдаваясь в коленные чашечки. Вертолет был темно-зеленого цвета, но днище его покрасили в бледно-синий оттенок.

«Как у акулы, — подумал Коля, — чье пузо светлей тела и такое же, как морской песок под водой». Акул он видел в одном из выпусков передач Жак-Ива Кусто.

— Классно, — с быстро переходящим в грусть восторгом произнес он, когда вертолет скрылся из виду. — Вот бы посмотреть на него поближе.

— А я знаю, куда он улетел, — сказал Васька.

— Врешь!

— А вот и не вру! Мы уже ходили на прошлой неделе к аэродрому смотреть вертолеты.

— Кто это — мы?

— Саня, Витька и Серый из двадцатого дома.

При этих словах Коля почувствовал легкий укол ревности.

— Подумаешь, вертолеты, — произнес он как можно равнодушно. — Я на той неделе видел колонну танков.

— Танков? — заинтересовался Васька. — И куда они ехали?

— Сопровождали ракетное топливо.

— Так это были бэтээры, дубина.

— Ну бэтээры, какая разница?

— Большая, — ответил уничижительно Васька. — Бэтээры я и сам видел миллион раз. А танков здесь нет. Иначе я их тоже давно бы увидел.

На это Коле нечего было возразить. В их военном городке и вправду танков не наблюдалось. Или они были не на ходу, поэтому нигде не показывались. А вот что у них действительно было — так это дивизия ядерных ракет «Сатана». Папа однажды сказал, что ракет, стоящих под поселком, хватит, чтобы стереть с лица земли всю Америку. После этого

главным смыслом жизни Коля стало отыскать эти ракеты и хотя бы одним глазком на них посмотреть.

Прошлым летом они с пацанами уже предпринимали подобные поиски. Забредя далеко в поле, они отыскиали в траве непонятные железные полусферы, в самом деле напоминавшие люки ракетных шахт. Многие ребята тогда восторженно провозгласили, что «Сатана» найден и потому отныне нужно искать тягачи. Из их разряженных аккумуляторов добывался столь ценный в мальчишеской среде свинец. Из свинца выплавляли биты. Такие плоские, идеально круглые блины, предназначенные для игры в «златы».

Но сам Коля не верил, что они нашли «Сатану». Слишком это было бы просто. Нет, подобные вещи не находятся абы как. На их поиски тратятся многие годы, в течение которых ракетоискатели претерпевают всевозможные лишения и трудности, кто-нибудь из них обязательно умирает, кто-нибудь предает, а кто-то спасает девочку Свету из первого «Б» класса и потом на ней женится.

Он никому не сказал о своих сомнениях в подлинности найденных ими объектов. Однако с тех пор, выбираясь с пацанами за город, внимательно осматривал землю вокруг, надеясь наткнуться на шахты. За год таких странствий он отыскал: заваленное до самого входа мусором бомбоубежище, заветные тягачи с выпотрошенными до последней кнопки кабинами и один самый настоящий секретный штаб, обнесенный бетонным забором с колючей проволокой.

Да, последний год был богат на находки. Но удовлетворить Колю они не могли. Мысль найти «Сатану» не покидала его. И теперь он подумал, что никогда не искал у аэродрома. А ведь справедливо было предположить, что ракеты находятся именно там, под надежной защитой вертушек.

— Хочешь, я тебя проведу к вертолетам? — спросил Васька.

— Больно надо, — сказал Коля.

Он был обижен, что друг не позвал его на прошлую вылазку.

— Струсил, что ли?

— Ничего я не струсил!

— Да ладно, боишься — так и скажи.

— Не боюсь я твоих вертолетов.

— Тогда пошли!

— Ну пошли! — выпалил Коля. — Только нужно занести игрушки домой.

— Давай мне машинку.

— Зачем?

— Давай, говорю! — потребовал Васька. — У меня никого дома. А то тебя еще позовут на обед.

Этот довод показался Коле вполне справедливым. Его могли задержать родители, а откладывать поход не хотелось. Он протянул Ваське машинку. Через несколько минут тот вернулся на улицу.

— Пошли?

И они двинулись прочь со двора. Завернув за угол дома, они оказались на заброшенной стройке. Несколько лет назад здесь вовсю кипела работа: грузовики подвозили гравий с песком, стучали машины, забивавшие сваи, работали сварщики. Но потом оживление сошло на нет, так же неожиданно, как началось. И теперь стройка была излюбленным местом для ребятни. Запутанная система фундамента с многочисленными бетонными блоками и перегородками как нельзя лучше подходила для игр в войнушку. Вот и сейчас на стройке бегали пацаны с воздушными пистолетами. Если из такого прилетит по ноге — прижжет так, что вышибет слезы. Поэтому мальчишки вели себя осторожно, как в настоящем сражении. Лишний раз не высывались, а если шли в наступление, то непременно гуськом, то и дело прижимаясь к укрытиям.

Увидев Колю и Ваську, они замахали руками:

- Давайте сюда! Нам не хватает людей.
- Нет, не сегодня, — непреклонным тоном отозвался Васька.
- Эй, Колян, тащи свое ружье! Ты же у нас лучший снайпер.

Коля так и зарделся от гордости.

- Извините, пацаны, дела, — важно произнес он.
- А куда вы?
- Да так. Потом расскажем.
- Ладно-ладно, тихушники. Все равно узнаем.

Очень скоро мальчишки пролезли под забором, ограждавшим по периметру поселок. Здесь для них начиналась запретная территория. Родители не велели сюда выходить. Потому, идя вдоль автодороги, Коля чувствовал приятное, ни с чем не сравнимое возбуждение. Было страшно и легко одновременно, словно у него выросли крылья и он только-только научился с ними управляться. Он мог пойти куда вздумается. Перед ним расходились сотни путей, и каждый был манящим, будто мечта.

Они прошли знак с перечеркнутым названием города. Миновали железнодорожный переезд и направились в необозримое поле, заросшее высокой травой. Где-то там, сонные и молчаливые, убаюканные стрекотом насекомых, отдыхали от долгих полетов винтокрылые чудища.

- Вон они, вон! — воскликнул Васька.
- Где? Да где? — подпрыгивая на месте, вытягивал шею Коля.
- Да вон же, дубина.

Васька показал направление, куда нужно было смотреть. Вдали, действительно, виднелось несколько вертолетов. Они были величиной с божью коровку, на которую ты глядишь с высоты своего роста. На земле они выглядели неуклюже. Кого-то они Коле напоминали. Да это же ламантины! Смешные тупомордые создания, заплывшие жиром. Было что-то противоестественное в том, что такие грозные машины вобрали в себя черты столь безобидных и, по искреннему убеждению Коли, бесполезных для этого мира существ.

- Это другие, — словно услышав мысли товарища, произнес Васька. — Я их на прошлой неделе не видел.
- Смешные какие-то.

— Шутишь? Точно такой был в третьей части «Рэмбо».

— Правда?

— И еще в фильме о «Черной акуле».

Слова друга внушили Коле уважение к этим нелепым вертушкам, хотя названных фильмов он еще не смотрел. Теперь он хотел во что бы то ни стало увидеть «ламантинов» вблизи. Кто знает, может, их специально сделали безобидными, чтобы ввести врага в заблуждение? А на самом деле они страшнее атомной бомбы, страшнее десяти танков и взвода спецназа. Страшнее всех вместе взятых армий мира. Коля резво побежал в сторону аэродрома, хотя ноги его еще недавно были ватными от усталости, а перед глазами все плыло от жажды.

— Эй, не так быстро! — засмеялся товарищ, устремившись за ним.

Вскоре мальчишки выбрались на высохшую на солнце полевую дорогу. Дорога была в ухабах и колеях, крошившихся под ногами. Вдоль нее шел четкий след от огромных колес, буквально перепахавших землю. Вдалеке расстилась громадная лужа. Как она не испарилась? Дождя не было, наверное, неделю. Видать, в лучшие свои времена она была величиной с море!

— Попьем? — предложил Васька.

— Из лужи?!

— Ну да.

— Из лужи нельзя пить!

— Это еще почему?

Коля задумался. Он знал, что пить из лужи не следует, но почему — сказать затруднялся. В действительности ему чертовски хотелось бы ошибиться: день сегодня выдался очень жарким.

— Заболеешь, — сообразил он наконец.

— Вранье. При чем тут лужа?

— Лужа грязная.

— Нормальная она, — сказал Васька, зачерпнув ладонями воду и хлебнув. — Главное, не поднимать муть со дна.

Коля подошел к самой кромке воды. Поперек лужи шел радужный след от бензина. Отчетливо просматривалось дно, покрытое зеленоватой пленочкой мха. По луже бегали водомерки.

Сложив руки лодочкой, Коля опустил их в воду, сбоку от бензиновой радуги, и тоже попил.

— Ну как? — спросил Васька.

— Вкусно!

— Я же тебе говорил.

Коля зачерпнул воду еще несколько раз и, поднявшись, осмотрелся. Освежившись, он сразу заметил, что они находятся совсем рядом с аэродромом. Над высокой травой тускло блестела колючая проволока. Мальчик проследил взглядом, куда она уходила. Изгородь терялась далеко в летнем мареве, там, где на территорию базы сворачивала полевая дорога. За колючей проволокой виднелись холмы. Они закрывали обзор. Из-за одного из холмов выглядывало двухэтажное кирпичное здание с белой шиферной крышей.

«Командный штаб», — догадался Коля.

— Полезем через колючку? — спросил он товарища.

— Ага, — отозвался тот, вытирая руки о шорты. — По-другому к вертолетам не пробраться.

— А она не под током?

— Нет, мы проверяли.

Они двинулись к изгороди.

— Плевое дело, — говорил Васька. — Будешь лезть — не поднимай головы, чтобы не зацепиться, и все. И не вставай, пока я не скажу. Я держу проволоку, чтобы тебе было легче.

Васька пролез под колючкой первым.

— Теперь ты, — прошептал он.

Коля лег на землю и по-пластунски заработал руками. Мгновение спустя он стоял подле товарища. Улыбка сама собой растянулась на его лучащемся от счастья лице. Все это напоминало самую настоящую шпионскую вылазку. Из тех, что постоянно показывают в фильмах про войну. Сейчас они установят взрывчатку на вражеской технике, возьмут языка, угонят мотоцикл с люлькой и пулеметом и с боем вернуться к своим.

Друзья ползком взобрались на ближайший к ним холм. От восторга у них перехватило дыхание. Внизу, на заросших травой бетонных плитах, стояли вертушки. Штук десять, не меньше. Среди них была и та, что они видели утром. Были и совершенно диковинные экземпляры. Вытянув руку, Коля указал Ваське на длинную, с вереницей иллюминаторов вдоль черного борта махину. У нее имелось целых два несущих винта. Один спереди, над кабиной пилота, и второй в самом хвосте. Такие даже ни разу не показывали по телевизору, что вызвало у Коли еще больший восторг и благоговение. Ведь раз не показывали, значит, держали от врага в тайне. И вот они, обыкновенные пацаны из двадцать девятого дома, первыми увидели секретную технику.

— Подползем ближе?

— Давай.

Они спустились вниз. На аэродроме стояла мертвая тишина. Только трещали кузнечики. Совсем не было ощущения, что это место находится под охраной. Похоже, у военных даже не было мысли, что кто-нибудь может пробраться на базу. В конце концов мальчишки осмелели настолько, что принялись открыто ходить между рядами вертушек. Подходя к очередной машине, Коля деловито хлопал ее рукой по борту, словно проверяя прочность брони, заглядывал через стекло в кабину пилота, пытаясь угадать, какой рычажок за что отвечает, какой датчик показывает высоту, а какой — скорость.

— Открыто! — крикнул вдруг Васька.

Обернувшись, Коля увидел, как тот залезает в маленький, похожий на головастика вертолет. Он ринулся к другу, боясь пропустить что-нибудь интересное.

— Класс! — воскликнул Коля, замирая от восхищения.

— Давай в кабину! Полетаем.

Они уселись в мягкие кресла пилотов и принялись нажимать все кнопки подряд. Коля схватил штурвал, имитируя управление вертолетом. В де-

ревне у родственников он так целыми днями «ездил» на «москвиче» дяди Вани, даже не покидая пыльного, пропахшего куриным пометом гаража.

— База, база! — стараясь перекрычать условный шум винтов, орал Коля. — Это пятый. У нас пробит бензобак. Идем на посадку. Освободите нам место. Повторяю: освободите место!

— Вж-ж-ж, — шумел Васька, заложив опасный вираж.

— У нас проблемы с управлением. Мы падаем...

— Эй! — неожиданно раздался чей-то сердитый голос.

Мальчишки замерли. Со стороны кирпичного здания к ним со всех ног бежал военный в пилотке и темной форме.

— Валим! — выдохнул Коля, прыгая на землю.

Еще никогда в жизни он не бегал так быстро. Правее и чуть позади маячила коротконогая тень друга. Он не мог его догнать, хотя на физкультуре всегда финишировал первым.

Изгородь Коля попросту прошел насквозь. Так ему, во всяком случае, показалось. Он не помнил, как ее преодолел. Только оказавшись в открытом поле, он сбавил темп и оглянулся. Военный, пнув ногой колесо и заглянув в кабину, погрозил пацанам кулаком.

— Фу-ух, вот это пробежка! — вымолвил Коля.

Стоило ему перейти на шаг, как его оставили силы. Тут же заболела коленка, причем так сильно, что он захромал. Отчаянно закололо в боку. А правую руку, чуть выше локтя, неприятно саднило и жгло.

— У тебя кровь, — сказал Васька.

— Наверное, поцарапался о колючку.

— Здорово ты ее перемахнул. Я думал, запутаешься.

Они рассмеялись, вспоминая свое приключение.

— А если они погонятся за нами на вертолете? — спросил Коля.

— Пока заведут, мы будем уже дома.

— И все-таки? Что будет, если они нас догонят?

— Думаю, посадят в тюрьму.

— Лет на двадцать?

— Не меньше.

Коля присвистнул. Осознание тяжести совершенного преступления радовало. Он словно стал старше на несколько лет. Это тебе не в машинки играть, не в войнушку на стройке, пусть даже с пультками. Отныне это чувство всегда будет с ним.

— Порубим в «денди» сегодня? — спросил он товарища.

— Давай. У меня родители до завтра на смене.

— Я принесу «Черепашек-ниндзя».

Они снова пролезли под бетонным забором, ограждавшим поселок. Прошли мимо стройки.

— А вон и наши тихушники, — поприветствовали их ребята, теперь игравшие во дворе в прятки. — Вернулись со спецзадания?

— Здорово, пацаны! — крикнул Коля. — Мы вернулись!

Он и сам не заметил, как произнес запретное слово.

Стефания ЛЕМБЕРГ

МАТЬ МИЛЛИОНЕРА

Р а с с к а з

В палату номер триста двенадцать городской больницы посреди ночи по скорой доставили старушку лет восьмидесяти. Разбуженные ярким светом внезапно включенных ламп, обитательницы палаты молча взирали на возню новой пациентки. А та перебирала свои узелки, развешивала их содержимое на спинке кровати или хлопала дверцей хлипкой тумбочки.

Поступившая в отделение терапии старушка имела примечательный вид. Она была горбата, и ее округлый, но несимметричный, словно сбитый немного набок, горб сразу приковывал к себе взгляд. Седые волосы средней длины свисали на лицо, поэтому разобрать черты копошащейся в углу горбатой женщины жителям палаты удалось не сразу. Новенькая все время что-то бормотала вслух и в результате так и не дала разбуженным пациенткам снова заснуть.

Ранним утром, перед процедурами, в палате началось шевеление, и старушка опять оказалась в центре всеобщего внимания. Она сама принялась со всеми знакомиться. Ее утренний монолог звучал так:

— Здравствуйте, уважаемые! Меня зовут Аркадия Пантелеймоновна. Мой младший сын называет меня диджеем, потому что я могу говорить без остановки целые сутки. Это он так шутит. Прошу прощения, если помешала вам ночью спать. Я все понимаю, но не могу остановиться. У меня недавно умер муж, я сейчас расскажу, как его похоронила.

И старушка стала подробно перечислять все детали мужниных похорон, начиная с обивки гроба и цвета нового костюма из чистой шерсти, который она купила для покойного.

— Такие костюмы сейчас не найти, повсюду синтетика, но я постаралась... Он был одет как английский лорд. Я не пожалела денег ему на костюм, да и на всю церемонию, — тараторила Аркадия Пантелеймоновна. — Гроб изнутри был обит черным бархатом. Мой Паша лежал на черной бархатной подушке, а его новые туфли из натуральной кожи были начищены до блеска...

Женщины одна за другой стали исчезать в проеме дверей, спеша на завтрак, позвякивая кружками и ложками, и никак не реагировали на излияния Аркадии Пантелеймоновны. Но одна слушательница у нее все же нашлась: она не пошла в столовую, а под красочный бабушкин рассказ уплетала домашнюю ватрушку, вынув ее из больничного холодильника. Женщину звали Ирина.

— Мой муж Паша очень меня благодарил... во сне... и за костюм, и за дорогие проводы, — продолжала старушка. — Мы с ним поженились двадцать лет назад, когда умерла моя сестра Наталья. Он был таким одиноким после ее смерти, что я его пожалела и взяла его после сестры себе в мужья, а Сема, сынок, это от моего первого брака. Первый муж меня бросил с ребенком, а как мы с Пашей сошлись, родился второй сыночек — Гриша. Когда я ходила беременной, Гришка тоже мне снился, обнимал меня ручонками во сне, прижимался к груди и просил: «Роди меня, мама! Так хочется жить!» И я его родила. А сначала не хотела, нет, думала на аборт пойду: поздно уже детишек рожать. Но Гриша меня уговорил... — Тут старушка выдохнула воздух из легких, и на глазах ее показались слезы.

Ее слушательница доела ватрушку и с интересом разглядывала лицо старушки. Оно было морщинистым, но приятным.

— Так вот, мой Гриша, младшенький, поздний, сейчас бизнесмен. У него свой банк, какой не скажу. Он запретил мне рассказывать. Гриша с детства мечтал стать банкиром. Так прямо мне и говорил: вырасту, говорит, мама, и открою свой банк. Многим друзьям теперь помогает. Его все время просят: «Гриша, займи денег!» Он дает деньги друзьям под маленькие проценты, другие банки под такие проценты деньги не выдают.

— А с чем вы сюда попали? — вдруг спросила горбунью Ирина. — Что у вас болит?

— Много болячек, много, — ответила Аркадия Пантелеймоновна. — Приступы с желудком бывают... И вообще...

В палату постепенно вернулись, так же позвякивая ложками в пустых кружках, отзавтракавшие обитательницы. Аркадия Пантелеймоновна, казалось, получила от них дополнительный импульс энергии и продолжала:

— Гриша мой в деда пошел, — с гордостью подчеркнула она. — В отца моего, значит. Тот тоже, можно сказать, был бизнесмен, нэпман. Трижды его советская власть раскулачивала. Всю нашу семью сослали в Сибирь. Лишили всего. А он трижды с нуля поднимался. Такой вот был великий человек! И Гриша с нуля поднялся. В девяностые сначала на улице стоял в костюмах зверушек там разных, — знаете, наверно, — листовки с рекламой прохожим раздавал. За любую работу брался, чтоб денег скопить. У многих тогда все развалилось, а мой Гриша свой банк открыл. Какой не скажу: Гриша ругать меня будет. И квартиры начал скупать. У него сейчас квартир много: десять или одиннадцать. Я не помню точно.

— Бандит ваш Гриша, наверно, — перебил ее кто-то из женщин в палате. — В девяностые годы только бандиты на чужих костях поднимались!

— Нет-нет! — замотала головой старушка. — Я вырастила честного ребенка. Не бандит он! Работал много, вот и сумел банк свой открыть!

— Мы тоже много работали, — ответила ей Валентина, женщина с койки у окна. — Да детей кормить все равно было нечем, зарплату нам не платили.



— Не верите, и не надо! — замахала руками Аркадия Пантелеймоновна. — Я своего Гришу лучше знаю. Не мог он бандитом быть. Честный ребенок! Честный!

На какое-то время она примолкла. Но новый провокационный вопрос слышался с соседней койки:

— Если ваш сын банкир, как вы попали в эту больницу для нищих? Что же, ваш сын не может вас в частную клинику поместить? Или хотя бы сюда, но в платное отделение, в отдельную палату? Там ведь комфортнее.

— Что вы! Что вы! Я своих детей воспитала скромными людьми. Я сама не хотела в платную клинику! Я Грише сказала: везите сюда. Я и здесь полежу. Зачем лишние деньги тратить!

Соседки ухмыльнулись, но все же каждая из них дружелюбно назвала свое имя и познакомилась с горбатой соседкой.

После обхода врачей Аркадия Пантелеймоновна, устроившись на кровати, опять затараторила:

— А сама я работаю в церкви, свечи прихожанам продаю, иконки, записочки принимаю. И все свое церковное жалованье батюшке отдаю. У батюшки жалованье небольшое, а мне Гриша дает достаточно.

— Хороший у вас сынок, матери помогает, — вздохнули в палате.

Эти вздохи подстегнули Аркадию Пантелеймоновну. Она ударилась в новые рассуждения:

— Вот вы все жалуетесь, что плохо живете, денег вам не хватает. А почему вы сами-то до сих пор не миллионеры? — обратилась она к соседкам. — Вот мой сынок много работал и разбогател. Это же так просто! Если бы вы только захотели, вы тоже бы все стали миллионерами, но ведь вы не хотите!

После такого несправедливого упрека между пациентками разгорелся громкий спор.

— Что вы так кричите, женщины? — воскликнула постовая медсестра, вбегая в палату. — Вы же в больнице! Я думала, здесь кто-то умер!

— Мой сын с детства мечтал людей из огня спасать, потому и стал пожарным, а не миллионером! — доказывала Валентина с койки у окна, и ее светлые локоны, собранные на затылке в пучок, нервно подрагивали. — А ваш Гриша с детства мечтал деньги считать! Бедный ребенок!

— А моя дочка — дизайнер одежды, с детства мечтала делать людей красивыми. Сейчас в местном Доме мод работает, — вторила ей Татьяна с бинтом на руке после забора крови. Она лежала на койке справа. — Потому в банкирши-миллионерши и не пошла, хотя зарабатывает неплохо.

— А мы с мужем вообще альтруисты, всем знакомым просто так помогаем, проценты с друзей не берем и счастливы! — добавила Ирина с койки слева, макая бублик в кружку с чаем.

Спор бы, наверное, долго еще продолжался, но тут к Аркадии Пантелеймоновне подошла все та же медсестра.

— К вам там пришли, бабушка, — сказала она. — Просят вас спуститься вниз.

— Сынок мой, Гриша, пришел! — сообщила старушка, взволнованная словами соседок, и сползла с кровати на пол.

Четвертая женщина из палаты, Антонина, средних лет, не принимавшая участие в споре и лежавшая на самой высокой кровати у длинной стены, обратилась к ней:

— Аркадия Пантелеймоновна! А не мог бы ваш Гриша мне пачку сигарет купить, в долг? Мой муж третий день в рейсе, придет ко мне через несколько дней и деньги вам отдаст. Охота курить!

— Хорошо, я спрошу, — ответила старушка и, согнувшись под тяжестью своего горба, засемила из палаты.

За окнами больницы шумело лето, теплый летний ветерок шелестел листвою тополей прямо под окнами триста двенадцатой палаты. Многие пациенты гуляли во дворе с родными, пришедшими их навестить. Соседки Аркадии Пантелеймоновны обсыпали окно палаты в надежде увидеть старушку, гуляющую с сыном-миллионером. Всем было любопытно на него взглянуть. Аркадия Пантелеймоновна, действительно, шла медленным шагом под ручку с молодым человеком. Но его внешний вид разочаровал наблюдавших за этой парочкой женщин. Одет молодой человек был вполне заурядно: в коротких цветастых бермудах, в светлой футболке, в парусиновых тапочках.

— Разве так одеваются банкиры? — с недоумением спрашивали друг у друга рыженькая Татьяна и седенькая Валентина, обе поправляя очки.

— Сейчас по одежде и не разберешь, кто миллионер, а кто — нищий, — послышался ответ от любительницы покурить, длинной, как каланча, Антонины.

— И он даже без машины? Вот бы на машину его взглянуть! — не унималась Татьяна.

Аркадия Пантелеймоновна вернулась в палату в расстроенных чувствах. И опять громко забубнила, посвящая окружающих в подробности своей частной жизни:

— Старший мой, Сема, пока я в больнице, ко мне в квартиру залез, всю пенсию забрал и проиграл. Гриша ему денег больше не дает, так он теперь вором стал, ключ от моей квартиры у Гриши украл... — Старушка вся затряслась от расстройства. — Младший старшего жизни учит! Вот что значит разные отцы! А ведь я всю жизнь работала и Сему учила честно жить. А он работать не хочет, только на деньги играть. Зачем, говорит, мне работать, когда у брата денег полно, пусть помогает...

— А сигареты мне Гриша купил? — нехстати спросила нетерпеливая Антонина.

— Гриша вам передал, что он сам не курит и вам не советует! — отрезала Аркадия Пантелеймоновна. И замолчала до вечера.

Молча поужинала, легла, отвернулась к стене и, казалось, заснула.

Ночью ее рвало, и она то и дело шаркала старческими ногами до туалета и обратно к своей кровати.

А под утро соседки проснулись от громких всхлипываний старушки. Встревоженные женщины пытались понять, почему она плачет. Едва сдерживая рыдания, сквозь слезы, Аркадия Пантелеймоновна забормотала:

— Не нужна им мать, не нужна. Я им помеха, для бизнеса их! Смерти моей ждут! Квартира Гришке моя нужна! Мало ему квартир! Не знают, куда меня деть. Гришка мне сегодня сказал, что в дурку меня сначала отдаст — ненормальная я, лечить меня надо, много болтаю, — а потом в интернат... Квартиру мою уже делят, долги у него!

И она снова заплакала.

Ошарашенные таким поворотом дел соседки не знали, как утешить старушку, и молча разошлись по своим койкам. Она же продолжала причитать:

— Зачем меня только спасли! Я ведь укуса полгода назад вышла, сразу после смерти Пашеньки, желудок себе сожгла, но выжила! Зачем, Господи? Зачем?..

Утром в палату триста двенадцать вошли два высоченных санитаря и направились к койке Аркадии Пантелеймоновны. Они ее разбудили и дали команду собирать вещи. Трясущимися руками она увязывала узелки со своей одеждой. Санитары ее подгоняли. Вскоре низенькая горбатая старушка засемила между двумя высоченными мужиками к выходу.

— До свидания, девоньки, — сказала она на прощание и перекрестилась.

Соседки по палате долго не могли прийти в себя.

— Что деньги делают! — наконец выдохнула Татьяна, щурясь со сна и нащупывая очки в кармане выцветшего больничного халата. — Боже, какая жестокость!

— Бабушка, конечно, больна, и ей нужна помощь врачей, но пожизненный интернат ради отъема квартиры — это уж слишком! — промолвила Ирина, надкусывая пряник. — Слава богу, что мои сыновья — обычные работяги на заводе, такого с матерью не сотворят!

— А я сразу поняла, что ее богатый сынок — скупердяй! — отозвалась Антонина с кровати у дальней стенки. — Даже на пачку сигарет копеек своих в долг пожалел! С детства о богатстве мечтал!

— Да в этой семье деньги на первом месте! Слыхали, как бабуля дорогими похоронами мужа хвасталась? Гроб там, костюм как у английского лорда... А сыночков-то и проглядела! — проговорила с сожалением седая Валентина, подслеповато щурясь и выбираясь из-под одеяла.

— Деньги — зло, вот что я вам скажу, — сделала вывод Татьяна, хромая к умывальнику с мыльницей и полотенцем в руках.

— Не деньги — зло, а в человеке зло, — философски заключила Валентина, водрузив на нос очки.

— «Там царь Кощей над золотом чахнет...» — процитировала язвительная Антонина, запивая водой из кружки утреннюю таблетку.

— Девочки, — вдруг задумчиво произнесла Валентина, присев на своей кровати. — А что, если бабушка просто придумала, что ее сынок миллионер? Горько ей из-за того, кого она вырастила, вот и сочинила сказку о сыне-богаче...

— А он на самом деле, может, оболтус еще похлеще старшего брата! — подхватила Ирина, шурша пакетом с пряниками.

И женщины надолго замолчали, путаясь в смутных догадках.

Олег МОШНИКОВ

ОБОНЕЖСКОЕ ЧУДО

* * *

Закачались могилки родные
На песчаной, суглинной волне:
Беспечальные воды земные
Подмывают кресты по весне.

Укрепить — не лопатой, так верой!
На разбуженный гул под пятой
Откликается в сутеми серой —
Над осинником — вздох топяной,

Отзываются скальные ниши,
Неоглядные дали земли...
Журавлей пролетающих выше
Об усопших молитвы ушли.

* * *

Се человек —
Болотная кочка:
Вместо поддержки —
Ляжет на дно.

В шаге от берега
Выскочит, точно
Был он поодаль,
Страдал заодно...

* * *

А может быть, это и вам интересно? —
В узорах ковра и породы древесной,
Клеенки столовой, домашних обоев
Мне явственно видится что-то иное...

Из легких штрихов возникают фигуры:
Абстрактные формы и карикатуры,
Бутоны, соцветья и листья — по сути,
Молчат и стареют, как смертные люди.

Слабеют, пестрят, пузырятся узоры...
Вбирая все катышки, крапинки, поры,
Застынут кипящие дни человека
В дешевые штампы грядущего века:
Торцовые кривды, фасадные схемы,
Проплешины общекомандной системы...

Бывает, сквозь копоть сырую струится
Сокрытая роспись: старинные лица —
В сплетении трещин (с попыткой замазки),
Под слоем нелепой пупырчатой краски...
Оставить ли в тайне мой дар обретенный?

Но лик проступает на плашине темной...

* * *

Снег насупленный. Стылый апрель.
Предраассветная ниточка в небе
Прошивает седую кудель
Облаков...
И ложится на стебель,
На рассаду оконную — луч
Долгожданных карельских известий:
Показалась весна из-за туч! —

Распушившая веточки в Бресте,
Обрядившая в цвет абрикос,
Алычу — белопенно, желанно;
И лучится небес купорос
Сквозь зеленые рюмки каштана,



Тротуарами Минск заблистал,
Вспыхнул в Немане солнечный омут!

А Карелию ждут холода
На цветенье озябших черемух.

Вербная суббота

Прутики мои, прутики —
В чаще лесной путики,
Дар берегов Севера,
Мерзлого голого дерева...
Святы дела Божии! —
В банке с водой ожили,
Смерть преступив первую,
Став поутру — вербою...

Обонежское чудо

жене Марине

Кружится мир! — с Галилеем в расчете —
В бездну Вселенскую верует Рим...
В ночь набежавшую позвездочетим,
Рядом — на банных дровах — посидим:

Дача роднит с тишиною келейной
Дым и смородину, небо и твердь,
В мир — необъятный, душевный, семейный —
До бесконечности можно глядеть.

Темными чащами, млечным отливом
Тянется летних деньков бытие:
Нет уже времени быть несчастливым...
Вот оно, Господи, чудо твое!



Игорь КОЖУХОВ

ОХЛУПЕНЬ

Р а с с к а з

До Семена Фоминых, в народе Орлика, от всезнающей бабки Ани, веселой и неумной его соседки, дошло «по секрету», что его вечный друг Серега Вавулин захворал. Сам Семен был у друга позавчера, в среду, по серьезному делу.

— Мы морду с ним сплели, настоящую. Как черемуха зацветет, на озеро за карасем пойдем. Горло нарочно увеличили. Моя рука, — он показал бабке свою, размером почти с весло, ладонь, — проходит. Представь, какой туда карась налезет, и линь заодно, поди!

Бабка махнула рукой: мол, не знаю, кому верить, — но все равно побежала дальше рассказывать о болезни «совсем не старого» деда Вавулина.

Семен Фоминых, в свои семьдесят пять еще не согнутый годами, был высок и костист. Отучившись в юности в ФЗУ, до пенсии работал электриком в совхозе, протягивая по деревянным столбам людям свет. Теперь же, наслаждаясь пенсией и свободой, занимался всем подряд, чего душа пожелает...

Сначала он не придавал значения словам соседки, но, управившись и позавтракав, опять вспомнил о разговоре:

— Нет, схожу-ка проведаю... Все на душе спокойнее станет. Да и прогуляюсь.

Друг его Сергей — такой друг, что даже женились они, словно сговорившись, на подругах, — жил на другом конце длинной деревни. И только это, по наблюдению односельчан, разъединяло их: «А жили бы рядом, так в одной бы ограде и хозяйничали. Коммуной».

Сергей сидел по солнечной стороне забора на длинной лавке, в полбревна тесанной из целого осинового ствола. Молчал, смотрел куда-то выше дома вдаль. Семен, постояв с минуту, сел рядом. Теперь молчали уже вместе.

Первым не выдержал гость:

— Ты, я краем уха слышал, сильно захворал?

— Нет...

Семен растерянно крикнул.

Помолчали еще немного.

— То есть люди врут, что ты чуть живой? — Гость натянуто улыбнулся.

— Нет, — выпало из Сергея.

Семен крикнул снова, облизнул губы, как всегда, когда собирался говорить громко. Но, сдерживая раздражение, тихо попросил:

— Ну расскажи, что вдруг случилось... А то мне, можа, нового напарника искать — на рыбалку-то идти?

— Наверно, ищи... Ищи. Потому что приснился мне вчера сон, непонятный и страшный.

Фоминых, надув губы, облегченно выдохнул:

— Да мы же с тобой после работы выпили! Помнишь, нет? Само собой, с похмелья могло и причудиться чего. И что, поэтому теперь горевать?

Дед Сергей вскочил:

— Хоть верь, хоть не верь! Приснилась мне прабабка моя, которую никогда и не видел. Сидит простоволосая на моем крыльце, ноги босые, белые. И я точно знаю: она это, то есть прабабка моя, которой сто лет уже нет...

— Так и что? Давай помянем, и дело с концом.

— Ну, знаешь... Посидела, улыбаясь, и вдруг скрипит, как несмазанная телега, такие слова: «Собирайся сюда, сродственник далекий! Скоро брошенное в землю с первым криком победит построенное для жизни... И хватит уже тебе, если силы не достало...»

Семен, совсем не верящий в чудеса, все равно смотрел на друга с испугом:

— Не пойму, о чем ты. Или, точнее, о чем это она, прабабка твоя... Тьфу на вас обоих!

— А вон смотри. — И дед Сергей протянул руку назад, сам плавно за ней повернувшись. — Орех кедровый я в землю закопал, как сын родился, почти сорок годов назад, — и теперь кедр тот вровень с коньком крыши!

Дед Семен, тысячу раз видевший этот кедр и всегда радовавшийся, что он один такой красивый во всей деревне, сейчас осознал другову беду.

Этот кедр, посаженный как талисман на рождение сына, теперь вырос до конька Серегоино дома. И хотя дом был на высоком цокольном фундаменте, в пятнадцать рубленых в ласточкин хвост углами венцов и с далеко не низкой крышей, сильное дерево собиралось его перемахнуть!

Семен растерянно хмыкнул:

— Так, может, давай спилим? На дрова пустишь...

Дед Сергей с осуждением посмотрел на друга.

— Это на рождение сына сажено. И с ним вместе росло. И еще, может, лет сто расти будет — с ним, с Петром! Уж лучше я теперь... Сам такой узел затеял.

Тяжело повернувшись, он перешел двор и, громко топая, по привычке оббивая ноги от пыли, поднялся на высокое крыльцо.

Расстроенный разговором, словно с тяжестью за пазухой, дед Семен побрел домой.



Пришла суббота. По установленному давно — так давно, что уже и не помнили когда, — обычаю, в этот день вечером друзьям обязательно полагалась баня. Банные дни, словно семейные праздники, проходили попеременно в обоих домах. Сегодня хозяйничать по этому поводу предстояло Вавулиным, к заранее оговоренным восьми часам.

Но Семен пришлепал много раньше.

— Ты от меня лицо не вороти, — заметил он явно недовольному другу. — Дело есть по поводу твоей болезни. Лекарство, так сказать. — И без приглашения сел на лавку.

Сергей с явной неохотой, словно показывая: да ладно, уже решено, — все же сел, согнувшись и опершись локтями на колени.

Семен выдохнул и, стараясь говорить как можно убедительнее, а потому четко и неторопливо произнося слова, начал:

— Ты же знаешь, я в шестидесятые годы за границей служил... — Он настороженно посмотрел на улыбающегося друга. — И не щерься — за границей! Так вот, там над старыми домами, с такими тяжелыми черепичными крышами, почти всегда флюгера стояли: железяки в виде зверей, по-нашему. То кот, то аист, то петух... Говорили, что они даже по ветру крутились, какие не заржавели. Таких, правда, мало было... Но суть-то в том, что это же считается продолжением крыши! И если дом пониже других и, скажем, даже вроде неказистый на вид, так этот самый флигель все дело исправляет!

— Флюгер, — поправил машинально дед Сергей.

— Да какая разница, у нас-то этого сейчас нет! Но раньше, представь, было! Только называлось по-другому. Слышишь? — Семен восторженно вскочил и для большей убедительности жестикულიровал руками. — Мне это дед рассказывал. А ему — еще его дед... Бревно брали длинное, домиком вырубали — и это был конек крыши. А окончанию бревна, с полметра примерно, поначалу придавали форму зверя или птицы. Потом во вкус вошли — и стали отдельную скульптурку из дерева рубить и на конек садить аккуратно. И были там медведи, волки и даже головы конские, чуешь? Высотою — как тебе твоя сила и желание позволяют плюс чувство вкуса... А называться стала такая статуя ин-ди-ви-ду-аль-ная, — он еле проговорил длинное слово, закрыв глаза, — охлупень*. Оберег то есть!

Дед Сергей, уже заметно повеселевший к концу Семеновы речи, но словно не веря еще в удачу и желая, чтобы его сомнения скорее развеялись, спросил:

— И что будем делать?

— Да вот его и будем делать — охлупень, оберег! — Дед Семен твердо ударил кулаком в ладонь. — Завтра и начнем!

* Дед Семен немного путает. Охлупень — это само бревно, которое служило коньком крыши. Фигуру-оберег вырубали или крепили на его конце. Видимо, поэтому Семен посчитал, что она тоже называется охлупень. — Прим. автора.



* * *

С утра в столярке деда Сергея было шумно. Ведущий специалист по оберегам, коим оказался дед Семен, уверенно загибал пальцы левой руки:

— Во-первых, это не так-то просто. — Чтобы все почувствовали, насколько непросто, он, остановившись, обвел всех взглядом. — А во-вторых, не просто так... Оберег дается человеку для охраны и, понятное дело, в помощь. Но почему разные скульптуры, как думаете?

— А что думать, — влез в разговор зашедший как бы случайно ленивый и скандальный сосед деда Сергея — Василий Куличенок. — Если медведь — значит, здоровый, сильный и это... спать любит... и мед жрать...

В столярке все засмеялись:

— А если бобер, то грызть и плавать!

— А если олень — то что?..

Веселились долго, но дед Семен снова всех перекричал:

— Давайте сурьезнее, мужики! У человека проблема, а мы, как ребяташки, над пальцем смеемся...

Еще улыбаясь, все снова расселись по чурбакам — думать.

— Можно хоть закурить? Мне кажется, это поможет...

— Еще чего! Здесь опилки, пыль древесная... Дуй вон на улицу курить.

Куличенок сглотнул слюну желанья и остался сидеть, сгребая сапогом горочку опилок. При всем своем неуважении к работе, пронесенном через всю жизнь, он легко загорался от чего-нибудь неизведанного, нового. Но запала хватало ровно на столько времени, сколько проходило от идеи до дела. Потом Василий резко остывал и, немного поработав уже не языком, а руками, отваливал в сторону, найдя много причин в оправдание.

— А пойдете к Илье Ефимычу! Он же все эти дела знает наизусть. Посоветуемся — может, что подскажет?

Обрадованные старики гурьбой вывалили на улицу и, громко споря, потопали к дачнику Илье Ефимовичу, бывшему учителю истории.

Жена деда Сергея, бабка Ульяна, смотря на потянувшихся из столярки дедов, звонила по «сотуку» жене деда Семена:

— Пошли куда-то... Твой, как атаман, впереди и руками все машет, как сабелю в кинь! Или будто крыльями — как орел, за зайцем охотящийся. Недаром его Орликом кличут... Мой скромнее, но голову тоже задирает: чегой-то замыслил. Со стороны кажется, будто через высокий забор дорогу изучает. Куличенок и собутыльник его Резан, наверно, просто до кучи с ними, но головами тоже крутят. Ну, эти едва почувют, что надо что-нибудь делать, — вмиг слиняють, как цвет с рубахи после стирки...

Жена Семена отвечала:

— Вроде на озеро собирались... Правда, говорили, пойдут, как черемуха проснется, но может, чего проверить надумали. А вообще, пускай бегут — лишь бы вина не пили! Все какой-то задел в жизни...

Илья Ефимович вышел на крыльцо в теплой одежде и коротких валенках. Заметив недоуменные взгляды, стал оправдываться:

— Весна поздняя, у меня все тело ноет, суставы заломило, сил нет. Юношеская любовь к путешествиям теперь хондрозами огрызается... А вы ко мне каким ветром и по какому поводу?

Дед Семен долго и обстоятельно объяснял старому учителю суть дела. Куличенок тоже порывался высказаться, но его осаживали. Наконец проблема была изложена во всех деталях.

— Ну, если вкратце, то дело такое, друзья. Вообще, обереги и все, что с ними связано, отсылают нас во времена язычества... — начал Илья Ефимович.

Куличенок, показывая свою осведомленность, вставил реплику:

— Это как, еще до Бога?

— До крещения, хочешь сказать? Не только. Даже после крещения Руси христианская вера долго еще утверждалась, особенно на окраинах. Там поклонялись идолам: деревянным, каменным, глиняным. Молились им, приносили жертвы: всякую снедь, мясо, хлеб... Были идолы большие, для всех, а еще как бы личные, домашние — поменьше. А чтоб вообще всегда их с собой носить, делали обереги. Это такие маленькие деревянные или костяные куколочки, помогающие своему хозяину и охраняющие его.

— А конь на крыше?

— Конь на крыше — вернее, голова коня с одной стороны, хвост с другой и углы дома как ноги — это было придумано задолго до русского мужика, тысячи лет назад. Этот образ коня олицетворял Солнце, под защитой которого и находился дом со всеми, кто в нем жил.

Деды долго молчали. Первым не выдержал виновник суеты:

— Значит, это все противу Бога нашего главного — Христа?

— Получается, так. Церковь это не приветствует.

— Ну и ладно. Тогда и без оберега проживем. — Дед Сергей, крикнув, поднялся.

Тут Илье Ефимовичу, видно, пришла в голову новая мысль, и он заговорил увлеченно:

— А почему обязательно оберег? Почему не как элемент украшения, так сказать? Одно время такое часто практиковалось, особенно в богатых усадьбах, на домах у крепких хозяев...

— Ладно, что-нибудь решим.

Мужики, один за другим пройдя через узкую калитку, а за нею сбившись по двое, направились в разные стороны.

— Слышь, Серега, давай сделаем для красоты! Почему ты сразу сдался, прямо как пацан неопытный? Если получится у тебя, я тоже бабку уговорю — мы и нам что-нибудь сподобим! Давай?

Сергей остановился, улыбнулся другу и, рубанув рукой, согласился:

— Давай!

Черемуха хватилась цвести по всей деревне враз. Наметили установить коня на крышу в пятницу, чтобы в субботу, уже не откладывая, заняться рыбалкой. Сама статуя аккуратно и очень похоже была вырублена из полутораметрового куска тополя в обхват толщиной, спиленного по договору с лесником. Тополь слишком много пушил, и уставшие бороться с пухом хозяева обещали взамен его посадить пять березок.

Здоровенный чурбан катили по деревне всем народом и, не сумев захлестнуть его в столярку, поставили посреди ограды. Потом Сергей с Семеном, запретив всем, и даже Ваське Куличенку, вход в ограду, четыре дня тюкали топорами, негромко переговариваясь. На пятницу, в обед, был намечен подъем. Просмотр, само собой, с утра.

Посмотреть на статую собралось полдеревни. Виновники торжества с непривычки скромничали, зато Куличенок, одергивая за полы светлый пиджак и словно танцуя, рассказывал всем, что родилась эта идея, конечно, не без его участия.

Наконец ворота открыли, и народ восхищенно ахнул. На временной подставке стоял конь — вернее, голова коня на выгнутой шее. Словно бы шахматная фигура, но в сто раз больше. Рот в оскале, зубы в ряд, уши поджаты, и в глазах — бег. Красота!

Дед Семен скромно объяснял:

— Тополь, конечно, немного полопается на солнце, но с земли видно не будет. И по сухому можно олифой пройти или лачком каким, с цветом...

Поднимать тяжелое изделие взялись сын деда Сергея Петро с другом, приехавшие из города на машине с подъемной люлькой. Деревянную голову положили поперек люльки — и уже через десять минут конь крепко стоял на карнизе, нависающем над фронтоном. Пораженный народ, до того молча, с напряжением следивший за подъемом, разразился радостными криками и захопал. Деды растерялись и, как заведенные, повторяли, прижимая руки к груди:

— Спасибо, спасибо, спасибо!

Когда ажиотаж спал, голос подал Куличенок, прикрывая рукой глаза от солнца:

— Я при всех заявляю, что если дело пойдет... А оно пойдет! — Он поднял над головой указательный палец. — Я на очереди третий: само собой, после деда Семена. И мне не лошадь надо, а голову барана! Поскольку баран в древней мифологии — знак ума и твердости характера!

Последних слов его никто не услышал из-за рванувшего хохота.

И смеющийся дед Сергей, забыв, что еще неделю назад собирался умирать, тоже кричал в голос:

— Барана так барана! Сделаем!

Надежда КРАВЧЕНКО

ВОРОН ВОРОНУ...

Из цикла «Сказания о руде ирбинской»

Пролог

В те давние-давние времена, когда на вершинах Саянского Камня* великаны маралы рогами подпирали небо, однажды взвился ввысь, разрезая пронзительную синеву, красавец сапсан. Широко раскинув серповидные крылья, он по-хозяйски осматривал дикую и прекрасную землю безмятежного Хонгорая в поисках добычи. Там, внизу, спокойно и величаво нес серебряные воды смиренный Абакан и мудрый древний Кем, к мощной груди которого ненароком прильнула строптивая Убса.

Но вот один поворот, другой — и Убса отпрянула от старца, вильнула в сторону, как невеста, сбежавшая от богатого, но нелюбого жениха. И свободно устремилась в укромность Минусинской долины. Вольно разлилась среди скалистых отрогов, покрытых кедром, легко побежала через ковыльные степи и одарила светлой улыбкой бегущие навстречу ослепительно-белые березовые рощи.

И сразу на ее изумрудных берегах вспыхнули розовым облаком стаи сказочных фламинго, затрепетали белоснежными крыльями влюбленные пары лебедей. На шелковых травах распушили веером хвосты цвета меди спесивые дрофы. Обольщая своих избранниц, петухи-дрофы нетерпеливо раздували шеи, лихо запрокидывали головы и страстно закатывали глаза. Наконец, стремительно распахнув крылья, обнажали нежную белую опушку. Райские игры...

Зорко высматривал добычу царский сокол. Нет, не по силам ему такая крупная дичь. И он разворачивает к скалам, где ютится-прячется дичь помельче. Но тут со стороны гор за клубилась пыль на дороге, слышалось ржание лошадей, стоны женщин и детей. Появились оборванные всадники на изнуренных лошадях, тяжело спешили и повалились ниц в дорожную пыль, громко благодаря духов, что помогли им вернуться из джунгарского плена на родные берега.

Почтенный старец Кечемей, мудрый предводитель рода, повелел установить юрты, а сам с трудом поднялся на вершину небольшого холма

* Словарь малоизвестных русских и хакасских слов и выражений см. в конце текста.

у реки, огляделся по сторонам, потом, выбив на ладонь из трубки остатки табака, подкинул вверх едкие табачные крошки и просительно прохрипел: «Примите, духи гор и леса, нашу жертву. Хоораи просят вас о защите и милости».

Он спустился к юртам удрученный, ибо понимал, что слишком скудным было его жертвоприношение для благосклонности хозяев этих мест. И вдруг заметил в небе сапсана, возрадовался и тайно достал из-за пазухи сизого голубя. Быстро привязал к лапке птицы алую ленточку, поцеловал влажный клюв и подкинул птицу в воздух. Негодующим взглядом провожали его измученные голодом взрослые и дети: «Как так? Еду утаил. Или с брюхом старик не дружит?»

Молнией ринулся на жертвенного голубя сапсан, сбил его когтистыми лапами, на лету оторвал клювом голову, отбросил и понес трепещущее тельце в свое высокое гнездо. А на землю, рядом с худосочным парнишкой, упала в траву окровавленная головка сизаря. Не успел малой сцапать нечаянную милость небес, как на него ястребом налетел старец, резко выхватил добычу и бросил жертвенный кусок в темно-изумрудные воды реки.

И пал на колени перед народом-страдальцем седой Кечемей: «Да простят меня духи предков, и вы, сородичи, простите! Нет у нас сейчас достойной жертвы — ни быков, ни овец, ни коней. Остались одни клячи, без которых нам не выжить. А защитить род некому. Жестокие воины китайского генерала Цэбэнджаба убили нашего шамана и почти всех мужчин. Лишь двадцать луков осталось. И только мальчик голубок, утаенный от вас и принесенный в жертву, мог бы умиловить духов этой благословенной земли. Просите и вы, молитесь о возрождении рода. Пусть будет вечным хонгорайский народ и нескончаемым его скот!»

Вздохнул с облегчением старец и первым пополз до ближней березы, растущей на берегу. Прижался к стволу влажной от слез щекой, начал вязать синюю и белую ленточки и молить духа воды, обещая в первый же праздник жертвоприношения Суг тайыг воздать сполна: спустить по течению на плоту из девяти бревен более достойную жертву — годовалого бычка и трех черноголовых ягнят. Надрывно всхлипнул старик и поднялся с колен уже не рабом, а законным хозяином окрестных владений.

С тех пор укрепились енисейские кыргызы на побережье реки Убсы, дав начало роду тоба. Роду, чем-то схожему нравом с гордой непокорной рекой и кряжистыми кедрами, что намертво вросли корнями в ее крутые скалистые берега...

Правая рука в жире, левая — в сале*

Это было в начале восемнадцатого века. Власть Джунгарского ханства ослабла, и набеги коварных врагов на лакомый Хонгорай ушли в прошлое. Отступились от этих земель и Монголия с Китаем, потому что

* Названия глав представляют собой хакасские и русские пословицы.



к этому времени над хоораями покровительственно распростер мощные крылья двуглавый орел самодержавной России.

В Хонгорае воцарился благословенный мир. Покойно текла полноводная Убса. В прозрачной воде теснилась-играла икрная рыба. По берегам, богатым сочными травами, бродили тучные стада коров, отары овец и табуны лошадей. В таежных предгорьях вдосыть кишела дичь. Хватало места и людям в щедрой долине, хотя улус от улуса стоял всего на расстоянии крика.

И все бы так, да не так. Ушла напасть от внешней хворобы, да не минула собственной утробы...

В одном улусе жил да властвовал наследственный князец Курага. Правителем он был жестоким, но не особо мудрым к своим зрелым годам. К тому же любил сладко и жирно поесть, вволю попить хмельной араки, мягко поспать. И желательно не одному.

Однажды князец, как всегда пополудни, сидел в юрте на мужской половине за низким расписным столиком, подогнув ноги в широких плисовых штанах, и шумно отхлебывал наваристый мясной бульон из фарфоровой чашки. Вскоре он ослабил шерстяной поясok розовой парчовой рубахи, и старшая жена угодливо поставила перед ним деревянное корытце с кусками запашистого отварного бараньего мяса. Сердце, печень, сычуг положила отдельно в большую глиняную тарелку.

Но князь даже не бросил на жену милостивого взгляда. Только рыгнул в знак удовольствия. Не радовала его больше увядшая красавица Абахай, хоть и нарядилась ради него в свое лучшее ситцевое платье и украсила когда-то милые мужнину сердцу ушки затейливыми кольцами медных сережек. Зазывно-печально позвякивали коралловые бусинки о полурублевые монетки, несмело напоминая о том, что вот уже двенадцать лун сменилось, а в юрте Абахай супружеская постель оставалась холодна.

Курага обглодал смачно первый шейный позвонок и по обычаю пробормотал под нос:

— Ты, вожак черной головы, самый младший из позвонков, защити в трудную минуту. Упаду — не покалечь. И от моровой прошу сберечь.

Затем спохватился, положил в глиняную чашку лакомые кусочки мяса, кровяной колбасы, нежного печенья из жареного ячменя и других яств. Почтительно подполз на коленях к очагу, низко поклонился и умильно попросил:

— О почтенная Мать-огонь! Кормлю тебя и почитаю тебя. Не оставляй дом мой и род мой в беде. Дай ему благоденствия в батырах. Благослови меня рождением сына, сильного и стремительного, как изюбр, храброго, как голодная росомаха, и мудрого, как его предок Кечемей.

И высypал жертву в огонь. Бросил в сторону первой жены недовольный взгляд: «Кобыла нежеробая! Тужилась, тужилась, а батыра мне так и не родила».

Вернулся к столу и алчно посмотрел на тарелку сметанной каши потхы, пахучей, нежной, с обильным коровьим маслом наверху. Потянулся было жирными руками к ней, но Абахай предупредительно протянула

мужу тряпицу. Супруг скривился на несвежую ветошь, свирепо глянул на жену заплывшими глазами и молча швырнул тряпку в сторону. Поняв, что оплошала, Абахай с виноватым видом подала ему другую. Курага — ни слова, ни полслова. Только жадно хлебал и мысленно честил старшую жену: «Ссохшийся бурдюк с желтыми костями! Ишь, вырядилась! Да толку-то! Чадящая головня! Ни света от тебя, ни тепла. Нетель пусто-брюхая! Только и сподобилась на девку, да и то на одну...»

И он покосился на дочь, что сидела на женской половине юрты. Шестнадцатилетняя Побырган внимательно наблюдала за отцом из-под пушистых ресниц, так похожих на крошечные беличьи хвостики. Карие глазенки на милом личике лукаво зыркали то на отца, то на мать. Следила, чтобы тот ненароком не обидел мать и не надсмехалась над ней юная соперница Айго. Кураге да не знать любимую доченьку? Потому-то в ее присутствии крепко держал на привязи свой брехливый язык.

«Вот лиса! — размышлял отец. — Наверняка запомнит, улучит момент и исподтишка отомстит. И все это с невинной улыбочкой. Не девка, а зловредный дух айна! Всем взяла, да все одно не батыр. Ну и какой я без наследника бег?»

Не удержался и с надеждой обласкал масляными глазками вторую, молодую жену. При этом сытно причмокнул, облизав мясистые губы, и восхитился про себя: «Булочка моя сладкая, пышная, так бы и съел! Прелестница Айго! Заря моя, лунный свет ночей, услада чресл моих!» И запил сладострастное волнение крепкой аракой.

А заря его сердца, услада дряхлеющих чресл сидела, капризно надув губки, и нежными пальчиками ковырялась в еде. Притворялась, что ее прямо-таки воротит от пресного сыра. Имела право. Ибо под серебристо-голубым подолом шелкового платья едва-едва, но уже наметился животик. И Айго пребывала в полной уверенности, что родит господину сына. Даже двух. Потому что сегодня утром ей попало яйцо с двумя желтками, и она воровато его съела. Теперь на правах беременной требует себе то кровяную колбасу, то пенки вареного молока и даже запретное для всех женщин мясо с лопатки.

Височные подвески на ней не медные, как у Абахай, а серебряные, с двуглавыми рублевиками и шелковыми кисточками. И каждая соединяется на груди фигурной и тоже серебряной цепочкой. Особый знак благосклонности повелителя.

Сыт и доволен Курага. Возблагодарил за пищу высшие силы, тяжело поднялся и вышел из юрты, оборотив щелки осоловелых глаз к ласковым солнечным лучам. Чего еще желать?

А как открыл глаза пошире, понял сразу — чего.

Красному гостю — красное место

И увидел князец, что по дороге в улус бредут двое нищих. Впереди чумазый оборвыш лет двенадцати с древним чатханом через плечо. За ним слепой старец, костлявая рука которого судорожно цеплялась за пле-



чо мальчика. Облаченный в запыленную, вытертую временем хламидку из лосиной шкуры, подпоясанную бечевкой, старец едва волочил худые ноги в дырявых сагирах.

— О, да это же хайджи, народный сказитель! Вот кто мне нужен! — воскликнул Курага, вдруг вспомнив, что слышал об одном знатном чайзане, у которого прижился прикормленный хайджи и на всю степь славит благодетеля в своих сказаниях. — Я — сиятельный Курага! Не какой-то там чайзан, а наследный бег. Мне и почет особый.

Повернулся, кликнул прислугу и приказал позвать сказителя в юрту. А сам занял хозяйское место.

Осторожно, с помощью мальчика переступил порог бродячий певец — высокий старик с грязными сивыми космами. Его впалые тусклые неподвижные глаза замерли на юной Айго. Та тихонько взвизгнула и прикрыла выпуклый животик ладошками, боясь глаза. Дочь Побырган во все глаза уставилась на слепого хайджи, даже рот забыла закрыть. Курага повел бровью, и покорная Абахай со вздохом приняла из рук оборвыша почерневший от времени чатхан. Бережно положила на сундук. Предложила омыть руки и пошла за кувшином.

Пригляделся князец, засомневался: «Поспешил я, однако. Больно дряхл старик. Поди, имени своего не помнит, не то что героические сказания. Стоит ли тратиться? Понятно, что старый человек — убыль в пище, а еще и голодранцы понабегут со всего улуса на дармовое угощение. Известное дело, имя гостя с желудками соседей повязано. Ну да делать нечего. Обычай предков! Прогонишь — мигом сплетня облетит степь: мол, скуп бег, не уважил хайджи, обидел почтенного старца».

Он повернул голову к очагу, закрыл на миг глаза, взмолился:

— Чалбах-тес, хозяйка очага, отвори меня от беды!

И перевел взгляд на подростка. У того на рожице изумление. Еще никогда не видал бродяжка такой огромной войлочной юрты, такого богатого убранства. На женской половине изящные буфетные полки, полнехонькие китайской фарфоровой посуды. На мужской половине широкая деревянная кровать, покрытая теплым собольим одеялом, с алым шелковым покрывалом и вышитыми пуховыми подушками. Над кроватью яркий узорчатый ковер и золотистый парчовый полог. А рядом кованые сундуки с байским добром.

«Да, да, — подстегивал удивление оборвыша Курага, — и скота у меня великое множество, и земли немерено. И клейменных моим перстнем рабов тьма. Кошма богата, да не для твоего брата, серая кость». И Курага стрельнул глазами в сторону мальчишки. Понятливая Абахай, брезгливо тыча пальцами в спину, выпроводила поводыря в юрту для слуг. Одышливо пыхтя, бег поднялся навстречу гостю и в знак особого уважения поприветствовал поднятыми вверх руками.

Елейно поинтересовался:

— Позвольте узнать ваше почтенное имя?

— Я Ойдан, народный сказитель горловым пением хай, — едва слышно произнес старец, точно корявый улусный осокорь прошелестел листьями.

«Ага! — прикинул в уме Курага. — Ойдан — мудрый, значит». И на всякий случай польстил:

— Называемое вами имя прославлено в народе.

Бег услужливо, под локоточек провел старика на почетное место и усадил на белую кошму по правую руку. Любезно продолжил:

— Благополучен ли был ваш путь и как ваше здоровье?

А сам с ехидцей подумал: «Поди-ка, народный любимец, ты досыта только из собачьих чашек хлебал да лизал черную сажу у чужих очагов? Вон как глаза запали, а ноздри от голода слиплись. Видать, не сегодня завтра где-нибудь в пути околеешь».

Хайджи, точно угадав его мысли, мягко улыбнулся:

— Спасибо. Больной крепок душой. А скрипучее дерево под ветром шатается, да не скоро валится.

У Кураги сердце захолонуло: «Слеп старик, а мысли читает! Знать, сам Эрликхан, правитель нижнего мира, ему помогает». Струхнул бег и еще угодливей пожелал прозорливцу:

— Да будет путь ваш бесконечным!

Старец слегка поклонился:

— Да будет очаг ваш вечным! Пусть приумножится скот вашей земли!

— Надолго ли, уважаемый хайджи, в наши места?

— В месте, где голодал, не оставался больше суток, а там, где сытно кормили, задерживался и на девять, — намекнул сказитель.

Князец все понял и преподнес гостю чашу с лучшими кусками отварной баранины. Старик жадно вцепился редкими желтыми зубами в духмяное мясо. Он с наслаждением высасывал нежный спинной мозг из позвонков, облизывал жир со скрюченных пальцев. Бег налил пиалу араки и вложил в руку слепца, сухонькую, костистую, похожую на куриную лапку.

Но сказитель, приняхавшись к кислому запаху молочной водки, отстранил пиалу и покачал головой:

— Лучше воду пить, чем араку. Пусть имеет человек ясный ум и долгий век! Не угостишь ли, достопочтенный Курага, айраном? Он для души и тела полезней.

Князец подал айран и осторожно спросил:

— Не порадуете ли вечером наш слух своим мастерством?

— Как пожелаете, высокородный господин. А сейчас позвольте прикорнуть где-нибудь.

Курага приказал слугам помыть старца и уложить отдыхать в юрте Абахай. А ей повелел исполнять все пожелания хайджи, иначе отведает гнева хозяйской плетки. Дочь и молодую жену он тоже отправил в свои юрты, потому что самому нестерпимо хотелось вздремнуть после сытного обеда. Свычка...

Путь нечестного сокрыт

Только собрался Курага возлечь на мягкую и такую желанную сейчас постель, как услышал у юрты топот копыт. Вспомнил, что кликнуть некого. Сам вышел навстречу новому нежданному гостю и оторопел: «Вот уж кого не ждал у своего порога, так это бодливого козла Адай! Уж лучше сразу на змею наступить, чем лишний раз встретиться с этим злыднем!»

Но тот, спрыгнув с коня, вдруг покорливо опустился в пыль у ног бега. И точно душистое масло пролилось на душу Кураге: «Сегодня истине удивительный день! Видать, особое благоволение верхних духов с небес свалилось на меня за почтительный прием дряхлого, грязного хайджи!»

И он гордо огляделся по сторонам: все ли улусцы видели, как спесивец Адай обметает черными бархатными обшлагами халата княжеские сапоги? И только после этого скрепя сердце пригласил бая в юрту испить чаю. Сам кликнул слугу, чтоб тот принес пресных лепешек и сладких мучных шариков поорсах.

Трясущейся рукой принимал бай пиалу китайского голубого фарфора, прятал глаза. Сопел и молча дул на горячий чай Курага. Видел: совсем спал с лица Адай. Скулы, точно скальный плитняк, обтянуты темной кожей. Под узкими, как лезвие кинжала, недобрыми глазами — черные сморщенные мешки горя. Бороденка совсем поседела.

«Да, — посожалел вдруг князец, — пролетело времечко. Как стриж небо крылом черкнул. А ведь каким Адай батыром был! Статный, с широкими, как степь, лопатками, крутые плечи — холмы Хонгорая, черные волосы расчесаны на пробор, заплетены толстой косой в девять прядей. Глаза как спелая черемуха. Взор зоркий, ястребиный. Вспыльчивый, как необъезженный жеребец».

Взгрустнул Курага, вспомнив, что с баем они когда-то в молодости закадычными дружками были, не разлей вода. А вот поссорились из-за чепухи. Вздумалось им в шутку мериться богатством: убранством юрт и количеством скота. Кичливому Адаю не достало двух десятков коней, чтобы восторжествовать над дружкой. Пали в тот год во время весенней оттепели его наиболее ослабевшие лошади. Снега в тех местах, возле улуса бая, покрылись особенно крепкой ледяной коркой, и кони не смогли тебеневать. Большой урон нанесла торопливая весна.

Над черной бедой посмеялся тогда Курага:

— С князем не соревнуйся, с бегом не спорь! Лбы подставляют только дурачки, привыкшие получать щелчки.

Сказанное слово разит, как стрела. Уязвленный Адай прошипел ему в лицо:

— У паршивой шубы вши злобные, у плохого человека язык злобный. На твое «дружеское» слово откликнусь эхом. Смех над чужой бедой — великий грех земной. Знать тебя больше не хочу!



Плюнул Кураге под ноги, вскочил на коня и ускакал в свой улус. И с тех пор стали они людьми, съевшими глаза одной коровы*. Один — задириха, другой — неспустиха!

«Сколько ж воды утекло с тех пор, как мы сидели за одним столом? — сумрачно размышлял светлейший бег, прихлебывая душистый чай из узорчатой пиалы. — Крепко же тебя, бай, припекло!» Его так и подмывало укорить, уколоть спесивца Адая, но держал язык в узде. Помнил, как опрометчивая невоздержанность в словах разрушила дружбу молодости. И молча слушал униженные просьбы Адая.

— Солнечный вождь, не возьмешь ли моего Начина на службу сборщиком налогов? Пора соколенку вручить серебряную нагайку власти. Почти зять он тебе еще по глухому сговору. Помнишь, мы заключили его на празднике первого айрана, когда дети еще были в поясице?

Морщится бег:

— Богат ты, бай, не менее меня. Родниться с тобой не в урон чести бега. — И все-таки не удержался, ужалил бывшего друга: — А вот сынок-то твой, по слухам, совсем непутевый. Говорят, безмозглый хохотун и беззаботный юнец. Да такой ленивый, что палкой побить дворовую собаку не встанет. А уж об отцовском добре вовсе не радеет. Ему бы только красоваться на гнедом скакуне перед красавицами улуса да гоняться за косулями по склонам гор. Горечь отца, вопли матери. Не так ли, достойный Адай?

Тот ерзнул на месте, чтобы поперечить было, но сцепил зубы, только холмы скул еще больше отвердели и потемнели. Потупил глаза, скрыв гневный высверк во взгляде.

— Норовистому коню нужна крепкая узда, — стал оправдывать сына Адай. — Женится — остепенится. А твоя Побырган — девушка разумная, хозяйственная, крошке со стола зря пропасть не даст. Золотая невестка будет, с твердым характером. Внутри юрты — женщина, на улицу выйдет — мужчина. Ручки мягкие, а узду держит крепко, в седле держится прочно. Куда направит строптивного коня, туда он и повернет. В такие ручки не страшно все добро байское со временем передать. Все сохранит, все приумножит!

Задумался Курага: «Верно, Побырган не чета другим вертихвосткам. Без девичьего вздора в расчетливой головке. Не поперечит воле отца, коли брак будет выгодным. Тут уж хоть за пса ее отдай — пойдет! И собакой будет лаять. Лишь бы пес тот охранял богатую войлочную юрту, а не берестяной чум». Слушая угодливые речи бая, князец размышлял и о том, что у этих льстивых слов, как у шелкового халата, есть потайная холщовая изнанка. Уж не дурная ли слава сына заботит Адая?

И все же снисходительно сквозь зубы процедил:

— Ну что ж! Отправляй Начина на службу. А там поглядим.

* По хакасским поверьям, если разделить между собой глаза одной коровы, то люди станут врагами.

Где клятва, там и преступление

В свисте степного ветра уловил Курага тихий шепот сплетни: байский сынок Начин совершил грязный проступок. Во время охоты промахнулся в косульку, которую по своей глупости спугнула девчонка-подросток Изире, что бродила по степи с корнекопалкой и рыла ею мучнисто-сладкие клубни кандыков. С досады байчонок сначала отстегал батрацкую замарашку нагайкой, а затем, разгорячившись, подмял под себя. Петухом отряхнулся и дальше поскакал, оставив в траве хнычущую в замурзанный подол соплюху. О содеянном озорник тут же забыл. Стряхнул память о нищенке, как засохшую грязь с копыт коня.

И смутно припомнил Курага, что дело-то совсем худо обернулось! Отец Изире, его батрак Адос, недостойный даже лизать жир бараньих кишок с байского стола, посмел требовать за бесчестье своей замухрышки наказания для насильника.

«Ишь ты, шершень кусачий! И не надейся на мою заступу!» — решил для себя Курага. Пока грех Начина тайным шепотком обсуждался в улусах, время шло. Забрюхатела Изире. И по степному закону ответ теперь держать виновнику перед улусом, которым управлял сам Курага-бег. Мать Изире с плачем заплела косички дочери в одну жиденюкую — в знак девичьего позора и родительского стыда. И в знак женского одиночества на остаток жизни. Кому нужна беднячка с нагулянным ребенком на руках?

А байский сынок жениться отказывается и клянется на клинке кинжала:

— Я не делал греха даже величиной с травинку. Я не совершал ошибки даже величиной с пылинку. Если я говорю неправду, то пусть моя красная душа обрежется красным вечером! Не я расщелкнул этот кедровый орешек.

Но не ветер же надул пузо соплюхе? К тому же случайный свидетель байскому проступку сыскался. Чабан, пасший табун лошадей у склона горы, издали видел, как Начин лупцевал плетью девчонку и рвал на ней тряпье. Да только и сам чабан побыстрее убрался от греха подале, и скот в другое место перегнал. Однако сказанное слово сильнее богатства. Не избежать Начину порки в двадцать пять горячих плетей и штрафа. Ибо таков закон степи, его на коне не объедешь. Недостойную для своего знатного рода добычу забил байский соколенок.

Но, как говорится, свое горе рождается от себя. Хоть и опозорил отцовские седины Адая сынок, а все же родная кровь. Наследник. Выручать надо. Штраф для бая не беда. Много у него в табуне коней. Не моргнув глазом отдаст любого из них в полном убранстве отцу девчонки. И новую овчинную шубу в придачу пожалует. А вот прилюдно пороть байчонок — такого посрамления роду бай снести не сможет.



Змея кружится вокруг теплого места

И тут Адай решил. Ближе придвинулся к Кураге и, словно незначай, опустил ему в карман увесистый кошель монет. Курага же сделал вид, что не чувствует, как приятно оттянуло карман халата. А гость следом преподнес с поклоном еще дорогой подарок — поясной нож, стальной, в искусной узорной отделке из свинца и серебра. А чтобы бег по достоинству оценил подношение, на глазах князца резко согнул лезвие, и — удивительное дело! — гибкий клинок не сломался, а, невредимый, звонко, как тетива лука, распрявился. Курага восхищенно цокнул языком и подумал: «Что ни говори — подарок, достойный мужчины!»

— Откуда, почтенный Адай, такой нож у тебя? Редкой работы вещь! Отменное железо!

Адай оживился — сумел-таки угодить бегу. С нарочитой небрежностью сронил:

— Да так, у одного кочевого кузнеца по случаю прикупил. Сказывал он, что за рекой Ирба есть удивительная гора. Вся целиком из железа! Издавна хонгораи у ручья Железного роют ямки в земле да руду выкапывают. Железо пожогами выплавляют.

Бег тут же прикинул в уме: «Немалые выгоды сулит подарочек. Надо бы на ирбинских подданных ясак наложить не мягкой рухлядью, а железом. Железо в цене дороже собольих и белчих шкурок. — И покопился на зачатого дружка: — Интересно, зачем это Адай проболтался о прибыльном дельце? Скаредней бая в степи трудно сыскать. Хитрый лис! Намеренно распустил свой язык. Как возле норки сурка кружит. Петли вяжет, силки расставляет... Ну-ну, охотничек, смелее!»

А бай между тем дальше вкрадчиво плетет паутину словес:

— Негоже старым приятелям держать сердце друг на друга. Не пора ли в знак примирения породниться? Поставить новую юрту молодым да наделить множеством скота. Тут и раздору пустому конец.

От человеческого языка, говорят, даже камень может расколоться. Задумался Курага: «И впрямь, с чего бы им, двум богатеям, продолжать враждовать? Богаче жениха для Побырган все равно в здешних местах не найти. Начин и собой недурен — не противен будет. А то, что у парня ветер в голове гуляет, невелика беда. У моей хитромудрой лисоньки ума на двоих хватит. А нравом она и вовсе кремень! Живо приберет молодца к рукам».

Видя, как взгляд бега помягчел, Адай наконец ступил на самую тайную тропу разговора:

— Приехал я, сиятельный бег, горе мое с тобой разделить, о родственной помощи молить. Не дашь ли моему наглому батраку укорот, чтоб навета на моего сына не возводил? Не дело, когда презренные рабы осмеливаются, как паршивые псы, брехать и клыки вонзать в благородное тело бая. Скоро, на второй день месяца заготовки бересты, твой дерзкий батрак Адос призовет на улусный суд моего Начина. Не попусти испачкать грязной сплетней светлое имя будущего княжеского зятя! Не позволю



оскорбить его белого тела плетью! Власть бега грозная, тяжелая, но и благотворная, как солнце на небе.

«И в самом деле, — согласился в мыслях польщенный князец, — разнесут потом улусные сороки по округе, что Курага дочь, как какую-то плешивую овцу, выпихнул на руки никомушнику с поротой задницей. Надо, надо сохранить достоинство байского сынка. Будет тебе, Адай, щедрый отдарок за подношения».

Но вслух ничего не посулил, отделался поговоркой:

— Если вдвоем поднимать бревно, оно легче вдвое. Да будут благосклонны к нам верхние духи, и с этой напастью справимся.

С тем и проводил из юрты озабоченного Адая. А сам велел тайно призвать к себе палача улусного суда — Чухула. С полунамека тот понимал волю бега: то его плеть насмерть хлестала, срывая окровавленные лоскуты кожи со спины, то вдруг становилась шелковой — не секла, а нежно гладила спинку провинившегося. Это смотря по размерам мзды, часть которой за догадливость бег жаловал приближенному батыру. И чем больше плата, тем нерушимей каменное молчание палача. Никакая арака не развяжет язык преданному служивому.

Вот и сейчас Курага на ухо шепнул Чухулу приказ и отсыпал в протянутые ладони половину серебряных монет из пожертвованного Адаем кошелья. Низко поклонившись, Чухул тенью выскользнул из юрты, а Курага наконец возлег на шелковое покрывало пышного ложа и, довольный собой, захрапел до вечера.

Неволя птицу песням учит

Безмятежно спал князец, а над улусом уже плыли, дразнили ноздри ароматные запахи. Готовились вкусные сырцы с толченой черемухой и коровьим маслом. Булькал в больших казанах жирный бульон, приправленный диким чесноком. Казалось, что вечерний ветерок и степные травы пропитались запахом вареной баранины. А невидимые горные и лесные духи уже собрались у костров и вовсю сытятся, вдыхая в себя запашистые дымы. Сегодня все голодные рты улуса наполнятся мясом, а слух — звонном чатхана. И пусть черные людишки разнесут по всей степи весть о щедрости князца.

Быстро прослышал народ о милости Кураги и его госте-сказителе, мигом собрался у юрты Абахай. Готов и хайджи. Малец-оборванец трижды обвел его вокруг изголовья чатхана с чашей айрана, и тот окропил брызгами священные девять струн. А затем слепец, пригубив чашу и сипло покашливая, стал цепенять своими куриными лапками струны, настраивая инструмент на зачин. В нетерпении дух — хозяин чатхана — щелкал по струнам, будто просил певца быстрее начать сказание и показать свое мастерство.

А вот и сам бег. Заспанный и подкрепленный аракой, Курага важно плюхнулся напротив старца и разрешил впустить «серую кость». Но, видя, каким жалким выглядит дряхлый хайджи на почетной белой кошме,

бег снова засомневался: «Не опозориться бы! Как перекасти-поле, понесется по улусам весть, что глупый бег пригласил никудышного певца! Что могут сыграть эти негнущиеся пальцы-царапки? Что может спеть этот сиплый голос?»

Однако он пересилил себя и вежливо напутствовал сказителя:

— Да будет сказание ваше наполнено битвами и богатырскими подвигами!

И — о чудо! — благосклонность духов преобразила старца. Пальцы его приобрели гибкость змеи и легко заскользили по волосяным струнам. Голос вдруг окреп, и мощный горловой хай заполнил пространство юрты. Со всех сторон раздались восхищенные возгласы.

Курага облегченно вздохнул: «Правду говорят: к серебру ржавчина не пристаёт. Это настоящий мастер “конного скакания”!» Но то, что произошло дальше, заставило бега похолодеть.

Незрячие глаза певца раскаленными кинжалами вонзились в оплывшее лицо богатея, а голос сказителя грозовым раскатом покатился над головами слушателей:

Яйцо, снесенное ночью,
 Пусть станет птицей, порхающей в небе!
 Глава народа Ханза-бег
 Пусть станет демоном, ходящим ночью!

С гордостью повествовал певец о том, как, подобно вольному степному ветру, носился Ханза-бег с воинами по родной земле Хонгорая и разорял русские селения. Не покорился мятежный князь самодержавной власти русского Белого хана. И звучало это сказание в устах певца как упрек ему, бегу Кураге.

И сжалось сердце Кураги до ячменного зернышка и укатилось на самое доньшко пяток. Горько в мыслях ругал он себя: «О глупец! Что ж я заранее-то не узнал, что будет петь этот бродяга? Чтоб правитель подземного царства Эрликхан утащил этого хайджи в нижний мир и проколол ему язык раскаленными иглками!.. Кто ж не знает запрещенное сказание о бунтовщике Ханзе-беге? И впрямь, мудрость в голове, а не в бороде. Мало было мне, что сам енисейский воевода жаловал за усердие? Так нет, захотелось славы! А вдруг прознает воевода, что я от себя вносил сбор деньгами, а потом драл со своих подъясачных в двойном размере? Хорошо, если посмотрит на это сквозь пальцы. А ежели осерчает? А-а, скажет, щучья голова, мало того что ты ожадобел без меры, так еще крамолу в своем улусе разводишь!.. Нет, не для того я одним из первых бегов срезал косичку киджеге в знак принятия русского подданства, чтобы из-за слепого смутьяна враз все блага утратить!»

Однако растерялся бег, ведь старый обычай запрещает прерывать хайджи. Почувствовал себя князем бессильным сурком, попавшим в силок: «Не видать мне теперь жалованной именной сабли для усмирения непокорных и серебряной нагайки для наказания непослушных!»

Курага терпел и ерзал на белой кошме, как будто ему подсыпали раскаленных углей. Испуганно озирался по сторонам и в немом бешенстве видел, как во все глаза глядели паршивые улусцы в рот слепому подстрекателю. Горели их щеки, сверкали глаза, сжимались кулаки.

— У-у! Какой доблестный богатырь! — ликовали слушатели, а у бега вся требуха в брюхе слиплась в малюсенький комочек.

Но наконец-то сказание подошло к концу: Ханзу-бега отловили и повезли по реке казнить в русский город Томск.

Тюрьма, построенная казаками,
 Имеет крышу как у юрты.
 Русский город возвышается,
 Мои ребра раскалываются...

Жалобно стонет чатхан. Женщины закрыли руками лица и рыдают. Мужчины, потупившись, нахмурились и сетуют:

— Жалко, хороший богатырь был.

Бег дрожащим голосом вместе со всеми похвалил певца:

— Хорошо пел, красиво, слушать было приятно.

А как иначе? Народ верит, что у человека, который не похвалил сказителя, голова становится плешивой и дети тоже родятся плешивыми. А это бегу совсем ни к чему! Кисло улыбнулся князец слепцу, чтоб видели окружающие, а сам подумал: «Не нужен мне такой хайджи. Не сложит старый дурак в мою честь батырского сказания».

Соблюдая заветы предков, все-таки пригласил гостей к застолью. Скрепя сердце угостил сказителя почетным мясным блюдом — бараньей лопаткой. Щедрой рекой лилась арака. Пьян и весел был весь улус, только дряхлый, усталый хайджи держал пиалу с целебным айраном и молчал. Глаза его снова потускнели. Он медленно жевал мягкую овечью печень и напряженно вслушивался в хмельной говор, шум травы, хлопотливый шелест тополиных листьев под порывами ночного ветра. Ему смертельно хотелось спать.

Мрачен был и Курага. Маетно было ему. Всю ночь ворочался с боку на бок. Не радовала сердце и сладкая Айго.

Клыкастый зверь питается мясом

Утром Курага поднялся пасмурнее тучи, злился и мерил юрту тяжелыми шагами. Все прикидывал в уме, как бы это с соблюдением приличий избавиться от сказителя.

Вдруг на весь улус волчицей взвыла жена батрака Адоса: пропала их дочь, беременная Изире. Кинулся люд искать ее, гадая: «Поди, от стыда ударились в бега несчастная!» Тогда призвал бег верного батыра Чухула и громко, чтоб слышали все, повелел ему с десятью воинами всю округу обскатать, под каждое дерево заглянуть, каждый куст разворошить, но найти беглянку.

Молча, с непроницаемым лицом поклонился палач владыке и ускакал на поиски, а по возвращении с грязной ухмылкой доложил:

— Светлый вождь, легче у ящерицы пуп найти, чем отыскать эту негодницу. Должно быть, ее подружник где-то прячет.

А на третий день выбросила стремнина полноводной Убсы на перекат сильно распухшее пузатое тельце в синяках. Прибежал в богатую юрту батрак Адос, кинулся в ноги хозяину с воплями:

— Подлунный владыка, погубили мою бедную Изире бай Адай с сыном Начином! Их подлых рук это дело! Молю, прикажи наказать убийц!

Точно черные грозовые тучи надвинулись на лицо властелина, глаза полосанули табунщика молниями гнева. Ощерился Курага, склонился, ухватил работника за бороденку, изо всех сил дернул и прошипел:

— Негодный! Завяжи болтливый язык в тугой узел и больше не развязывай! Блудница не сама ли со стыда в реку бросилась? Мало ли как в стремнине тащило тело, о какие камни било и трепало. — И швырнул ему под ноги горсть меди: — На, похорони дочь да скажи бабе, чтоб чаще пересчитывала свой выводок щенят. Их у тебя полный чум — смотри, как бы еще кого не потерять. А поклепа на честных людей не возводи!

Съежился табунщик под грозным взглядом господина, тихо завыл, трясущимися руками подобрал рассыпанные монетки и, пятясь задом, выполз за порог.

Тем же вечером Курага зашел в юрту Абахай и почтительно обратился к хайджи:

— Простите, уважаемый Ойдан. Не до сказаний нам теперь. Страшное горе обрушилось на улус. Будем оплакивать несчастную девушку... А чтоб путь ваш не был труден, прошу принять от меня лошадь.

И одарил одышливой и перхающей на ходу клячей. С виду лошадь как лошадь, а на деле — шкура для подстилки, набитая навозом. Усадили воины старца с мальцом, вывели клячу под уздцы за улус и хлестко огрели по тощему заду. Та лениво взбрыкнула и затрусилась по дороге.

Пристально глядел им вслед князец, и точила его душу червоточинка беспокойства: «Лишь бы у лошаденки хватило сил подальше от улуса уквылять. Тогда уж ни одна сорока худого обо мне не растрещит. Наоборот, скажут: с почетом встретил уважаемого хайджи, с почетом и выпроводил...»

Не наступай на хвост лежащей змеи

Неделю спустя надумал Курага ехать в строящийся Абаканский острог к енисейскому воеводе — разведать, не донесла ли сорока худую весть до служивых людей. Мол, нарушил бег данную Белому хану присягу на верность, принимает у себя смутьянов-сказителей, мятеж готовит.

Пышно разодетый в парчу и соболя, со свитой из двадцати батыров прибыл сиятельный князец к устью реки Суды. Там сквозь легкий туман



нец в зоревом сиянии утра увидел на правом берегу Кема русский острог, что отделился от немирных земель глубоким рвом, оскалился клыкастыми надолбами, ошетинился высоченными стенами. Сник и заробел бег.

Но вдруг им навстречу гостеприимно перекинулся деревянный мост. За воротами обрисовался стройный шатер православной часовни. Точно пять юрт, поставленных друг на друга, высились бревенчатые крепостные башни. Едет Курага и дивится: только недавно крепость была заложена урусами, а уже избы-то, избы как грибы кучнятся, подле них амбары громоздятся, погреба глубоко в землю врылись.

А вот и терем! Двухъярусный, из огромных свежошкуренных лесин, с покатою тесовой крышей, с высоким резным крыльцом. А на крыльце уже ждет-поджидает именитого инородца и благосклонно лыбится в густую бороду дородный воевода Римский-Корсаков. Зовет князю в просторную избу.

Курага поклонился и улестил служивого связкой мягкой рухляди. Погладил воевода искристый мех черных соболей, остался доволен. Вежливо пригласил к застолью:

— Не побрезгуй, друже, нашими убогими яствами. Спробуй-ка, князь, русский харч. Вон тебе севрюжья ботвинья, и капуста квашеная, и рябчики в сметане.

А на лавке под иконами уже сидел русоголовый, с длинными обвислыми усами, развеселый мужичок в серой холщовой рубахе навывпуск и бурых льняных штанах. Сразу видно, лапотник! Менжуется князец: лестно Кураге сиживать с самим воеводой, да не по чину ему потчеваться за одним столом с низкородным русским.

Воевода, заметив его замешательство, ухмыльнулся в окладистую бородищу, панибратски хлопнул князю по плечу и гулко забасил:

— Да ничаво! Эт не зазорно — сиживать за одним столом с моим давним знакомцем и тезкой Михайлой Коссевицем. Он дока, рудознатец и по кузнечному делу зело горазд. Так што почитай за честь. За такими, как он, Русь-матушка казной полнится. — И спросил сермяжного мужика: — Удоволен ли ты, дорогой гостюшка, застольем?

— Благодарствую, — куражится тот, в упор глядя на Курагу. — Я маловытен, с меня и хрена с редечкой довольно.

Хлебосольный Римский-Корсаков коротко хохотнул и воскликнул, как заздравную спел:

— А для знакомства сердешного давайте-ка, други, да под пельмешки по малому ковшику водочки хряпнем! И штоб она по душе, как барашек по лужочку, весело пробежа-а-алася!

И хряпнули. У Кураги глаза на лоб выкатились. А воевода с кузнецом перемигиваются: знай наших!

Лакомится князь незнакомой снедью и подвоха не чует. Воевода меж тем к кузнецу обернулся и тихоречиво этак медовым голоском:

— Эх, друже Михайла! Веселы привалы, хде казаки запеваы. А не разодолжишь ли песней душевной, штоб сердцу стало горячо?

Тот давай отнекиваться:

— Што ты, Михаил Игнатъевич, рад бы спел, да голос не смел.

Тогда воевода коварно прищурился на Курагу:

— А намедни я слыхивал, друже Михайла, што князь-то наш — знатный песельник. Шибко почитает сказителей. А повеждь-ка нам, князюшко, былину о Ханзе-беге!

Страх опоясал князца, пирог с зайчатиной поперек горла встал. Дых сперло, слова вымолвить не может. С перепугу судорожно вцепился в рукоятку поясного, даренного Адаем ножа. Блеснуло из богатых ножен стальное лезвие. А эти ничего, ржут, гляючи на Курагу, как жеребцы в стойле.

Наконец Римский-Корсаков умилосердился:

— Не пужайся, князь. Хошь и обдираешь ты свой народец как коза липку, а верю: предан ты русскому царю-батюшке.

— Ладно тебе пенять, воеводушка, чего не бывает? — вступился за знатного инородца Косевич.

— Верно, бывает. Бывает, и мужик вместо бабы рождает! — сердито рявкнул воевода. — Я не буду тебя, князюшко, как дитя малое, шпынять. Славь-ка ты бога своего нерусского, что я нынче такой веледушный. И все же впредь, князь, поопасайся якшаться со всяким сбродом. И боле такой промашки не делай! А то болтаться тебе, как вашему бунтарю Ханзе-бегу, на виселице.

Курага с ужасом втянул голову в плечи, словно пеньковая веревка уже ласково обвила его жирную шею.

— Дай-ка, князь, на ножичек глянуть, коим ты нас запороть было собрался, — попросил приметливый кузнец. Подивился: — Мастеровитаяковка, знатное железо. Откель такое?

Возрадовался бег, что разговор в другое русло потек, выболтал и о ручье Железном, и о горе из чистого железа. А кузнец хват вцепился клещом:

— Дозволь, князь, в Ирбе подселиться, руду добывать да железным скарбом торговать.

— Эт дело надо хорошенько обмыслить! — подливал Кураге водочку воевода.

Недолго колебался Курага: пусть выгодное дело из рук уплыло к кустарю-одиночке, а шкура все же дороже! Да и воевода взглядом давил. Душа русского — каменная скала, а душа кыргыза мягче печени. Но уступил с уговором, что треть доходов с продажи Михайла без лукавства ему отдавать будет — как плату за прожитье в его владениях. С тем и убрался князец восвосяи, радехонький, что легко отделался.

А вскорости дочь Побырган выдал за Начина. Адай поставил молодым новую юрту. Хотел Курага дать приданое скромное, но дочь приласкалась и, потупившись, напомнила ему об их прежнем соперничестве с баем, мол, будет повод Адаю похвастаться богатым калымом. И бег расщедрился на стадо коров и множество овец.

Молодуха быстро прибрала к мягким рученькам непутевого муженька и понукала им по своему разумению. На людях — покорная жена,

а в юрте — полная хозяйка. Доволен невесткой Адай: все приличия ею соблюдены и сыночек день и ночь крутится по хозяйству, как будто ему постель шиповником устлали.

В месяц желтого листа Айго, вторая жена Кураги, родила. Девчонка вышла некрасивая, хлибая. Роженица залилась слезами и в сердцах назвала ее Пада — лягушка. Злобно оттолкнула протянутый ей пискливый сверток. Абахай доложила Кураге, что молодая мать не дает метить лоб ребеночка молозивом и не желает прикладывать младенчика к грудям. Когда же Курага, хоть и был в гневе за такой приплод, пригрозил своей усладе плетеным кнутом, та не смирилась и только злорадная улыбочка змейкой скользнула по губам.

Князец с отчаяния стал часто гостевать в тех байских юртах, где молодухи славились особой плодовитостью на мальчиков. Приглядывал себе третью жену. А в остальном жизнь в Хонгорае текла как прежде, неизменно и спокойно, как река Убса, что несет изумрудные губы, никогда не изменяя своему руслу.

Эпилог

Долго ли, коротко, но однажды мимо войлочных юрт и берестяных чумов удивленных инородцев, по краю глухого лога да по охотничьей таежной тропе, под охраной сорока солдат, гремя кандалами, пробрела в Ирбинское ущелье первая партия каторжников. Туда, где никогда не селились кыргызы, потому как место это считали нечистым, гиблым. Здесь, у подножия Железной горы, тяжелая болотная вонь задурманивала головы охотникам, что забредали сюда в погоне за непуганой дичью и потом пропадали в топи. А в укромных скальных пещерках злобные духи крали беззащитные сонные души ночевщиков. Птицы сюда не летели, змеи скользили прочь в потаенные таежные впадинки, даже клюква и та не росла на ржавых кочках.

Сюда и гнали солдаты первых двести каторжан. Убивцы-варнаки, беглые монахи-расстриги, лихоимцы и должники, бывшие рекруты, намеренно калечившие руки, крепостные, попавшие в немилость к помещику, — все они по царскому указу отправлялись в Сибирь на вечную каторгу.

Полуденное знойное солнце беспощадно палило понурые макушки, едучий пот заливал слезящиеся глаза, кровососущий гнус роился тучами, забивая рот и нос, разъедавая до неузнаваемости измученные лица. Шли где толпой, где вразброд, раскачиваясь из стороны в сторону, и хрипло, протяжно выли-стонали, выворачивая наизнанку души таких же недавних крепостных — подневольных солдатиков:

Нагрелися цепи от знойных лучей
 И в тело впились змеями.
 И каплет на землю горячая кровь
 Из ран, растравленных цепями...

А по ночам из болот к таежной тропе приходили неупокоенные души утопленников и манили, манили колодников бесплотными руками в вязкую топь забвения и освобождения от страданий. Солдаты всю ночь крестились с перепугу, без толку палили в туманных воньких призраков и жгли спасительные костры. И чуть утро — гнали, гнали без роздыха дармовую силу строить плотину для будущего Ирбинского железодельного завода.

Так нечаянно черкнуло по истории острое лезвие стального ножа Кураги.

Позднее обнесли эти земли глухим забором со сторожевыми башнями и вышками. Казаки и местный замордованный люд стали рвать пупы и наживать килу на строительстве дороги до Курагина. Застонали под топорами вековые ели у отрогов Восточных Саян, натужно заскрипели подводы приписных крестьян, доверху груженные землей для плотины.

Здесь же, на болотных кочках, слегка присыпанных привезенной почвой, возникло селцо Малая Ирба — каторжанская околица Сибири. И поселились там по царской воле колоднички, злыдари клейменные, «рваные ноздри». А среди них гремела цепями «подлая чернь» — сообщники Емельки Пугачева. И были они для каторжан — народа буйного, лихого и без того к побегу и бунтарству склонного — как тлеющий пепел в ворохе соломы, готовый вспыхнуть в любой момент. Но это уже другая история...

СЛОВАРЬ

Айна — злобный дух среднего (земного) мира.

Айран — напиток, приготовленный из кислого молока.

Бег — глава рода.

Глухой сговор — уговор родителей еще не родившихся детей об их будущей женитьбе.

Джунгарский плен — массовый угон в 1703 году хонгорского населения в Джунгарию.

Кем — старинное название Енисея.

«Конное скакание» — особое исполнительское мастерство в горловом пении.

Маловытен — мало ем (от *выть* — еда).

Месяц желтого листа — с 17 августа по 15 сентября.

Месяц заготовки бересты — с 20 мая по 18 июня.

Моровая — моровая язва, или чума.

Сагыры — повседневная летняя обувь из продымленной сыромятной кожи.

Саянский Камень — Саянский хребет.

Тебеневать — копытить, доставать корм из-под снега.

Убса — так до прихода русских называлась река Туба, правый приток Енисея.

Хай — особый вид горлового пения.

Хонгорай (Хоорай) — по одной из версий, древнее имя Хакасии.

Чайзан — родовой староста.

Чатхан — струнный музыкальный инструмент.

Ясак — натуральный налог.

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

*На вопросы редакции журнала «Сибирские огни»
отвечает поэт Юрий Кублановский*

Поэт, эссеист, публицист и литературный критик Юрий Михайлович Кублановский родился 30 апреля 1947 г. в Рыбинске в семье провинциальных интеллигентов. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ в 1970 г. Работал экскурсоводом и научным сотрудником на Соловках, в Кирилло-Белозерском монастыре, в Муранове и других музеях.

В 1976 г. он обнародовал открытое письмо в поддержку А. И. Солженицына, после чего был лишен возможности работать по профессии и служил сторожем, дворником, истопником в храмах Москвы и Подмосковья. В 1982 г., после выхода за границу поэтического сборника, подготовленного к печати Иосифом Бродским, был вынужден эмигрировать. Через восемь лет первым из политических эмигрантов вернулся в Россию.

Заведовал отделом публицистики, а затем поэзии в журнале «Новый мир». Автор многих поэтических сборников, вышедших в США, Франции, России.

«...Поэзии Кублановского, — отмечал А. И. Солженицын, — свойственны упругость стиха, смелость метафор, живейшее ощущение русского языка, интимная сродненность с историей и неуходящее ощущение Бога над нами».

Высокую оценку поэзии Кублановского давал и другой нобелевский лауреат Иосиф Бродский: «Это поэт, способный говорить о государственной истории как лирик и о личном смятении тоном гражданина... Его техническая оснащенность изумительна...»

Кублановский — лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры за 2012 г., почетный гражданин города Рыбинска, отмечен многими литературными наградами, в том числе Литературной премией Александра Солженицына (2003), Новой Пушкинской премией (2006), Патриаршей премией имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (2015).

Живет в Москве и Поленове.

— **Юрий Михайлович, в юности вы были противником советской власти — и вот этой власти нет уже много лет. Лучше ли стало лично вам и стране?**

— Противником советской власти я был не только в молодости, и в этом нет ничего удивительного: я христианин, а власть эта была агрессивно атеистическая. Боялись венчаться, крестить ребенка, отпевать родителей — все боялись, что на них настучат и начнутся служебные неприятности. Внутри самой Церкви — я это знаю не понаслышке — тоже все было проедено слезкой, стукачеством. Настоятели боялись старост, которые, как правило, были осведомителями. В общем, жуть. Каждый интеллигентный мужчина, если он был не пустопорожний глупец, жил под страхом: как бы не сболтнуть лишнего. Академик Шифаревич, например, рассказывал мне, что такой страх сопровождал его по жизни много десятилетий.

Я был человеком другого поколения, считал постыдным бояться, но вот в результате и остался тогда без Родины. Если б советская власть продолжала существовать, я и теперь бы мыкался на чужбине без родного языка, родных и друзей.

Страшный был дефицит книг, невозможно было приобрести Библию, стихи русских поэтов начала XX в., невозможно было публично вспоминать людоедские жертвы советской власти. И дефицит, дефицит всего. От еды до шмутья. Всюду очереди, очереди и очереди. Даже в Москве, а в провинции были и вообще совсем пустые прилавки... Неслучайно Александр Солженицын свой короткий нравственный манифест озаглавил «Жить не по лжи». Ложь была повсеместна: в преподавании, где навязывали нам марксистских классиков, в советской идеологии, в общении.

Конечно, под таким прессом иногда — нечасто! — крепили характеры, но чаще, наоборот, мужчины их теряли и жили с изматывающей мышкой страха в груди.

Я лично не мог ни печатать свои стихи, ни высказывать публично свое мироощущение.

С тех пор многое изменилось. Запад — да: деградирует на глазах и политически, и социально. Но у нас в России после десятилетий криминальной революции медленно, но верно многое идет на поправку. Я часто бываю в нашей провинции — с временами советской власти все-таки ее не сравнить. Открываются новые приходы, встречаются семейные пары с двумя и даже тремя детьми, в магазинах изобилие. Так что, если можно так выразиться, общее сальдо, пожалуй что, положительное.

— **У Владимира Алейникова вышло несколько книг о СМОГе, о том времени и людях. А вы не думали написать что-то подобное?**

— Книги Володи — апокриф, где многое сочинено талантливым автором... Да и любые мемуары, вспомним хотя бы «Петербургские ночи» Георгия Иванова, суть беллетристика, где реальность перемешана с вымыслом... Но вот уже лет тридцать я веду дневник — дневники правдивее. Кстати, три фрагмента были опубликованы в «Новом мире», имели теплые отзывы. Интересующиеся и теперь, очевидно, могут их найти в Интернете на сайте «Нового мира»...

Особенно раздражаюсь, когда в мемуарах и воспоминаниях на целые страницы идет прямая речь, то есть мемуарист якобы дословно помнит старые раз-

говору. Но ведь это явно авторская фантазия. Эпопея Марселя Пруста, как вы знаете, называется «В поисках утраченного времени», но это великая художественная литература. Но именно такими же «поисками» занимаются мемуаристы, не дотягивая при этом ни до художества, ни до документалистики.

— В одном из интервью вы сказали, что в 1990-е гг. появилось два новых настоящих поэта: Денис Новиков и Борис Рыжий. А в 2000-х и 2010-х таких поэтов не было и нет?

— Видимо, так. Да, оказывается, при советском режиме поэтически выживать было легче, чем в криминальную революцию. Оба вышеупомянутых поэта были ею расплющены. Талантливые лирики сегодня есть, но корни их — еще в 1970—1980-х гг. А вот совсем свежих и сильных стихотворцев, в чьих стихах бьется живое сердце, я, пожалуй что, не встречал. Я не могу понять содержания их поэзии. Как вода, оно утекает между пальцами.

И не знаю уж, почему так вышло: мы тоже и гуляли, и пили, да вдобавок еще и не могли публиковаться, но мы держались. Может быть, слишком ранняя слава и неумеренные похвалы не дали ни Рыжему, ни Новикову как следует закалиться, воспитать характер.

Впрочем, и в наше время все было не так уж гладко, вспомним раннюю смерть талантливейшего Леонида Губанова.

— Вы родились в Ярославской области, в Рыбинске, вы почетный гражданин этого города. А следите ли вы за литературной ситуацией, например, в том же Рыбинске, и вообще — интересует ли вас литературная ситуация в российской провинции?

— Очень интересует. И отовсюду я привожу несколько поэтических сборников тамошних поэтов. И читаю уже в Москве или по дороге в Москву...

Нередко встречается лирика, за которой стоит определенное дарование. Провинциальная поэзия простодушней, столичная, как правило, вычурней, но таких обжигающих строк, какие встречаются порой у Маши Ватутиной или Марины Кудимовой, я в глубинке у нас пока не встречал. В Питере живут такие литературные асы, как Стратановский и Кушнер, в глубинке такого уровня, конечно же, нет.

В целом же лирическое сердце бьется сейчас в узкой расщелине между эклектикой и авангардной конструкцией.

— Сегодня для издателей и премиальных жюри часто имеет значение не художественная ценность произведения, а принадлежность его автора к определенному мировоззрению — скажем, весьма условное деление на патриотов и либералов. Не происходит ли в этом случае подмена литературы политикой? И как это влияет на читателя?

— Вы совершенно правы, любая премия как минимум на половину определяется идеологическим закулисьем. И это не только у нас в России. Вы посмотрите, как головокружительно деградирует Нобелевская премия, вспомните ее лауреатов последних лет — и смех и грех. Конечно, премия помогает литератору выживать, жить намного лучше, чем он жил до нее, но это никоим образом не сказывается на мастерстве и силе творчества, пожалуй, наоборот.

Так что ни в коем случае не надо судить о поэте по количеству полученных им наград.

— Политике для определенных целей очень нужна литература, а вот для чего политика нужна литературе и нужна ли вообще?

— Политика и литература в России издревле повязаны в одно целое. Тот литератор, который вовсе не интересуется политическим наполнением жизни, очевидно, пустышка. У нас это, кажется, произошло вот почему. Россия не пережила того периода секуляризации, который на Западе отделил искусство от религии и политики. Поэтому русскому литератору было до всего дело. Литература совмещала в себе многие функции и делала это, как мы знаем, блестяще. И так от Ломоносова и Державина до уже Солженицына.

К сожалению, эта связка при советской власти исключила религию, но оставила политику неперменной составляющей соцреализма. Да и не только соцреализма, вот Пастернак написал поэмы «Лейтенант Шмидт», «Девятьсот пятый год» — совершенно советские по духу вещи. И все их приняли, включая эмиграцию, и все ими восхищались. А Пастернак благодаря им хоть и оставался немного на отшибе, но все равно входил в обойму советской поэзии.

Я порой просто не понимаю, чем руководствовались, кроме страха и выгоды, многие талантливейшие советские литераторы, когда писали свои освободительные, славословящие революцию вещи. Ведь это же, наверное, не была исключительно конъюнктура, очевидно, это совпадало с той «освободительной» жилкой, которую они переняли у своих родителей, либералов дореволюционных времен. Я не мог бы жить как ни в чем не бывало в стране, где расстреляли четырех девушек-царевен, наследника и его родителей, уж не говоря о последующих несметных жертвах. А вот многие жили, и ничего.

Впрочем, если в литературе у нас появлялись такие строки (кажется, переиначенные у Вольтера), как «кишкой последнего попа последнего царя удавим», то за все приходится платить потом по счетам!

— Считается, что Интернет и социальные сети уже почти убили книги и литературные журналы. Насколько, по вашему мнению, это соответствует истине? И какова дальнейшая судьба бумажных книг и журналов?

— При советской власти книга была драгоценный «штучный товар». Выходил Бахтин — все читали Бахтина, выходил Выготский — все читают Выготского, выходит «Разговор о Данте» — все читают Мандельштама. Теперь — море книг, такого выбора, такого спектра не было даже и в Серебряный век. Придите на любую книжную ярмарку — убедитесь. Я покидаю такие мероприятия, пошатываясь, под сильным культурным хмельком. И тем не менее все мы знаем, понимаем: книга вымывается из человеческой культуры, из интеллекта.

Интернет меняет сознание: протяженное, культурное, на клиповое. Прочитать, не отвлекаясь, объемный роман мало кому сегодня по силам. Эпопеи Музиля, Пруста, объемные романы старых классиков, историческая эпопея Солженицына «Красное колесо» — читать все это сегодня мало кому по силам. Тем более поэзия, поэзия требует вживания, многократного перечитывания — на это указал еще двадцать лет назад Солженицын, когда писал о моих стихах. Что будет дальше? Видимо, в этом смысле ничего обнадеживающего.

Та культура, которая нам дорога, которая уходит корнями в христианскую истину, будет ужиматься, как шагреневая кожа, уступая место тому, что можно считать паракультурой, не отвечающей душе человеческой, но только развлекаемости. Что же придет на смену?

Николай Бердяев писал, что уже через несколько месяцев после революции русские лица переменялись прямо-таки антропологически: вместо доверчивости и простодушия — цинизм и жестокость. Общество, которое еще недавно виделось как христианское, превращалось на глазах в живодерню.

Вот и теперь то, что приходит на место старой цивилизации, меняет людей даже внешне. И это, конечно, не только у нас, но и по всей Европе. Там этот процесс начался после сексуальной революции 1968 г., когда резко понизился уровень образования и была потеснена (и потеснена сильно!) мораль. У нас этот процесс, кажется, не зашел еще так далеко. Нет очередей на смену пола и прочее. Но все-таки мы втянуты в ту же воронку, а она не предусматривает ни тонкой лирики, ни толстых журналов. Уходит из мира красота, стойкость, историческая архитектура. А с ними и сопутствующая им культура.

— Власть непрерывно говорит о необходимости духовного единения страны, пытается делать проекты, направленные на создание идеологии, но, как правило, все силы новых идеологов брошены на киноиндустрию, и при этом совсем не обращается внимания на писателей. Как вы считаете, почему так происходит?

— Но это объяснимо легко. Патриотический блокбастер на военную или спортивную тему завораживает миллионы людей, а у книг сравнительно небольшая аудитория, и идеология может обходиться без серьезной литературы, а тем более без поэзии. Ведь поэзия, помимо прочего, требует, очевидно, едва ли не врожденного поэтического слуха, и таким слухом, кажется, обладает меньшее количество людей, чем слухом музыкальным.

Прошли те немножко сумасшедшие времена, когда «поэты-эстрадники», как их называла Ахматова, собирали стадионы и огромные залы. И, например, в обширной Коммунистической аудитории МГУ, где они тоже порой выступали и куда однажды Евтушенко привел только что возвращенного из ссылки Иосифа Бродского, Бродского слушать никто не стал, а Евтушенко сорвал овации: аудитория была натренирована уже на другое...

— Есть ли будущее у русской литературы, и каким вам видится это будущее?

— Любой ответ на этот вопрос будет пошловатым гаданием на кофейной гуще. Насколько Россия сумеет остаться по-доброму самобытной, настолько есть шанс и у ее литературы. А если полностью войдет в новый цивилизационный поток, то от той литературы, которую мы любим и ценим, пожалуй, ничего не останется.

Но все-таки я не устаю повторять про себя слова Баратынского: «Поэзия есть задание, которое следует выполнить как можно лучше». Разумеется, это задание не государства и не массового читателя, это задание свыше. Большинство литераторов и моего поколения, и поколений предыдущих думали именно так. И пока такая убежденность остается в писателе, русская литература будет существовать.

Игорь МАРАНИН

СИБИРСКИЙ ЛЕГЕНДАРИУМ

Главы из книги

В издательстве «Свинья и сыновья» готовится к печати новая книга Игоря Маранина «Легендариум» — сборник городских легенд Урала, Сибири и Дальнего Востока. Книга состоит из четырех частей: древние мифы, исторические легенды, мистика и современные были. Специально для «Сибирских огней» автор подобрал истории из разных частей, чтобы читатель смог получить полное впечатление о будущей книге.

Если эту книгу одновременно возьмут в руки на Урале и Камчатке, то в Екатеринбурге будет разгар дня, а в Петропавловске-Камчатском — поздний вечер. Семь часовых поясов вместила территория, легенды которой я хочу рассказать. Огромный край с десятками городов, по улицам которых бродят тени ушедших эпох — шаманы и завоеватели, простолюдины и вельможи, авантюристы и ученые. Их следы можно отыскать на пыльных страницах древних книг, их шаги слышны в воспоминаниях современников, их разговоры помнят окна и стены старых домов. Страна легенд — особая страна, здесь становится реальным то, что в нашем мире всего лишь фантазия: жуткие оборотни и гигантские змеи, тоннели между материками и туманы времени, кареты из золота и пещеры, полные серебряных монет.

Урал, Сибирь, Дальний Восток... За время работы мне стали родными города и поселки, что щедро делились интересными историями. Как историк, я старался точно придерживаться фактов, а как писатель — пытался реставрировать каждое событие в деталях — с помощью логики, психологии и красок русского языка. В итоге получился неожиданный жанр — документальная мифология. Жанр не исторический, а фольклорный, ведь городская легенда — это часть фольклора.

Город мертвых

В древности здесь шумел первозданный лес и стояла на берегу реки одинокая хижина. Стенами ее служили переплетенные ветви и звериные шкуры, а крышей — кора деревьев. Поначалу хижина принадлежала охотникам, но затем поселился в ней шаман с дочерями. Хвастливый и слабый — одно название, а не шаман: духи, которых он вызывал, ничего не умели. Они кружились над костром и не слушались бубна, а только хохотали и кривлялись. Больших усилий стоило ему загнать непослушных призраков обратно во тьму. Так было раньше, но поселившись у скал (ныне это заповедник «Столбы» близ Красноярска),

шаман заметил разительные перемены: заклинания его стали сильнее, а умения выросли. Старые камни щедро делились накопленной магией: хозяин хижины стал творить настоящие чудеса, и рассказы о нем разошлись по миру, достигнув океана на востоке и Асгарда Ирийского на западе. Настоящее имя колдун хранил в тайне, забрав себе название реки, у которой жил, — Эне-Сай.

Со всех сторон потекли к Эне-Саю люди, ища защиты, и вскоре тщеславный шаман провозгласил себя вождем. Получив власть, стал он заносчивым, спесивым, неводержанным и вспыльчивым. Никто не смел перечить новому вождю, ибо впадал он от того в великий гнев. Когда дочери его вошли в невестин возраст, объявил шаман, что отдаст их лучшим из лучших. Весть эта разошлась по миру и вышла за пределы Сибири. Из далекой долины на западе, лежавшей за рекой Шу, прибыл с караваном молодой князь Такмак. Не было равных князю в схватках с соперниками, а в дар отцу будущей невесты передал он табун быстрых и выносливых лошадей. Ударили Эне-Сай и Такмак по рукам, и привели к ним старшую дочь шамана по имени Базаиха. Хитрый отец опол гостя зельем-мороком, отчего толстая и сварливая девица показала жениху пленительной красавицей. Она неуклюже топталась на месте — он видел изящный и прельстительный танец, она говорила глупости — он поражался мудрости ее слов, она ворчала и капризничала — он слышал сладкоголосые песни. Шаман не желал зла юноше: тот остался бы под действием зелья до самой смерти и не было бы на земле мужа счастливее. Но таежная волчица, путающая следы человеческих судеб, не любит счастливых. Лалетина, младшая дочь шамана, освободила богатыря от действия дурмана и в ту же ночь соблазнила.

Страшен был гнев Эне-Сая! Над останцами разразился ураган: ветер вырывал с корнем деревья и сносил хижины, молнии крошили скалы, а затем огромная речная волна слизнула с берега Лалетину и утащила на дно. Ярость шамана была столь велика, что он не пожалел собственную дочь. Такмака и его воинов, оглушенных раскатами грома, связали и оттащили в пещеру, где заковали в цепи, а вход завалили камнями.

Время одинаково безжалостно к сильным и слабым. Течет оно невидимой рекою сквозь нас и не подвластно ни материнским слезам, ни царскому гневу. Прошли годы, состарился Эне-Сай. Умирая, он завещал похоронить себя в пещере, где живьем замуровали Такмака и его свиту. И таков был страх перед правителем, что подданные не посмели ослушаться: разобрали камни и втащили внутрь тело мертвеца, а затем завалили вход заново. С трепетом и страхом услышали они звон мечей и звуки боя — это в битве шамана и подземных духов рождался город мертвых, правителем которого стал Эне-Сай. Легенды о мертвом царстве сохранились у многих народов, только название реки, по которой увозили усопших, разлилось от страны к стране — Стикс, Хабур, Санзу. Город мертвых обслуживали живые — остатки племени шамана. Были это мрачные люди, жившие за счет даров. В скалах появились величественные усыпальницы и тоннели, каменные сфинксы и пещеры-гробницы, крылатые кони и следы Будды. Казалось, царству мертвых не будет конца, но во время древней войны, которую легенды называли «титаномахией», погибло и оно.

Челобитная о бабах

Почти три века в русской Сибири было преимущественно мужское общество — грубое и brutальное. Доходило до того, что женщин набирали по царскому указу и отправляли за Урал силой. В 1630 и 1637 гг. царь Михаил Федо-



рович дважды объявлял в поморских городах «женский призыв». «Девки» под всяческими предлогами «косили» от призыва, как в нынешние времена юноши «косят» от армии. В 1630 г. в Тотьме, Устюге и Сольвычегодске набрали сто пятьдесят молодых девушек и препроводили «замуж» в Сибирь. В 1637 г. удалось набрать еще полторы сотни. Проблема не была решена даже в начале XIX века: в 1826 г. Сенат издал указ, разрешавший сибирским мужикам выменивать и покупать в жены девушек местных народов. Как писал в «Истории Сибири» Петр Андреевич Словцов: «Поколение в казацком сословии первоначально пошло от крови татарок, которые, быв обласканы смелыми пришельцами, взошли на ложе их, впоследствии законное, по подобию сабинянок». Другой дореволюционный исследователь Сибири Николай Николаевич Оглоблин констатировал: «Русская женщина, и доселе более мужчин привязанная к земле “отцов и дедов” и менее подвижная, неохотно шла в XVII веке в Сибирь и была там сравнительно большою редкостью».

В 1627 г. енисейские «пашенные крестьяне из ссыльных» отправили царю челобитную с просьбой привезти им незамужних («гулящих», то есть свободных) девок. Видно, допекло енисейских мужиков жить без женской ласки, если они баб у самодержца выпрашивать стали. Некий Ивашко Семенов прибыл в Енисейск и вручил губернатору послание за двадцатью подписями для передачи в столицу. Мужики жаловались, что трудятся на батюшку-царя не жалея сил, а жениться не могут. Баб нет! «Как, государь, с твоей государевой пашни придем, хлеба печем и ести варим и толчем и мелем сами, опочиву нет ни на мал час! А как бы, государь, у нас сирот твоих, женишки были и мы бы хотя избные работы не знали».

Особую обиду крестьяне держали на местные власти, которые обещали привезти девок да обманули. Царь легко понял своих подданных и отправил грамоту в Тобольск воеводе князю Хованскому, чтобы тот «жонок гулящих и свободных, вдов и девок из Тобольска и из иных городов в Енисейской острог» послал. Князь, однако, ослушался и женщин придержал — дефицит ведь! Напрасно прождав три года, енисейские крестьяне составили новую челобитную. Ее подписали уже пятьдесят три человека: «А людишки, государь, мы одинокие — жен и детей у нас нет, в пашенную и всякую пору мелем и печем и варим сами, а в кою пору на твоём государевом зделье или в гоньбе — и в ту пору подворишки наши пусты стоять».

Мужики готовы были отправиться на поиск баб по сибирским городам самостоятельно, но местный воевода не разрешал им выезжать дальше Енисейска. Царской реакции на это прошение не сохранилось, так что неизвестно, удалось ли бедолагам найти жен. Может, оно и к лучшему, что остались они холостыми: чтобы восполнить нехватку женщин, в Сибирь стали отправлять преступниц и каторжанок. Известен состав одной из таких групп, привезенных в Омский острог: из тридцати трех невест пятеро были воровками, трое — поджигательницами, семеро — детоубийцами и шестнадцать — мужеубийцами. Гендерный состав в Сибири выровнялся только в середине XIX в., причем женщины стали преобладать, как и повсюду в России.

Очки охотника на тигров

Во Владивосток граф Роберт Кезерлинг прибыл экзотическим способом — сошел с трапа китобойного корабля. Судно принадлежало его брату Генриху, капитану на службе российского правительства и самому лихому китобою

Дальнего Востока. Светское общество приняло гостя с энтузиазмом: он только и успевал, что посещать балы и вечера. На одном из них Кезерлинг познакомился с молчаливым человеком в очках, невысокого роста и сублильного телосложения. История жизни «очкарика» (к сожалению, в своих воспоминаниях граф не приводит его имени) оказалась удивительнее приключенческих романов Жюль Верна и Дюма. Застенчивый молчун был героем множества городских баек, а его очки — настоящей легендой. Рассказывали, что, оставив морскую службу, он поселился с женой и ребенком на границе с Манчжурией. По природе своей работящий и смекалистый, отставной моряк наладил справное хозяйство, и дела быстро пошли в гору. Это были самые счастливые годы в его жизни: простой труд, спокойный быт, размеренная жизнь, каждый день которой начинается и заканчивается одинаково:

День мой на день из любого столетья похож,
как под копирку рисует года карандаш:
каждое утро с хлебом встречается нож,
а молоко — с обожженной глиною чаш.

Все закончилось внезапно и жестоко. В те годы на границе разбойничали хунхузы, далеко заходя на русские земли. Свирепые и безжалостные, они нападали на золотоискателей, возвращавшихся с приисков. Живых не оставляли, и часто в тайге можно было наткнуться на обглоданные зверем кости бедолаг, так и не донесших намытое богатство в родные края. Не брезговали хунхузы и обычным разбоем, оставляя после себя сожженные избы и целые деревни. В один печальный день моряк застал на месте дома пепелище: хунхузы убили его семью, сожгли избу и угнали скот.

Слабый бы спился.

Дурной — пустил пулю в лоб.

«Очкарик» взял ружье и отправился следом за разбойниками. Несколько лет амурский мститель выслеживал их, подстерегая и отстреливая поодиночке. Хунхузы прозвали его дьяволом. Покончив с бандитами, моряк не вернулся к мирной жизни — он стал охотником на тигров. Полосатые хозяева тайги доставляли немало хлопот жителям Забайкалья и Дальнего Востока. Тигр — сильный зверь: одним ударом лапы он способен переломить шею кабану, выдрать бок лошади вместе с ребрами или проломить человеческий череп. Охотники рассказывают, что взрослый тигр может перемахнуть через двухметровый забор с мертвой лошадей в зубах. Вплоть до Второй мировой войны охота на них была не только экстремальным хобби, но и настоящим промыслом. В некоторые годы (например, зимой 1894 г.) почтальонам приходилось ездить по тракту под охраной из-за частых нападений хищников. Известен случай с пятнадцатилетним подростком, выжившим при нападении нескольких тигров. Двух он успел застрелить, третьего смертельно ранил, но зверю хватило сил «истерзать ему руки и грудь». Взрослые нашли мальчишку без сознания в окружении трех мертвых животных. Во время путешествия по Сибири наследника престола, будущего императора Николая II, удачливого храбреца представили царской особе.

«Очкарик» из Владивостока охотился в одиночку. Он потерял страх в Манчжурии и оставался спокойным в самых опасных ситуациях. Очки его стали знаменитыми следующим образом: тигр неожиданно вышел на дорогу, по которой ехал охотник, сопровождая группу горожан. Люди до смерти перепугались, хищник угрожающе зарычал, а бывший моряк снял очки, намокшие под уныло морозящим дождем, не спеша протер их платком, водрузил обратно на нос и



лишь затем выстрелил, свалив изготовившееся к прыжку животное. Вскоре, однако, охота наскучила этому удивительному человеку, и он вернулся к прежнему ремеслу. Теперь он ходил капитаном небольшого судна, собрав в команду самых отъявленных «отказников», выброшенных на берег другими капитанами. Как писал Кезерлинг: «Незадолго до моего приезда команда нашего героя вздумала взбунтоваться. Один из них был послан депутатом в каюту капитана, но ему пришлось плохо. При первых словах капитан повалил его на землю и затынул его галстук так крепко, что тот перестал дышать. Остальных затем он успокоил револьвером».

Возможно, перед тем как до полусмерти придушить бунтовщика, капитан неторопливо протер платочком запотевшие очки.

Карета Демидова

Четырех человек оставил порученец сторожить мост, когда колесо кареты сорвалось с оси, закрутилось, заюлило зигзагом да и свалилось в Барнаулку. Не зря ее местные Волчьей речкой называли: распахнула Барнаулка зубастую пасть и проглотила огромный кругляш. Мелькнула у порученца мысль: сбежать, затеряться в лесах Сибири, забиться в дальний медвежий угол и не вылезать оттуда никогда. Только понимал — бесполезно: хоть и стар Акинфий Никитич Демидов, но властью своей из чуждских пещер достанет. И тогда простой смертью не отделаешься: на дыбу накрутит, в великих муках умирать будешь. Предупреждал порученца первый богач новорожденной Российской империи: если что с каретой случится, голову снимет. Еще в конторе Кольвано-Воскресенских заводов предупреждал. Карета предназначалась в подарок императрице и покрыта была поверх дерева золотом. Даже колеса, прошедшие триста верст по алтайским дорогам, под слоем грязи имели золотые накладки по ободам. На одно такое колесо простой человек всю жизнь мог безбедно жить. А теперь оно покоилось на дне реки!

В Барнауле ждал вооруженный отряд, нанятый Демидовым: под его охраной карета должна была выехать на Московский тракт и отправиться в столицу. Как же теперь быть? Поставив простое колесо, кое-как докатили драгоценную повозку в расположение отряда. Затем порученец отыскал ныряльщиков, но когда прибыл с ними к мосту, сторожа оказались мертвы. Два дня ныряльщики исследовали дно, но пропажу так и не обнаружили.

— Как в воду кануло! — пробормотал кто-то и перекрестился.

Колесо, действительно, кануло в воду, но кто-то достал его оттуда.

Срочно были высланы дозорные, городок перевернули вверх дном, но украденного так и не нашли. Послали вестового в Кольвань к Демидову: что делать? Вернулся тот с неожиданной вестью: императрица Анна Иоанновна преставилась, и Демидов отбыл в столицу, приказав везти карету обратно в Кольвань, а порученца заковать в кандалы и бросить в темницу. Последний, предчувствуя свою участь, сумел бежать и отыскал-таки медвежий угол.

До того как русские стали добывать руду в алтайских горах, копался там древний народец, именуемый чюдью. Почти все рудники и прииски русскими на месте бывших чуждских копей основаны были. Шептались в народе, что и поныне существуют «тайные люди», которые с чудью дела ведут, но кто такие и откуда — никто не знал. Иногда в древних копиях находили и самих рудознатцев — вернее, оставшиеся от них кости. Так, на Змеиногорском руднике нашли

скелет, костяные орудия горного труда и кожаный мешочек с самородками золота и серебра.

«Чудь охая до горной работы сию живу уже вскрыла... — описывал в XVIII в. этот случай Иван Михайлович (Ганс Михаэль) Ренованц. — Не только находят на оной их покрытые каменными кучами гробницы; но там находили также металлическими известыми покрытые кости, одного в охрах под поверхностью провалившегося человека и при нем коженный мешок, наполненный изобилующими серебром и золотом охрами, так же местами и орудия их, состоящие из медных острых молотков, и из молотков из речных кругляков приготовленных».

Долго дожидалась карета возвращения Демидова — в прежние столетия дорога из Сибири в столицу и обратно занимала несколько месяцев. Но когда сибирский властелин вернулся, доложили ему «тайные люди», что каретой чудь интересуется. Взамен же предлагает подземный народец указать неизвестные месторождения. Акинфий Никитич к предложению прислушался и, размыслив выгоду от добычи металлов, дал согласие. Несостоявшийся подарок императрице доставили тайно к горе Мурзинке, загнали в одну из пещер и завалили вход камнями. Через год Демидов не утерпел: приказал разобрать завалы и посмотреть, что с каретой. Но ее давно и след простыл.

Ненайденные клады

Сегодня трудно представить, что кто-то зарывает богатства в землю, пряча их от посторонних глаз. Для этого есть банковские счета и ячейки, акции и облигации, инвестиционные фонды, вложения в недвижимость и многое, многое другое. Не так было в старину. Николай Яковлевич Аристов (1832—1882) писал в одной из своих книг по истории Древней Руси: «Сильные притесняли слабых и отнимали их собственность; воры и разбойники нередко похищали имущество других; самовластие служителей правосудия доходило до того, что они вытягивали последнюю копейку с подсудимых. Поэтому умные люди старого времени считали самым практичным делом прятать деньги и ценные вещи как можно дальше от завистливого взгляда. Чтобы не подвергнуться неожиданному разорению, личным оскорблениям и преследованиям, чтобы обезопасить свое семейство на всякий случай и сохранить малую толику на черный день, — они зарывали в землю имущество, нажитое потом и кровью. Припоминая постоянную борьбу русских с финскими, татарскими и немецкими племенами, затем внутренние междуусобья и неурядица общественных порядков, каждый теоретически может сделать вывод, что кладов, зарытых в древнее время, должно быть громадное количество».

По Сибири, где долгое время не было стабильной государственности, с древних времен прокатывались волны завоевателей. На здешних дорогах грабили разбойники, прикапывая добытое в тайных местах. Сюда бежали от преследования старообрядцы, укрывая нажитое от чужих жадных глаз. На остроги и деревни совершали набеги местные князьки со своими отрядами и тоже нередко зарывали награбленное в землю. Гражданская война, партизанские отряды, разбойничий промысел хунзузов, золотоискатели... Неудивительно, что в Сибири существует колоссальное количество легенд о кладах, а любая крупная историческая фигура обросла подобными историями, как корабельное дно обрастает слоем морских растений и организмов.

К кладам причислялись и различного рода древние захоронения, существовавшие на сибирских просторах в изобилии. В XVI—XVII вв. пришлые



сбивались в настоящие артели для поиска зарытых богатств — составлялись большие экспедиции численностью в две-три сотни человек. Вот что писал доктор Мессершмидт, проживший в Сибири в начале XVIII в. около семи лет: «В этой Чаусской слободе около 150 жителей; занимаются они хлебопашеством и торговлей мехами... Но главным образом они зарабатывают много денег раскопками в степях. С последним санным путем они отправляются за 20—30 дней езды в степи; собираются со всех окрестных деревень, в числе 200—300 и более человек, и разбиваются на отряды по местностям, где рассчитывают найти что-нибудь. Затем отряды расходятся в разные стороны, но лишь на столько, чтобы иметь между собою сообщение и, в случае прихода калмыков или казаков, быть в состоянии защищаться; им нередко приходится с ними драться, а иным и платиться жизнью. Найдя такие насыпи над могилами язычников, они иногда, правда, окопают напрасно и находят только разные железные и медные вещи, которые плохо оплачивают их труд, но иногда им случается находить в этих могилах много золотых и серебряных вещей, фунтов по 5, 6 и 7, состоящих из принадлежностей конской сбруи, панцирных украшений, идолов и других предметов».

Больших денег бугровщики не наживали. Все уходило на неотложные нужды и водку. Находки сдавали в специальные приказы или давали ими взятки чиновникам (многие сибирские наместники, благодаря подобным подношениям, скопили коллекции уникальных вещей). Первые кладоискатели были людьми в основном неграмотными и поголовно верили в колдовство. Как писал Е. В. Кузнецов-Тобольский в «Сибирском летописце»: «Очутившись на сибирских пустырях, русские колонизаторы... свято верили, что в деле освобождения клада от опеки дьявола и добычи скрытого в нем богатства имеют большую силу разные травы... Это подтверждают и некоторые из царских грамот. Так из грамоты верхотурскому воеводе кн. Пожарскому от 13 октября 1625 г. видно, что он, Пожарский, нашел у проезжего протопопа Якова в коробке “траву багрову, да трои корени, да камок пухчеват бел, и того протопопа расспрашивал: какая трава и корень, и какое угодье”. Оказалось, что протопопу дал эти любопытные и вместе подозрительные вещи тобольский казак Степанко Козьи-ноги. И воеводе предписывалось “того протопопа и коробью, что у него вынята, с воровским кореньем, прислать в Москву с приставом”».

Мошенники вовсю торговали травами и фальшивыми историями о кладах. Вот характерный случай, произошедший в 1851 г. на Урале. Один крестьянин рассказал доверчивым мастеровым, что знает место, где зарыт богатый клад. Да вот беда: охраняет богатства леший и требует полторы тысячи рублей, ведро хлебного вина и рыбный пирог в десять фунтов. К операции под кодовым названием «Деньги, вино, пироги» крестьянин подготовился основательно: приглядел лесной уголок, зарыл окованный железом ящик и устроил в зарослях лежку. Придя в указанное место, мастеровые обнаружили ящик, но вскрыть не успели, услышав голос «лешего», обещавшего им немедленную смерть. Испуганные мастеровые убежали и в другой раз принесли 447 рублей ассигнациями, ведро вина и рыбный пирог. «Леший», не выходя из кустов, подношение принял, но заявил, что в данный момент клад выдать не может: месяц еще молодой, в такое время и до увечья недалеко. Как вы можете догадаться, когда месяц состарился, никакого клада доверчивые мастеровые не обнаружили.

«Подобные обманы... — писал Кузнецов-Тобольский, — повторялись не один раз. Случалось и так, что в вырытых из земли ящиках находили вместо денег мелкие камни или разбитые стекла. Обманы выполнялись столь хитро,

что кладоискатели редко уверялись в них и чаще относили свои неудачи к тому, что при вскрытии клада не соблюли сами какого-либо условия... и оттого деньги превратились в камни или стекла».

Крест Пугачева

Трудно приходится Кузнецовым — уж больно их много! Как тут войти в историю и запомниться потомкам? Как исхитриться, чтобы современники отличали от всех прочих однофамильцев? Потому с давних времен многие из потомков кузнецов носят фамилию двойную: первая часть — родная, а вторая — прозвище. В XIX в. среди сибирской читающей публики были известны два Кузнецова: Иннокентий Петрович (этнограф, археолог, историк и золотопромышленник) носил прозвище Красноярский, Евгений Васильевич (писатель и журналист) — Тобольский. Последний стал автором занимательных исследований «Воздушные страхи Тобольска в старину» и «Кладоискание и предания о кладах в Западной Сибири». Собирая материал для второй книги, Евгений Васильевич читал старинные рукописи, газеты, беседовал со старожилами. Среди прочих находок обнаружилось материалы о необычной находке в Тобольском окружном полицейском управлении. В марте 1889 г. разбирали там вещественные доказательства по старым делам и нашли каменный крест размером в шесть вершков (чуть больше 25 сантиметров) со следующей надписью: «Се́й крест заветный кладенная сия поклажа сибирским пугачевским воинами двадцати пяти человеку, есаулом Змеюлановым свидетельствована казна и положена в сундук счетом, инпериалами сто тысяч, пулуинпериалами пятьдесят тысяч, монетами тоже пятьдесят тысяч, да кто се́й крест заветный счастливым рабом найдет тот и казну нашу возмет — нашу казну возмите и пособие делите друг друга не обитте — но вместо нашей казны по завету нашему положите в ту яму двух младенцев, то во избавлении их положите на каждую голову по двести монетов, но не звонкой, а бумажной царской для вечной потехи стражам нашим, а без исправного завета и к казне к нашей не приступайте, ибо наши стражи страшны и люты, чего делают рабам противно их не видно, а за свое будут стоять крепко; по вынятии сего заветного креста и завета готового ищите отговорщика, а отговорщик должен знать как показано на семи главах сего креста, как сделать завет, потом завецания и как зделании завету к вынятию поклажи приступать с шестую полночь, а когда казну нашу вымите, то се́й крест [неразборчиво] засыпьте свой завет слушатся отговорщика как сказано выполните и казну нашу получите. Аминь».

Иными словами, это был «кладной» крест — ключ к заколдованному кладу. Недаром речь шла об отговорщике! Только он знал, как правильно расшифровать выбитые на семи главах находки буквы и точки. Кладные предметы не были редкостью во времена Пугачева. В Вятском музее, например, хранится камень, обнаруженный в 1879 г. на территории Фаленского района. Надпись очень похожа: «Се́й камень заветный кладеная сия поклажь сибирским Пугачевыми воинами 28 человеками да се́й поклажи золотого казноу червонною монетою 56 тысяч каждой червонного щитая по пяти рублей, а поклажи серебром 44 тысячи монетами каждой монету щитая по рублю да это се́й камень щестливой раб найдет, тот казну нашу возьмет, да это нашъ заветъ исправить тот и казну нашу разделить нашу казну возмите и по себе делите. Друг друга необите есаул Макаров атаманом Сухопаровым нами завецено тако по вместо нашей казны положите по завету нашему 30 аршин тонкова холста да каждого полуар-



шин по три монеты да черного петуха над сим холстом и деньгами станут стоять сторожа строчные годе понайдению нашей поклажи в ту яму положите исправной и завета по найден то сего камня ищите отговорщика и отговорщик знает управляться с нашим со сторожами. Слушаться отговорщика. Кладена поклажа 1774 году мая 4 числа».

Но вернемся в Тобольск.

Кладный крест, словно нарочно для возбуждения вражды, был найден на меже двух деревень. Межа — это граница, ничейная территория, широкая полоса, обычно поросшая травой. В августе и сентябре траву на ней косили и складывали в стога. Как писал Александр Блок в стихотворении «Летний вечер»:

Последние лучи заката
 Лежат на поле сжатой ржи.
 Дремотой розовой объята
 Трава некошеной межи.

Ни ветерка, ни крика птицы,
 Над рощей — красный диск Луны,
 И замирает песня жницы
 Среди вечерней тишины.

Возможно, именно в такой умиротворенный вечер на некошеной меже меж деревнями Тобольской губернии и был найден кладный крест. Ничего бы не произошло, если бы нашел его кто-то один и скрытно унес домой. Но в тот момент по обе стороны межи находились крестьяне, и они тут же затеяли спор, на чьей территории сделана находка. Спор перерос в драку: и с той, и с другой стороны нашлись кулачные бойцы, не раз ходившие стенка на стенку. Теперь они дрались не ради забавы, а яростно и зло — дело едва не дошло до смертоубийства. По прошествии пары дней полиция учинила драчунам допрос, а находку изъяла и передала от греха подальше в архив. А уже оттуда в 1889 г. она попала к хранителю тобольского музея Николаю Александровичу Лыткину. Увы, когда Кузнецов-Тобольский, отыскивая в подшивках старых газет эту любопытную историю, обратился в музей, креста там уже не было. Судьба вышедшего в отставку хранителя музея автору неизвестна, как неизвестна и дата его смерти. А что касается креста — кто знает, быть может, нашелся среди жителей Тобольска окаянный «отговорщик», способный позаимствовать музейный экспонат и совершить кровавый обряд, чтобы потом чахнуть над золотом.

Кочевница Варвара

На правом берегу реки Анабар, впадающей в море Лаптевых, расположен речной порт с двухкилометровой взлетно-посадочной полосой — село Саскылах, которое местные жители, по-якутски растягивая гласные, называют «Саскылаах». По меркам Севера, административный центр алмазодобывающего Анабарского улуса — поселок большой: здесь проживает более двух тысяч человек. С холма, на котором обосновалось село, смотрит на окрестности бронзовый человек с оленем — памятник бывшему кочевнику, педагогу, зоотехнику, директору местного совхоза Николаю Егоровичу Андросову (1936—2006). Кочевое прошлое здесь имеют многие. У старейшей жительницы Якутии Варвары Константиновны Семенниковой (1890—2008) так и было записано в трудовой книжке: «вела кочевой образ жизни, занималась домашним оленеводством».



Небольшого роста (всего 140 сантиметров), маленькая, юркая и проворная девушка-эвенкийка управлялась с оленьим стадом и охотилась в тундре с восемнадцати лет. Родители ее были православными: в 1890 г. Константин Стефанов-Дьяконов и его жена Мария Константиновна крестили девочку в Спасской церкви с. Булун. Варвара дважды побывала замужем. Второй раз — за охотником Алексеем Семенниковым, чью фамилию она носила до самой смерти. Он был на двадцать семь лет (!) младше жены-кочевницы: в весьма солидном для женщины возрасте она родила молодому мужу двоих детей, но, к несчастью, они не выжили. После войны, в 1948-м, Семенникова взяла на воспитание четверых малышей, став для них родной матерью. Кочевала Варвара Константиновна до 1980 г. Лишь когда ей исполнилось девяносто, женщина оставила тундру и поселилась в деревне. Умерла старая кочевница в 2008 г., всего два месяца не дожив до 118-го дня рождения.

Самая старая избирательница

«Время от времени старушка берет в руку клюшку и, поднявшись со стула, мелкими шажками, чуть сутулившись, прогуливается по комнате. Ноги, обутые в меховые домашние туфли, мягко шаркают по крашеному полу», — так описывала в декабре 1945 г. «Советская Сибирь» 111-летнюю Анну Максимовну Иванченко, родившуюся в старинном украинском городке Каменце-Подольском, известном еще с XI в. Отец ее был рекрутом, призванным в армию на двадцать пять лет. Первый раз жениться ему разрешили через девять лет, но жена не дождалась солдата из армии и умерла. Незадолго до конца службы рекруту разрешили еще раз завести семью. Скопив тридцать рублей, служивый выкупил невесту из крепостных и сыграл свадьбу. Эта женщина и стала матерью Анны Максимовны. Строга была бывшая крепостная девка! Сидеть без дела не давала, учение считала тьмой, а неученье — светом. Ругала дочь: научись грамоте, а потом письма будешь писать ухажерам.

— А какие там ухажеры были? — печально вздыхала на 112-м году Анна Максимовна. — Замуж в шестнадцать лет выдали, а потом без мужа шагу ступить не смела.

Большую часть жизни они с мужем Яковом прожили на одном месте, и лишь в старости неожиданно пришлось переезжать и перевозить за собой накопленный с годами скарб за тысячи верст. Сначала в Китай, к сыну Дмитрию, который устроился работать на строительство железной дороги. Увы, печально закончилась эта поездка: вскоре разразилась Русско-японская война, и Дмитрий погиб. Остались Яков и Анна в чужом и далеком Китае с внуком-подростком на руках. Кое-как добрались обратно на Украину и обустроились в Одессе. Думали, это на всю жизнь, но подросший внук Василий оказался таким же непоседой, как и его отец, — подался в Ново-Николаевск. После смерти деда забрал к себе бабушку, и она жила в городе на Оби в одном и том же доме по улице Тобизеновской (после революции — Горького, д. 31) с 1914 по 1945 г., пока корреспондентка областной газеты Р. Дроздова не решила написать статью о старейшей жительнице города. Заканчивалась эта статья пафосным предвыборным официозом: «А то вспомнит старуха, как в первые выборы верховной власти, в 1937 г., ходила она голосовать на избирательный участок в Дом Ленина. Словно к празднику большому готовилась.

— Сама пошла, со снохой своей Екатериной Тимофеевной. Теперь не дойду, ноги болят. Стеша, мы с тобой на машине поедem? Обязательно! — говорит она Степаниде Дмитриевне. — День-то какой! Сталина выбирать будем».

Соперник князя Потемкина

Он был моложе императрицы на восемь лет, но вовсе не молод — поручику Полтавского пикинерного полка Василию Романовичу Щегловскому исполнилось пятьдесят. Традиционно пикинеры — это пехота, вооруженная длинными пятиметровыми копьями (оттого в России их часто называли копейщиками). Но в армии времен Екатерины II были кавалерийские пикинерские полки, в том числе Полтавский (позднее — Мариупольский легкоконный). По происхождению Щегловский был дворянином, но начал армейскую службу рядовым, дослужившись сначала до унтер-офицера, потом до сержанта, а вслед за тем — до поручика. Военная служба его не была легкой: после первого ранения он попал на два года в плен к немцам, после второго (стрелой в голову и кинжалом в руку) — на четыре года к туркам.

В 1787 г. 58-летняя Екатерина II отправилась в свою самую невероятную поездку по России — в полугодовой таврической вояж. Выехав из Луги 2 января, она вернулась в Санкт-Петербург 11 июля, проехав по земле и проплыв по рекам более пяти с половиной тысяч верст. Вместе с Екатериной по стране двигался весь ее двор — огромный табор высокопоставленных особ в количестве трех тысяч человек. Именно с этим путешествием связана легенда о «потемкинских деревнях» — бутафорских строениях по пути императорского «поезда», построенных всесильным фаворитом князем Потемкиным.

Российская империя достигла при Екатерине II большого могущества. Благосклонности императрицы искали не только в Европе и Азии, но и в далекой Америке. Прибыв в Киев, правительница встретила с южноамериканским революционером Себастьяном Франсиско де Миранда-и-Родригесом (говоря проще — Мирандой). Он просил денег на революцию в Венесуэле, желая освободить страну от испанцев, и вошел в историю как национальный герой и автор венесуэльского флага. Заведя в России высокие знакомства (в том числе с Суворовым и Потемкиным), Миранда получил и деньги, и чин полковника русской армии. В 1806—1812 гг. он поднял восстание и провозгласил независимость Венесуэлы, но в итоге потерпел поражение и умер в испанской тюрьме.

Среди тех, кто сопровождал императрицу в поездке из Киева в Крым, был и поручик Щегловский. Он привлек монаршьё внимание в Херсоне, на балу. Пятидесятилетний военный так лихо отплясывал мазурку (танец быстрый и озорной), что переменял четырех дам. Восхищенная Екатерина пожаловала ему золотую табакерку. Для получения второго императорского подарка Щегловскому пришлось скакать на лошади. Князь Потемкин отправил его справиться о восстановлении моста, снесенного бурей. За три часа поручик проскакал пятьдесят четыре версты и, вернувшись, доложил о том, что мост восстановлен и можно ехать. Екатерина, еще не окончившая за это время обед, была настолько поражена скоростью перемещения порученца, что сняла бриллиантовый перстень с пальца и лично вручила поручику.

Князь Потемкин поначалу тоже отнесся к Щегловскому милостиво. В последующие три года (шла непрерывная война с турками) Василий Романович был повышен в звании до капитана, а за участие во взятии Очакова получил золотой крест. Все закончилось неожиданно в 1890 г. из-за польской красавицы, отдавшей предпочтение не князю, а его подчиненному. Много позже, пережив не только Екатерину II, но и трех последующих императоров, Щегловский так ответил на вопрос Александра II о причинах своей ссылки:

— Если ваше высочество позволите сказать откровенно, всем бедам на свете одна причина, и все терпят за одну вину: Адама и Еву. Я потерпел за Еву.

По формальному обвинению в упущении пленных турок удачливого соперника всесильного князя лишили чинов и отправили в Сибирь. Пятьдесят два года (с 1790 по 1843-й) Василий Романович прожил в Иркутске. Приобрел здесь дом, женился. Жизнь продолжала раскачивать его на волнах удачи, то поднимая вверх, то низвергая обратно. Ему хватило средств, чтобы купить дом, но оставшиеся деньги и драгоценности у него похитили, он разбогател на торговле нюхательным табаком и снова обеднел после введения откупа (частного сбора налога). Срок его ссылки не был точно определен, а в столице давно забыли о потемкинском сопернике. Лишь в 1839 г. Николай I, узнав из доклада, что в далекой Сибири живет 102-летний ссыльный, распорядился его освободить и выдать тысячу рублей.

В 1843 г. в возрасте 106 лет Щегловский приехал из Иркутска в столицу, преодолев шесть тысяч верст по тряскому Сибирскому тракту. Бывший ссыльный моментально стал главной новостью столицы и был осыпан милостями. О нем писали популярные столичные журналы — «Отечественные записки», «Русский инвалид», «Современник» и даже «Журнал для чтения воспитанников военно-учебных заведений». А литератор Борис Федоров в 1844 г. издал книгу «Стосемилетний старец в Петербурге».

Несмотря на возраст, Щегловский был намерен вернуться в Иркутск, ставший его второй родиной. Но сделать этого не успел: в 1845 г. он скончался в столице, совсем немного не дожив до 108-летия.

Актриса

За несколько дней до наступления 1905 г. в Екатеринбурге скончалась Евдокия Алексеевна Иванова — драматическая актриса, блиставшая на сцене местного театра. Точный возраст ее никто не знал, поэтому в немногочисленных некрологах писали о «редком примере долголетия». По словам самой актрисы, она застала войну с Наполеоном двенадцатилетней девочкой, а значит, прожила сто четыре года. Иванова родилась крепостной в имении матери Ивана Сергеевича Тургенева.

Варвара Петровна Лутовинова (в замужестве — Тургенева) красотой не блистала, но при этом обладала поразительной энергией: она лихо скакала на лошади, стреляла из карабина и любила играть в бильярд. Это была властная женщина, но вряд ли о ней помнили бы потомки, если бы не сын. Иван Сергеевич написал со своей матушки образ барыни в «Муму», а в его воспоминаниях есть такие строки: «Матери я боялся, как огня. Меня наказывали за всякий пустяк — одним словом, муштровали, как рекрута. Редкий день проходил без розог; когда я отважился спросить, за что меня наказали, мать категорически заявляла: — Тебе об этом лучше знать, догадайся».

Но при всем своем самодурстве Тургенева была способна на щедрость и порыв души. Актриса Иванова отзывалась о хозяйке как о женщине строгой, но справедливой.

В позапрошлом веке актеров набирали не так, как сегодня. Известный антрепренер Соколов ездил к помещикам, державшим театры, и внимательно смотрел игру крепостных. Тех, кто понравился, покупал или брал на оброк в обучение. Поиздержавшиеся за время войны с Наполеоном дворяне охотно продавали доморожденных артистов. Юная Евдокия произвела на Соколова хорошее впечатление.



чатление: она была красива, талантлива и обладала сильным голосом. Актриса быстро стала примой театра, исполняя главные оперные роли. Успех ее был столь велик, что антрепренер положил актрисе большое жалованье — 25 рублей, а едва ей минуло восемнадцать — окончательно выкупил и дал вольную. В Великий пост хозяин театра, которого его труппа боготворила, отправился платить ежегодный оброк за своих артисток к Тургеневой. Евдокия Алексеевна вспоминала об этом так: «Мы еще были совсем дети, и нас страшно занимало, что за подарки привезет нам Соколов. Дорога из Казани до Тургеневки по-тогдашнему была не близкая. Соколов уехал туда на первой неделе поста и вернулся как раз в страстную субботу. Весна была ранняя, Волга вскрылась, и, переправляясь в Казань на лодке, Соколов едва не утонул. Мы уже не ждали его. Помню, было уже поздно. Все мы собирались к заутрене и приготовили себе костюмы. Вдруг вбежала наша придворная горничная, тоже крепостная, Дашутка, и заорала: “Барин приехал!” Мы, конечно, все высыпали к нему навстречу. Соколов поцеловал нас всех и ушел в свою комнату переодеваться с дороги, он был весь мокрый. А мы сгорали от нетерпения поскорее узнать, кому и какое красное яичко привез он. Наконец Николай Алексеевич вышел к нам, еще раз поздоровался со всеми и, подав нам бумажку, сказал: “Вот вам всем красное яичко к пасхе — это от меня”. Эта бумажка, помню, синяя, шершавая, была наша вольная».

Обосновавшись на Урале, труппа Соколова не забывала и о гастролях, добираясь летом даже в Сибирь. Евдокия Иванова работала на сцене много лет. В последний раз она вышла к зрителям в столетнем возрасте, отмечая пятьдесят пять лет служения городу. Автор некролога актрисы в «Историческом вестнике» Н. Беккаревич вспоминал: «Пишущему эти строки пришлось видеть Е. А. в водевиле “Бедовая бабушка”, который она играла в 1900 г. в свой юбилей. Ей тогда уже было сто лет... Но и в этом возрасте в Е. А. Ивановой, уже отвыкшей от сцены, сразу видна была недюжинная артистка».

Как легенду рассказывали такой случай из биографии Ивановой: однажды на Ирбитской ярмарке она сыграла злобную тетку настолько хорошо, что зрители возненавидели персонаж, перестав различать его с актрисой. «После спектакля, — рассказывали очевидцы, — часть публики до того возбуждена была игрой, что, забыв все, едва не побила Е. А. за все ее пакости на сцене, так что ей пришлось уехать из театра под охраной полиции».

Несмотря на былую славу, доживала актриса свой долгий век в большой бедности — на пособие в размере десяти рублей, ежемесячно выдаваемое ей Русским театральным обществом, и на денежную помощь местных благотворителей. Умерла Иванова 27 декабря 1904 г. Хоронили ее под Новый год, в зимнюю стужу — за гробом шли всего два человека: ее бывшая поклонница Подвинцева и редактор «Уральской жизни» Певин, который и заплатил могильщикам за их труд.

«Уже когда гроб опускали в землю, от местной труппы М. Строева приехал артист, привезший красивый и большой венок с лентами. Это был единственный венок заслуженной артистке, пионерке театрального дела на Урале», — с грустью написал Г. Беккаревич.

Геолог и писатель

«Подростки поднимались и спускались с этажа на этаж, переходили из комнаты в комнату до тех пор, пока не столкнулись на лестнице с невысокой молодой женщиной, которая на их вопрос весело ответила:

— Я и есть Лидия Петровна. Вы ко мне по какому делу?

Подростки растерянно переглянулись. Им и так казалось странным, что начальником геологического отряда назначена женщина, а когда эта самая женщина оказалась перед ними, они и вовсе оторопели. Во-первых, на ней было самое обычное платье, лакированные туфли, а во-вторых, она и ростом-то не выше старшего из подростков.

Заметив недоумение ребят, Лидия Петровна рассмеялась и повторила вопрос:

— Зачем же вы хотели меня видеть?

— Мы хотели... мы хотели поступить к вам на работу.

— На работу? — переспросила Лидия Петровна, поднимая брови.

Ребята сейчас же отметили про себя, что брови у нее широкие, упрямые, а глаза большие и строгие. И смотрит она пристально, серьезно, как директор на экзаменах» (М. Винкман, Е. Иванов, «Это было в горах»).

Мария Карловна Винкман, одна из авторов процитированной книги, производила на незнакомых людей похожее впечатление. По профессии она была геолог, и каждое лето отправлялась в научные экспедиции по Сибири. Изыскания эти не прерывались даже в самые суровые годы — во время Великой Отечественной войны. В военное лихолетье Марией Карловной было обнаружено на Алтае Чаустинское месторождение кианита (минерала, используемого для производства огнеупорных изделий) и обследована алтайская ртутная зона. Работа в экспедициях тяжелая, а порою и опасная. Трудиться приходилось в спартанских условиях, жить в палатках, питаться экономно. Винкман вспоминала, как однажды в их лагерь приехали из Академии наук: «Рассчитывали, что мы их встретим за накрытым столом, а у нас до окончания работ осталось по семь сухарей на брата». В интервью журналисту Светлане Гальониной она рассказала такой случай из походной практики: «Как-то, спускаясь после выполнения работ с горы, я услышала, находясь под впечатлением от недавно вышедшего фильма, крик Тарзана. Откуда, думаю, в тайге Тарзан? Я тихо пробираюсь звериными тропками и веду на поводу коня. В поисках ключа раздвигаю ветки кустарника и чуть ли не падаю от страха в обморок, видя нацеленное на меня ружье. “Тарзаном” оказался охотник, который приманивал оленей на водопой. Не знаю, кто больше перепугался — я или обезумевший охотник, который чуть было не убил меня! Мужчинам кажется, что такая работа недоступна женщинам, но если любишь свое дело, то она вполне по силам и женщине».

Мария Карловна родилась в 1911 г. в Латвии, но прожила там только четыре года. Мировая война сорвала ее семью с места и отправила в Сибирь, где Винкманы обосновались в деревне Чаинке (ныне село в Купинском районе Новосибирской области). Деревня была новой, основанной переселенцами в 1897 г., а название получила от чаек, которые в огромном количестве обитали по берегам соседнего озера. Чайки громко кричали, устраивая по малейшему поводу вселенский гвалт, летали над озером, высматривая мелкую рыбешку, но большей частью охотились на стрекоз, жуков и мелких грызунов. Быть бы Марии сельским учителем (она окончила педагогическое училище) да прожить долгую жизнь размеренно и оседло, почти не выезжая из села, но она оставила преподавание и уехала в Томск учиться на геолога. После окончания Сибирского геологоразведочного института у Марии началась совсем иная жизнь — та, которую она описывала в своих приключенческих книгах. Эта увлекательная, полная опасностей жизнь едва не закончилась в самом начале: Винк-



ман заболела (она даже получила инвалидность II степени) и была вынуждена оставить геологию. Врачи настойчиво рекомендовали ей сменить климат, и Мария отправилась на Кавказ. Три года она водила экскурсии и читала лекции, пока, наконец, окрепшее здоровье не позволило вернуться в Сибирь. Весной 1940 г. она приехала в Новосибирск и с головой окунулась в работу: минералог, геолог, старший геолог, начальник геолого-съёмочных партий. После войны Мария Карловна окончила аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию. Она написала более семидесяти работ по стратиграфии, палеонтологии и тектонике докембрийских и нижнепалеозойских отложений западной части Алтае-Саянской складчатой области. Но при этом не пропустила ни одного летнего полевого сезона! Она и супруга выбрала себе из геологов: Аркадий Болеславович Гинцингер (1918—2002) прошел войну, имел боевые ордена, участвовал в обороне Сталинграда и взятии Берлина. Вместе они прожили долгие годы, и в самом почтенном возрасте Мария Карловна вспоминала о своем муже с нежностью: «Любовь — дорогое чувство. И я нередко думаю о том, что живу так долго именно потому, что у меня была счастливая жизнь. Продолжительная, более 50 лет, жизнь с Аркадием Гинцингером дала мне понять, какое это замечательное чувство — любовь». В память о муже она написала книгу, изданную через год после его смерти. Писать — было ее второе увлечение, не менее важное, чем геология, и тесно связанное с ней. «Это было в горах», «Высота 2222», «Тайна гор», «Пробуждение богатыря», «В кольце огня», «Марьины коренья», «В Отечественную и после» — все эти художественные и документальные книги были посвящены жизни и работе геологов и часто производили на читателей большое впечатление. Вот как пишет об этом Тамара Воронина: «Знакомство с геологией в детстве для меня началось даже не с рассказов отца — геофизика-полевика, а с нетолстой книжки “Это было в горах”, впервые попавшей мне в руки лет в десять. Книжку я читала до совершенной потрепанности. В ней открывалось так много! И что интересно: увлекавших меня тогда приключений не помню — чуть не целая жизнь прошла, зато помню, что именно оттуда я, например, узнала, что киноварь — минерал ртути (тогда я говорила киноварь), а ртуть так важна для промышленности, что найти месторождение нужно любой ценой. Оттуда я почерпнула и ботанические сведения: аконит ядовитый, и если его подложить в корм лошадям, то лошади умрут». В СНИИГГиМСе (Сибирском НИИ геологии, геофизики и минерального сырья) Мария Карловна проработала с 1958 по 1985 г. На пенсию Винкман ушла в 74 года и до самой смерти (она не дожила до 104-го дня рождения два месяца) сожалела, что не может больше выезжать в тайгу и горы.

Мазымское чудовище

Осенью 1845 г. остяк Фалалей Лыкысов и его подручный самоед Обыл, охотясь в урмане близ реки Мазым, убили необычное существо, описанное ими следующим образом: «Постав человеческий, рост арш. 3-х, глаза один на лбу, а другой на щеке, шкура недовольно толстой шерсти, потонее собольной, скулы голая, у рук вместо пальцев когти, у ног пальцев не имел, мужеска пола». Урманом в Сибири зовут пихтовый или еловый лес — темный и мрачный, в таком только чудовищам и прятаться. Но куда спрячешься от главного хищника планеты — человека? Весть о человекоподобном существе, убитом в лесу, полетела по цепочке: от старшины Тарлика — к священнику Михею Попову из села Полновадкое (ныне — Полноват), от него — к сельскому отставному уряд-

нику Андрею Шахову, далее — в Березовский земский суд, а от судейских — в Тобольск губернатору. Следствие поручили вести заседателю Кожевникову. Но пока тот добирался по бездорожью к реке Мазым, «убийц» и след простыл, а чудовище, брошенное на месте убийства, отыскать без них не представлялось возможным. «Скорее всего, — разводили руками местные жители, — его уже и звери обглодали, а выпавший снег присыпал». Да и не очень-то Кожевникову хотелось шататься по декабрьскому урману! Сославшись на нездоровье и сбор ясака, заседатель отправил на розыски урядника Никифора Ямзина, а сам отбыл в родное село.

Ямзин оказался человеком исполнительным и отыскал виновников переполюха. «Это были, — сообщил он, — Кызымской волости некрещеный самоедин Подарутинской ватаги Обыл, 45 лет, и остяк Деньщиковского отделения Вартлинских юрт Фалалей Анисимов Лыкысов, 32 лет. Обыл объяснил, что вместе с Фалалеем нашли в лесу “какого-то чудовища, облаянного собаками, от коих он оборонялся своими руками: по приближении 15 сажен к боку из заряженного ружья Фалалей стрелял в онога чудовища, которое и пало на землю”». Охотники, по словам Обыла, внимательно осмотрели убитого. Оружия он не имел, ростом был более двух метров, тело покрыто густой и длинной шерстью черного цвета. Не росла она лишь на носу и на щеках. Пальцев на ногах не имел, на руках же они заканчивались когтями. «Для испытания» охотники разрезали тело, подивились на черную кровь и «чудовища сего без предохранения оставили на месте».

Лыкысов с губернским правосудием дел иметь не хотел. Человек — не человек, зверь — не зверь, а убийство есть убийство: неизвестно, как дело со следователем обернется, а береженого бог бережет. Остяк ушел в глухой отказ, полностью отрицая встречу с неизвестным существом. Своему товарищу (как выяснилось позже) он внушил, что убили они самого дьявола, но тот обязательно воскреснет и будет мстить. Урядник Ямзин, записав показания обоих, попытался со слов Обыла найти «место преступления», но тут удача от него отвернулась.

Меж тем в Березове интерес к загадочному чудовищу все возрастал, и Земский суд настойчиво требовал оное разыскать, а Тобольский губернатор, как теперь говорится, взял дело под личный контроль. И то подумать: по вверенной ему государем территории ходит-бродит неизвестно кто и неизвестно с какой целью. «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайяй». Пришлось заседателю Кожевникову тащиться двести верст до Вершинских Мазымских юрт, где проживал Лыкысов. Туда же доставили для очной ставки и Обыла. Шел февраль, миновало четыре месяца со дня происшествия. Допрос Обыла вели через переводчика: русского самоед не знал. Заседатель мягко увещевал аборигена, «чтобы он ни малейше не имел в мысли своей какого-либо подобострастия, как к бывшему хозяину своему (Фалалею), так по нехристианству суеверного мщеница (от считаемого им, Обылем, дьявола) чудовища, которого застрелил его хозяин Лыкысов».

Запутавшись, кому верить, а кому нет, самоед пообещал отвести на место убийства. Была собрана и отправлена экспедиция в составе обоих виновников происшествия, заседателя, урядника, одиннадцати остяков и двух самоедов. Но уже в пути «случился совершенно неожиданный оборот. Самоед Обыл, когда потребовано было от него указать место, где убито чудовище, сказал, что ничего нет». Как ни упрашивали, как ни угрожали ему, страх перед дьяволом оказался сильнее. И кто знает, может, остяк Фалалей Лыкысов сам верил, что убил дьявола?

Черное трюмо



Когда с заснеженных сопок на Читу сползает ночь, в доме по улице Амурской начинают гулять сквозняки. Это продолжается долго, словно залетевший ветерок не знает, как выбраться наружу. Среди зимы он приносит сочные ароматы прелой листвы, дегтя, свежих яблок, раскаленного асфальта, резких духов. И черное трюмо в одном из помещений здания оживает женским лицом с усталыми кругами под глазами. Щеки женщины бледны, черты резки, а с коротко остриженной головы сползает на затылок выцветший платок. Поначалу невозможно разобрать ее невнятное бормотание, но затем лицо искажается гримасой и среди потока бессвязных звуков отчетливо слышно восклицание: «Будьте вы прокляты!»

Кем была женщина, проклавшая двухэтажный кирпичный особняк на улице Амурской? Среди легенд, что бродят по мостовым Читы, заглядывая к ее жителям на кухни и в спальни, есть история про меднокосую Катерину, вышедшую замуж «убегом». В старой Сибири — кондовой, патриархальной — «свадьбы убегом» не были редкостью. Случалось, молодые уходили из села, противясь воле родителей, решивших поженить их по расчету, а не по любви. Бывало, и родители знали о побеге заранее, не имея за невестой приданого и денег на шумную деревенскую свадьбу. В чужом селе или крошечном городке жених с невестой шли в церковь и, подкупив священника, тайно венчались. В местной лавке брали они вина и хлеба и устраивали скромный свадебный пир на двоих. И первая брачная ночь их проходила где-нибудь в заезжей избе на чужих простынях.

Катерина была сиротой и жила со старой бабкой. Выросла она девкой выскокой и статной, а на косе ее можно было таскать ведра с водой. Чем длиннее та становилась, тем сильнее отличалась от волос на голове: на макушке они чернели смолью, а на кончике косы горели рыжей медью — будто огонь сбегал вниз по плетеному канату. Ни один мужчина не мог устоять, чтобы не представить, как разлетается этот огонь по плечам.

— Огневушка в твоих волосах поселилась, — говорила ей бабка. — Смотри не отрежь! Она удачу приносит.

— Кто это, Огневушка? — спрашивала Катерина, но бабка в ответ только отмахивалась. Может, и сама не знала.

Приданого за девушкой не было, и когда сын кузнеца захотел взять ее за муж, родители его воспротивились. Скрывшись, молодые сыграли «свадьбу убегом» да подались подальше — в Читу. Привязав к себе железную дорогу, город быстро рос: открывались заводы, строились каменные дома, тянулись к ним телефонные провода. Муж Катерины задумал открыть колесную мастерскую: хотел ремонтировать экипажи и кареты и выбиться в люди, став человеком обеспеченным и уважаемым. Был он на все руки мастер, но угловат и косноязычен, и когда обратился в банк за ссудой, получил от ворот поворот. Некоторые мечты горят столь ярко, что мешают разглядеть реальность. Можно было устроиться на железную дорогу или пойти работать на завод, но молодожены так часто разговаривали о будущей мастерской и столь ярко рисовали ее в своем воображении! Катерина представляла, как бежит с обедом к мужу, а он рисовал в своей голове полотна, полные стука молотков и скрипа колес. Теперь все это рушилось.

Следующим утром по городу гуляли ветра. Они несли ароматы прелой листвы, дегтя, свежих яблок, раскаленного асфальта, резких духов. Они подни-

мали с мостовых сор и обрывки газет, срывали с прохожих шляпы и заставляли солидных господ бегать за ними, словно гимназистов. Извозчики успокаивали лошадей и даже закрывали им глаза шорами, словно на скачках — от поднятой пыли. Катерина возвращалась из пекарни, когда к ней подошла женщина и попросила продать волосы. Девушка хотела пройти мимо, но названная сумма поразила ее — цифра была фантастической! Она потребовала деньги вперед, и они были выданы — вся сумма, без обмана. Из дома покупательницы Катерина вышла с короткой стрижкой. Без косы она чувствовала себя голой — и, по сильнее завязав платок, поспешила домой. Но не успела пройти и двух кварталов, как из подворотни выскочил подросток, выхватил сумочку с деньгами и бросился бежать. Истошно крича, она бросилась следом, но грабитель нырнул в один из переулков и скрылся. Что было делать бедной женщине? Удача отвернулась от нее. Заплаканная Катерина едва добралась до комнаты, которую молодые снимали у доброй хозяйки. Со страхом ожидала она возвращения мужа, но тот все не шел и не шел. Ночь тянулась долго — вот забрезжил поздний сентябрьский рассвет, а любимого все не было. Затем появилась полиция, и хмурый сыскарь с давно не стриженными бакенбардами принес страшную весть: мужа Катерины убили в драке на Сеннухе — площади, куда крестьяне окрестных сел свозили на продажу сено для скота. Драку видели многие, так что удалось установить даже точное время: смерть наступила ровно в тот момент, когда женщине отрезали косу. От этого жуткого совпадения у нее помутился разум.

Безумная Катерина, как прозвали ее горожане, приходила к дому на Амурской каждый день, проклиная банкиров. И столь сильна была ее ненависть, что даже после смерти женщина продолжала являться призраком в зеркале старинного трюмо. Банк скоро покинул здание, а сегодня там размещается краевой психоневрологический диспансер. Существует поверье: в самую ветреную ночь года безумная Катерина оживает и выходит на улицу. В ее руках — острые ножницы: она ищет длинноволосых женщин и отрезает им волосы.

Остров времени

В утренних туманах блуждать безопасно — они густы и манящи, но совершенно безобидны. Заблудиться в туманах времени гораздо печальнее: можно нечаянно угодить в чужую эпоху. В позапрошлом веке село Камень (ныне — Камень-на-Оби) разбудил среди ночи ужасный рев. Рычал зверь, но ни один каменский охотник (а их было немало) никогда не слышал ничего подобного. На следующий день только и разговоров было, что о дьявольском вздохе, услышанном сельчанами. И о невероятном рассказе местного попрошайки, пропавшего и никчемного пьяницы. Он клялся и божился: мол, видел, как по острову бродил сказочный Змей Горыныч ростом с самые высокие деревья. Речные острова у Камня с давних времен пользовались дурной славой. Ходили слухи о колдовском камне, издающем странный звук, похожий на жужжание пчелы. К этому камню в древние времена плавали алтайские шаманы, отправляясь в Нижний мир, но сколько ни искали его смельчаки — найти так и не смогли. Еще рассказывали о незнакомцах, что время от времени появлялись на островах: они отчаливали от берега на деревянных лодках, узких и длинных, и при виде современных моторок вскакивали в испуге, крича и размахивая руками. Странные это были люди — малорослые, темные лицами, с визгливым выговором, не похожим на тюркские языки. «Как собаки лаялись», — сказывали очевидцы. А зимой, когда обские воды сковывал лед и острова превращались в снежные холмы,

поднимался порою над ними дым, словно от больших погребальных костров. Но если бы кто-нибудь захотел проверить, то не нашел бы ни костровища, ни человеческих следов.

Владельцы маломерных судов иногда замечали на Оби битую «Казанку» без номерных знаков, плывшую против течения на слабеньком «Ветерке». Були делали ее похожей на ракету, на последнем вздохе вырвавшуюся из плотных слоев атмосферы в космос. Лодка везла людей на острова, а через некоторое время — пустая, без единого человека на борту — возвращалась обратно и исчезала, не доплыв до берега. Одни сказывали, «Казанка» — зеленого цвета, другие — серого, а третьи доказывали, что каждый раз она появляется из разного времени, оттого и разного цвета. Ее владельца, мол, подрядили перевозить пассажиров, сулили большие деньги и договор на долгие годы, да не предупредили, что за странных существ придется доставлять на остров. И однажды лодочник увидел такое, что тронулся умом и утопился. Но лодка его, согласно заключенному контракту, продолжает исправно возить на острова и обратно загадочных пассажиров.

Могила сибирского Озириса

Среди мифов Древнего Египта есть история ритуального убийства бога Солнца Озириса богом хаоса Сетом — свирепым воином с головой осла и кроваво-красными глазами. Сет разрубил врага на тринадцать частей и в беспорядке разбросал по свету: повелитель плохой погоды и песчаных бурь хотел лишить Землю тепла и света. Планета стала остывать, превращаясь в мир мрака и безжизненного холода, но Изида (жена Озириса) собрала останки мужа и оживила его. В IV веке н. э. на территории нынешней Новосибирской области неизвестные злодеи попытались воспроизвести этот древний ритуал и устроить конец света, но, видно, что-то пошло не так. Выяснилось это на исходе девятнадцатого столетия, когда в Каинском уезде Томской губернии археологами проводились раскопки курганов. В одном из курганов «проф. Чугунов... обнаружил... странные похороны. Тело оказалось разрублено на 14 кусков, разбросанных по могиле без всякой системы относительно стран света, по которым ориентировался профессор. Факт разрубания трупа на части, заботливое и прочное устройство могильного склепа, а равно насыпание громадного кургана — все это говорит за то, что похороны сопровождался определенным ритуалом, характерно близким к мифу об Озирисе и Изиде...» Личность «сибирского Озириса» осталась тайной, но кем бы он ни был, конца света не случилось. Оно и к лучшему.

Портрет богатыря

В XIX в. среди тюркских народов Енисейской и Томской губерний ходили рассказы о великане Кангзе, отчаянно сражавшемся с русскими. Одни сказывали, что враги опоили его несколькими бочками вина, другие — что подцепили железными крюками. Особенно популярны такие легенды были у сагайцев. И вдруг в 1890 г. по тайге со скоростью ветра разнесся слух: сохранился портрет Кангзы — одному славному сыну сагайского народа удалось похитить его у русских! К стойбищу хранителя портрета потянулись ходоки, люди хотели хотя бы одним глазом увидеть черты своего героя. Приезжали из самых дальних селений, сплавливались по рекам, спускались с гор, выходили из глухой тайги. Увидевшие лик Кангзы описывали его портрет в подробностях: мол, русским пришлось

связать богатыря спящим (так как он в десять раз больше обычных людей) и приставить к его телу лестницу, чтобы закрепить узлы. История эта завершилась неожиданно: портрет увидел человек грамотный и объяснил остальным, что это рисунок из книжки о приключениях Гулливера. Забавный случай этот рассказан в сборнике, вышедшем к 70-летию Г. Н. Потанина в 1909 г.

Брат Моржей

В 1928 г. путешественник Е. В. Хокес опубликовал в английском ежемесячнике *The Wide World Magazine* занимательный материал о жизни среди эскимосов Берингова пролива. Описал он и знаменитого колдуна Игносетута по прозвищу Брат Моржей, которого аборигены призывали, когда им грозила голодная смерть: «Эскимосы уверяли, что он жил среди моржей и знает их язык. Действительно, своими выдающимися клыками он был более похож на моржа, чем на человека... На море стоял страшный туман, сквозь который ничего нельзя было разглядеть. На острове уже начинался голод, так как все запасы были съедены. Игносетут должен был торопиться, ибо скоро его искусство могло стать уже лишним: эскимосы могли так ослабеть, что были бы не в силах убивать моржей, если бы даже они появились. Старик удалился на высокий утес на берегу острова. Он не позволил никому быть около него, и сквозь туман были слышны только его зазывающие, призывные крики, глубокие и заунывные, как плач сирены. Они разносились далеко по морю. В этот день не появилось ни одного животного, но эскимосы легли спать в полной уверенности, что завтра моржи придут. Утром туман поднялся. В море уже виднелись черные точки — это были вожаки моржовых стад, с которыми, по мнению эскимосов, всю ночь беседовал Игносетут. Скоро появились и стада: эскимосы были заняты в течение четырех недель охотой. Угроза голода миновала».

Обской кит

Водятся ли в Оби киты? Читатель, пожалуй, пожмет плечами, а то и покрутит пальцем у виска — и окажется неправ. По крайней мере, один кит в Оби водился: он был найден мертвым в 1932 г. на берегу Обской губы, между факториями Тимбей и Се-Яха. На побережье морей такое не редкость, в том числе и на побережье Северного Ледовитого океана, но в частично пресноводной речной губе?! Такой случай науке ранее был неизвестен. К моменту находки труп морского животного оказался обглодан песцами — северный пушной зверек пришел к морскому гиганту не только в переносном, но и в прямом смысле. Хозяйственные ненцы, заметив это, порубили останки туши на куски и в течение нескольких лет использовали для песцовых ловушек. Единственное, что осталось от бедняги кита, — его «усы». Их заполучил краеведческий музей Салехарда, где они, возможно, хранятся и поныне.

Корова

Первый звонок сотрудники МЧС г. Снежинска приняли за шутку: мужчина утверждал, что на девятом этаже его дома застряла корова. Дежурный посоветовал меньше пить и не хулиганить. Однако «хулиган» оказался настойчив и тут же перезвонил.

— Она не может сдвинуться с места, — уверял он. — Застряла между этажами и мычит!

Выругавшись, дежурный положил трубку. В МЧС люди звонят, когда произошло что-то серьезное, иногда счет идет на минуты, а тут какому-то шутнику вздумалось дурачить их со своей коровой. Однако ругань не произвела на «шутника» должного впечатления: следующий звонок снова был от него. Такая настойчивость убедила дежурного принять вызов и отправить наряд спасателей по названному адресу. Каково же было их удивление, когда они действительно обнаружили корову между восьмым и девятым этажами! На лестничных площадках толпились жильцы, но никто не признал животное своим и никто не мог объяснить, как оно сюда попало. Буренка намертво застряла между стеной и лестничными перилами. Задача вытащить животное оказалась не такой уж и легкой: один спасатель тянул за веревку, болтавшуюся на шее, а другой толкал в пышные коровьи тела сзади, рискуя в любой момент получить в лоб «коровьей лепешкой». Полтора часа (!) сотрудники МЧС выводили животное из подъезда. Едва оно показалось на улице, как к ним бросилась хозяйка злополучной коровы. Она уже и не чаяла увидеть кормилицу, полагая, что ту похитили. Оказывается, буренка была отпущена пастись на лужайке, пока хозяйка бегала по магазинам. Что уж там привиделось несчастной корове, зачем она полезла в подъезд — бог ее знает!

Нулевой день

Необычный случай борьбы человека и бюрократии произошел на Камчатке. 84-летняя жительница обратилась в краевой УФМС с просьбой о замене паспорта. В прежнем документе датой ее рождения было 29 февраля 1930 г., но компьютерная программа не нашла такой даты в мировой истории: год не был високосным, а значит, никакого 29 февраля в нем быть не могло. Тут бы и человек крепко задумался, что уж говорить о компьютере? Тот дал сбой и проставил в новом документе дату 00.00.1930 г. — иными словами, нулевой день нулевого месяца одна тысяча девятьсот тридцатого года. Старушка принесла свидетельства о рождении и о браке: в обоих документах стояло злосчастное 29 февраля. Но как она ни просила исправить ошибку, сотрудники только разводили руками и отказывались менять паспорт.

Пришлось обращаться в суд. На счастье бедной женщины, судья оказался дотошным и не стал относиться к делу формально. Оказалось, что 26 августа 1929 г. Совет народных комиссаров СССР принял постановление «О переходе на непрерывное производство в предприятиях и учреждениях СССР» (в газетах это называли «непрерывкой»). Год был поделен на семьдесят две недели по пять дней (оставшиеся пять сделали праздничными), в каждом месяце устанавливалось по тридцать дней. Календарь оказался довольно запутанным (у разных групп рабочих были выходные в разные дни, что превратило общественную жизнь в настоящий бардак) и продержался лишь два года. Более того, в отпечатанных календарях на 1930 г. не было ни 29-го, ни 30 февраля. Но, видимо, в загсе, регистрировавшем новорожденных, они все-таки отыскились. Установив сей факт, Камчатский суд обязал УФМС выдать паспорт с прежней датой рождения.

Екатерина КРАСАВИНА

ВСЮДУ ОН БРАЛ МЕНЯ С СОБОЙ...

Главы из воспоминаний*

* * *

Зимой мы приехали в Конаково, и ровно через год, в декабре, я ушла в декретный отпуск и теперь отдыхала по праву, на законных основаниях. Мужу очень нравилось, что я всегда дома и занимаюсь шитьем: готовлю пеленки и распашонки.

Отношения со свекровью в эту пору улучшились.

Однажды вечером, это было уже в феврале, я почувствовала, что у меня разбалывается живот. Мы сидели все за столом, играли в карты. Ничего я никому не сказала, стали укладываться спать. Юра, слышу, уже уснул и мирно посапывает рядом. Затихла и мать. В доме мирная тишина, а я не знаю, что мне делать. И чувствую я, что не заснуть мне нынче. Так никогда еще у меня ничего не болело. Я встала и сидела рядом с Юрой, маялась, живот внизу разбалывался все хуже! Жаль было Юру будить, у него как раз первый сон.

Однако, думаю, как бы мне тут не перемудрить. Стала будить мужа.

— Юра, просыпайся. Вставай.

— А? Что такое? Зачем? — он ничего не понимал.

Было три часа ночи.

— Надо нам идти... У меня, кажется, начинается.

Он тотчас вскочил как ошпаренный, будто я сказала, что горим, пожар.

— Тише ты! Ничего не случилось. Не торопись, мы успеем.

Сначала шли мы по улицам, иногда утопая в рыхлом снегу, я впереди, Юра за мною следом. Слава богу, через реку Донховку была протоптана тропинка, но спуск к реке был крутой — лед в феврале оседает до самого дна. Муж поддерживал меня, и мы съехали вниз по скользкой горке в русло реки. Тропинка пролежала наискосок через реку, как раз к родильному дому.

Я шла и ни на что не жаловалась. Когда начиналась схватка, я останавливалась и просила постоять немножко, переждать. Юра обнимал меня. Нет, я не тревожилась, почему-то знала, что все еще не скоро будет. Главное — пройти. И мы опять шли.

И вот добрались, поднялись на деревянное крылечко, постучали. Дверь тотчас открыли, будто ждали нас. Меня впустили, а Юру попросили подождать на улице. Он стоял и ожидал, а чего — неведомо. Минут через пять дверь открыли и подали ему мои валенки, пальто...

* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2019, № 5.



Он потом мне рассказывал, что шел обратно по реке, по той же самой тропинке, и чувство у него было столь сиротливое, будто похоронил меня, и вот ему вернули только мои вещи. А разлучили нас впервые. Около года мы с ним прожили так тесно, всегда вместе. Мы даже на работе каждый день встречались.

А я, оставшись без него, оказалась во власти медсестер. Мне некогда было думать о муже. Мне даже нравилось, что я теперь окружена заботой других людей и не надо о себе беспокоиться. За меня тут решали всё.

Медсестра проводила меня в палату, указала на кровать:

— Поспи пока, если сможешь. Надо беречь силы. Рожать еще нескоро.

— А сколько еще ждать осталось?

— Ну, не раньше как после обеда. Отдыхай пока.

И тут неожиданно появилась Зина, знакомая по работе. Мы же с нею вместе дожидались декрета, были легкотрудницами и дохаживали вместе. Я окликнула ее:

— Зина, подойди! Это я.

— А, Катя! Ты уже здесь! — сказала она весело.

Вид ее, такой будничной, такой здоровый и беззаботный, еще более приободрил меня.

— Кто у тебя родился, Зина? Сколько дней ты уже здесь?

— У меня Сережа, сын. Все хорошо.

— Ой, Зина, а страшно тебе было?

— Да как сказать... Сначала страшно, потом пройдет. Ничего, не бойся.

Видишь, как у нас тут: все живы, все смеются.

Прошел обед. Сестры поглядывали в мою сторону, но уходили и занимались новорожденными младенцами. Я же помнила, что рожать буду после обеда и не звала их: они же знают сами, когда ко мне подойти.

Наконец я решила позвать кого-нибудь. Что же это нет никого? Вымерли они все, что ли? Почему так тихо?

Я не знала, что уже два часа дня, и в это время у них тихий час. Вот почему никто не показывался. Я позвала, но никто не слышал. Я позвала громче:

— Зина? Матвеева!

Кто-то услышал, встал с кровати. Незнакомая девушка подошла ко мне, спросила:

— Какую Зину вы зовете? И зачем?

— Не могу больше. Пусть подойдет сестра.

Она позвала дежурную сестру. Та пришла, ойкнула и заторопилась:

— Ну что же вы молчите! Скорей, скорей. Пора.

— Чего вы так испугались? — спросила я.

— Рожать пора! Что же ты не звала? Почему молчала? Ай, ай!

Меня подняли и уложили на каталку, повезли в родильную комнату. Мой Сережа родился в три часа дня и пятнадцать минут. Я и тут не забыла поглядеть на часики. Я услышала его могучий ор, рев... Нет, все-таки ор! Он уже был в руках у медсестры.

— Орет как следует! — сказала акушерка. — Настоящий мужик!

— Крупный ребенок, почти четыре, три девятьсот, — сказала медсестра. — Сын у вас, поздравляем.

Мне больше не о чем было беспокоиться: сына я родила моему мужу, как он и заказывал. Мне стало легко, и я крепко уснула.

Мы решили назвать нашего первенца Юрием, потому как молодой отец заявил, что на Руси такой обычай: старшего сына называть именем отца. Я не протестовала. Мне всегда нравилось имя Юра.

И вот принесли мы нашего Юрочку домой — тем же путем, по той же тропинке, речкой. Дома мы положили сына на нашу кровать, за перегородочкой, — детской кроватки у нас пока не было. Юрочка крепко спал, и мы сели на кухне чай пить. Свекровь еще не пришла, была на работе. В доме было натоплено и чисто, мать тут прибиралась, готовилась нас встретить. А мне после больничных палат у нас в доме показалось все очень бедным, и я как бы новыми глазами это отметила. Только теперь обратила внимание: старенькая клеенка на кухонном столе... какая страшная табуретка — мне не хотелось на нее садиться...

— Ах, в какой нищей избе мы живем! — сказала я. — Какое все старое, страшное!

Мне уже не нравилось мыть руки под рукомойником в углу, у выходной двери, — он помятый, позеленевший... и полотенце ветхое, затертое. А в больнице все такое чистое, белое, свежее! Я сказала об этом мужу, он удивился:

— Да у нас же все чисто! Мать тут старалась...

И как же я буду купать Юрочку? Вот в этом корыте, где белье стирали?

Меня тотчас обступили заботы. Я вдруг с ужасом поняла, что мне теперь предстоит все делать самой. Там за меня все делали медсестры: пеленали моего сына, укладывали спать, утром меня разбудят, принесут мне Юрочку покормить и опять унесут. А теперь медсестер нет рядом, а я еще и не пеленала ни разу. Я даже не видела еще своего ребенка распеленатым!

Юрочка тем временем крепко спал дома. Мы подходили к нему, наклонялись над ним, слушали, как он тихо дышит.

— А что же мы будем делать с ним, когда он проснется? — это я спросила.

— Ну, распеленаем, посмотрим, как он выглядит, — это папа сказал.

— Все ли у него на месте, да? Есть ли ручки-ножки... сосчитаем пальчики...

И нам обоим захотелось на него взглянуть. В самом деле! Что там запеленато в одеялке? Молодой отец вообще никогда не видел вот таких маленьких детей. Это я водилась с Таниным Вовкой и Раиным Петей. Но я же их не пеленала, я же была еще сама девочкой и могла только наблюдать, как это делали мои старшие сестры.

— Ну, просыпайся же, хватит спать-то, — сказал папа сыну.

— Ой, страшно, — призналась я. — Вдруг он расплачется!

— Ну, ты же его покормишь.

И верно. Я же мама.

Тут вдруг откуда ни возьмись явилась свекровь. Она отпросилась на работе у начальницы и пришла раньше. Очень спешила и была сильно возбуждена. На меня она не обратила внимания, будто я тут ни при чем, посторонний человек. У нее теперь был внук, она впервые стала бабушкой.

Тут наш Юрочка зашевелился, поморщился и опять чихнул громко.

— Уж не простудили ли вы его? Как несли-то?

Бабушка стала нетерпеливо его распеленывать.

— У тебя же руки холодные, ты с улицы!

— Да ничего! Ах ты мой родимой. Да какой толстенький, — она уже целовала его в щечку и носик, целовала его ручки.

Тут мы не вынесли. Мы и сами-то еще его не трогали...

— Да нельзя его так! — я запротестовала. — В роддоме мы были в марлевых повязках. И целовать нам запрещалось.

— Ну уж... вы чего-то... То нельзя, это нельзя. Что ж, так и будете над ним?

* * *

Со свекровью случались у нас теперь частые ссоры. Ей очень не нравилось, что невестка не работает. Она читала мне нотации:

— А как же мы, бывало?.. И у меня были дети, да я работала! Как же ты думала прожить на свете?!

Я отвечала ей не всегда почтительно, разгорался сыр-бор. Приезжал Виктор из Москвы, упрекал нас...

Мы решили уехать куда-нибудь. Юра уволился из своего конструкторского бюро и поехал «искать место под солнцем» — побывал в Дубне, Кимрах, Калязине, Угличе, Ярославле, Костроме... Везде ему находилась работа, но не мог найти частную квартиру: у кого маленький ребенок, таких квартирантов никто не хотел брать. Вернулся ни с чем и, увы, без денег: истратил на путешествие. Устроился на работу в школе учителем черчения, но ведь было лето, в школу его оформили только с середины августа. Значит, и зарплата пойдет с середины августа. А пока что была середина июня...

От безделья Юра сидел на терраске и часами крутил волчок и думал, думал, как нам быть далее. Обстановка стала уже невыносимой.

Однажды он пришел ко мне радостный и оживленный:

— Собирайся, я нашел для нас квартиру. Сейчас же и перебираемся.

Сборы наши были недолги. А перебираться оказалось всего лишь на соседнюю улицу, к тете Марусе.

До сих пор я вижу эту неприглядную для нас картину: на виду у всех соседей мы несли свои узлы, матрац и одеяло с подушками — к тете Марусе. Через всю улицу! Тут, правда, недалеко, и, может быть, не все и видели, но мне было известно. Будто все соседи глядят на нас из окон и осуждают: вот, мол, у матери не ужились.

Обо всем этом, то есть о наших взаимоотношениях с матерью, Юрий написал потом повесть «Полоса отчуждения» — она была напечатана в журнале «Новый мир». Он там писал:

Ну, когда государство с государством не могут договориться — это более или менее понятно: разность экономических интересов, языков, культур, природных условий и еще множество прочих причин, серьезных и смешных. А если два человека смотрят друг другу в глаза, говорят на одном языке, прекрасно слышат один другого, не имеют злых помыслов — почему же, почему они не могут достигнуть взаимного понимания?

Бедные, бедные люди... За что им такая кара? Чем они провинились? И неужели так будет всегда? Или наступят времена, когда посмеются над веком нынешним, в котором единокровные люди не могли найти путей друг к другу?

Встретила нас на крыльце тетя Маруся, худенькая и маленькая женщина, чуть помоложе нашей матери. Она была в какой-то старенькой юбке, шерстя-

ных носках и в платке неизменном. Тетя Маруся работала на заводе, как и наша мать, — уборщицей.

Сами хозяева жили в кухне, возле русской печи. А в передней части дома никто не жил. Просторная передняя — в три окна! — была убрана, как парадная горница, в ней никто не жил и никто не заходил. Но и нам туда заходить запретили. В той парадной комнате стоял круглый стол и венские стулья вдоль стен. На стульях этих никогда никто не саживал. Новенькие половички завершали убранство.

Нас же тетя Маруся поселила в маленькой комнатке, отгороженной от передней. Тут едва помещалась кровать, у двери притиснули детскую кроватку, оставался еще узенький проход. Тут занимала всю стену печь-голландка. Ее зимой надо было топить (дрова предстояло нам покупать), чтобы обогревать и переднюю пустовавшую комнату.

Тетя Маруся вставала рано, доила корову, потом растапливала большую печь, а мы вставали позже, потому не успевали что-нибудь сварить в той печи. Приходилось потом нам варить на керосинке. Мы обходились в основном супами из пакетов. Покупали готовые каши и кисель в брикетах. Для Юрочки варили кашку манную. Молоко покупали у хозяйки.

Так мы и устроились. Я вышла на работу, меня поставили смазывать машинным маслом сушилы. Я согласилась только потому, что тут могла приходиться на работу в удобное для меня время. Приду рано утром, смажу солидолом колесики у сушилы и уйду. Меня никто здесь не контролировал.

Был август. Вернувшись с завода, я заставала моих мужчин на берегу. Маленький Юрочка играл на одеялке или щипал траву и тянул ее в рот — изучал окружающую среду. А взрослый папа Юра читал какой-нибудь учебник, конспектировал — готовился поступать в Литературный институт.

* * *

Тетя Маруся часто открывала дверь в сени и на крыльцо. От постоянных сквозняков наш маленький Юрочка сильно простудился, у него начался жестокий кашель! Он уже ничего не ел: пропал аппетит.

Нас навестила бабушка. Она узнала, что Юрочка заболел, и теперь уже уговаривала нас вернуться.

— Ну конечно, вам тут тесно!

Мать оттаяла к нам еще потому, что дела наши финансовые наладились: и у Юры зарплата, и у меня. Мы уже даже повеселели: не пропадем!

Мы вернулись в материн дом, поселились опять в маленькой комнатке, за перегородкой.

Юрий преподавал черчение сразу в трех школах. Я работала теперь на сушиле, снимала с форм хрупкие сухие тарелки. И я стала побольше зарабатывать.

Опять мы с матерью уходили на завод, меняясь сменами: если она шла в первую, я — во вторую, и наоборот. Чаще всего я ходила на работу в ночную смену. Мне было так удобней: весь день дома.

Третья смена начинается в половине двенадцатого, а конец работе — в половине шестого, утром. Ночью в цехе так же светло, как и днем. Спать не хочется, работаешь же! И все вокруг работают. Даже весело. Кто-то рядом разговаривает громко, кто-нибудь даже и песни поет.

Пела и я. Особенно где-то часа в три ночи, когда так клонит в сон.

Главным стремлением моего мужа было — стать писателем. Это стремление пришло к нему так рано, что он даже и не помнит, с чего именно все началось. Как будто он выпитал его с первым глотком материнского молока. Но мать его была так далека от литературных интересов! Просто неграмотная женщина. А отец погиб в сорок первом. Кто же ему мог внушить, что он должен стать писателем? Но он знал об этом еще в раннем детстве, и сознание того, что будет он выдающимся человеком, налагало отпечаток на весь его облик.

Почему он вопреки всему любил читать? Кто его к тому побуждал? Мать сердилась, когда заставляла его за чтением книги. Она полагала, что это занятие пустое, если не вредное. Он же читал всегда, особенно длинными осенними да зимними вечерами — при коптилке, при свете огня из маленькой печки. За книгами ходил в библиотеку в соседнее село в мороз и слякоть, зимой и летом.

В его родне, вот хоть бы у Ворониных, книг не читали. Дядя Ваня Воронин удивлялся:

— Что это, Нюша, у тебя сыновья книжки читают, а у нас ни одного не заставишь. Не любят читать, и все тут!

Значит, страсть к сочинительству у Юры — от Красавиных. А вообще-то, свекровь моя — тоже мечтательница да сочинительница, но, так сказать, в устном творчестве. Иногда она употребляла слова бог весть откуда взятые, уж не сама ли придумала их? *Утяпился* — быстро пошел куда-то, *тенято некошное* — недотепа, *озырь упрямой* — непочтительный дурак, *щапливый* — недоразвитый, малоежка, *разботела* — растолстела, *забоженеть* — запустить себя, утонуть в грязи, *изватка* — дурная привычка... и так далее.

Но она была по-своему очень практична. Все ее мечтания — о том, как посадить картошку да вырастить огурцы... да как бы нами помыкать.

Вот разве что отец Юры... Говорят, он выделялся среди деревенских парней: красивый, степенный, и любил петь. А пел он за работой или если шел куда-то — тем и запомнился всем в своей округе. Если б он вернулся с войны и был теперь жив, он, я думаю, относился бы ко мне лучше, чем свекровь: уж мы с ним попели бы.

Вот его портрет сейчас на стене: высокий лоб, прямой нос, взгляд внимательный, губы твердо сжаты.

Наверно, от него мой Юра унаследовал лирические свойства души. Юра и похож очень на отца, такой же высокий гладкий лоб, вихорок, такие же уши, как у отца, — музыкальные! И петь любит, да голос слаб. А вот необыкновенный тембр голоса Юра унаследовал от матушки. Неповторимый, особенный!

С первой попытки поступить в Литературный институт Юрию не удалось: не убедил приемную комиссию.

Несколько рассказов, опубликованных в районных газетах, — это, конечно, маловато. Свои неопубликованные рассказы Юрий посылал в рукописном виде, а переписывать поручал мне, у меня же был детский еще почерк. Может, потому и забраковали его творения. А сам он писал торопливо и подчас неразборчиво: рука не поспевала за мыслью, буковки его рука не выводила как следует.

Поэтому у нас возникла насущная необходимость приобрести пишущую машинку. Но откуда денег взять?

Надо тут сказать, что до той поры я не встречалась с таким механизмом, как пишущая машинка. И печатать, конечно, не умела и даже не пробовала. Я в первый-то раз увидела секретаршу за машинкой — это когда пришла в кон-

тору устраиваться на работу. И вот тут я в приемной увидела, как девушка сидит за столом и печатает. Я ей так позавидовала тогда! Как мне захотелось быть на ее месте. Сидела бы за столом в конторе и печатала...

Не знала я, что «счастья» этого у меня будет в избытке: перепечатывать романы, повести и рассказы мужа.

Наконец мы купили пишущую машинку «Эрика»! Рассказ Юрия Красавина «Хозяйка леса» опубликовали в еженедельнике «Литературная Россия» и прислали гонорар — пятьдесят шесть рублей. Вот его мы и истратили на покупку пишущей машинки — купили в кредит. Это был день нашего торжества.

* * *

На следующий год Юра поступил в Литературный институт, на заочное отделение.

Когда его вызывали на сессию, я иногда приезжала к нему. Он встречал меня на вокзале, мы ехали на троллейбусе в Останкино, там общежитие литинститута. Проходя мимо дежурной, Юра представлял меня:

— Моя жена.

И нас беспрепятственно пропускали.

Он познакомил меня со своими друзьями — с Олегом Пушкиным, Геней Комраковым, Геней Васильевым, Павлом Маракулиным, — они всегда жили в одной комнате. Друзья его были со мной обходительны, ни один из них не позволил в отношении меня ни одной бестактности. Мы всей компанией не раз бывали в ресторанах. Закажем всего вкусного и сидим беседуем.

Мы с Юрой много гуляли по Москве. Бывали в Кремле, в Третьяковке, на выставках, в музеях. Помню, пришли мы в собор Василия Блаженного, а пускали в него тогда только на экскурсию. Собор в тот год открыли как музей. Мы поднимались по винтовым лесенкам, шли по закоулочкам, заглядывали в ниши. Муж мой увлекал меня в каждый закоулок, чтоб там потискать, прижать к себе, пока нас никто не видит, целовал... Он был в этом ужасно несдержан, а я смущалась, я так боялась, что нас застукают!

Есть чудесная фотография — мы с Юрой стоим у Царь-пушки, он обнимает меня за плечи. Муж мой в новом демисезонном пальто, которое так хорошо на нем, так элегантно! Я тоже в новом пальто, мы купили его весной, всю зиму сберегали денежку. Пальто мне мы с Юрой долго искали в Москве, потом стояли в очереди за ним часа три или четыре: тогда были в московских универмагах длиннющие очереди за всем!

А еще мне Юра купил платье. Очень красивое! Шерстяное черное платье с вышивкой и красивой серебристой отделкой по рукавам и воротнику. Платье это такое богатое! А стоило оно, помню, всего двадцать четыре рубля.

Кстати сказать, он мне все покупал, вплоть до мелких вещей, которые жена должна покупать сама. Но Юра любил делать покупки, это была его страсть. Кстати, свекровь рассказывала, что и отец Василий Федорович тоже отличался этим же: все покупал жене сам, любил стоять в очередях и был рад и доволен, когда приносил ей отрез на платье или на пальто «шивиету». С трудом, мол, но «достал»!

Не раз удавалось нам «достать» и билеты в Большой театр: покупали с рук — по три рубля и по пять. В Большом посмотрели оперу «Аида», как раз в этом сезоне пела Ирина Архипова, а Галина Вишневская была в роли пленницы. И обе они такие молодые! Я смотрела на них и слушала зачарованно.

Уезжая в Москву, он писал мне письма, хотя разлука наша продолжалась обычно не более недели.

Катюшенька, свет мой, здравствуй!

Я хочу, чтоб каждая строка письма моего была наполнена нежностью и великой печалью. Нежность и любовь к тебе переполняют меня. Я хожу — как сосуд, наполненный до краев. И печаль моя во мне всегда, когда тебя нет рядом. И я бессилён в одну минуту устранить, уничтожить расстояние, разделяющее нас. И все-таки ты всегда со мной.

Я думаю о тебе тут постоянно (и что это за влюбленность такая! на третьем-то году совместной жизни!). Я хожу по улицам Москвы с думой о тебе. Ты у меня самое дорогое и святое на свете. И сверх всей радости, я имею ещё радость от сознания, что у меня есть это огромное счастье — ты.

Когда я думаю о тебе, мне приходят на память такие моменты, такие мгновения, которые я пережил, может быть, даже не заметив, как я был в это время счастлив. И я, переживая их вновь, вспоминаю просто один кадр: вот ты достанешь посуду с полки, собирая мне на стол... ты только что сидела за столом, встала и тянешь руки к полке через Юрочку. Я вижу этот кадр до галлюцинаций! Наверно, я мог бы описать, как располагаются при этом складки твоей одежды и как свисают на твоё детски-сосредоточенное лицо непослушные прядки. А вот ты снимаешь чулки — склонена, коленочки вместе, и вот быстрое движение сгибаемой ноги, руки у пятки. Лицо поднято и смотрит на меня. И все. Одна только поза. Но, закрывая глаза, я могу наслаждаться этой картиной очень долго. А такого очень много в моей памяти. Теперь ты понимаешь, как я богат?

Ну, это не признание в любви, а писательское упражнение. Именно так и следовало к нему относиться. А вот еще:

Здравствуй, жена моя Катя!

Спешу сообщить тебе грандиозную новость. Дело вот в чем.

Сегодня у нас был творческий семинар. А руководителем у нас некто Панков. Этот Панков — один из крупнейших критиков. Так вот, я на семинар представил свои рассказы «Страна белых кувшинок» и «На рассвете». Комраков сказал, что прежние мои рассказы были лучше. Но мнения разделились. Одни меня ругали, другие восхваляли. А потом выступил Панков и сказал, что он заинтересован моим творчеством. Он сказал, что Юрий Красавин очень даровит. Вот так. Ну просто очень талантлив! Он приводил выдержки из рассказов.

Он сказал, что познакомит меня с редактором нового журнала «Волга» — Н. Шундиком. Нет, ты представляешь? Один из крупнейших критиков страны рекомендует меня редактору толстого журнала «Волга». Это значит, что журнал «Волга» начинает публиковать цикл моих рассказов, что «Волга» зачисляет меня своим автором. Каждому журналу лестно вырастить нового писателя. Поэтому журнал «Волга» ищет молодые таланты.

Знаешь, Катюшка, парни мне отчаянно завидуют.

В понедельник я должен явиться в правление Союза писателей, и Панков там познакомит меня с Шундиком. Этот разговор очень важен для меня.

Публикация в «Волге» очень многое мне даст. Первые номера нового журнала окажутся в центре внимания критики. Да тот же Панков будет писать о нем и обо мне напишет.

Порадуйся за меня.

Твой муж. И очень одаренный писатель.

3 июня 1965 года.

Здравствуй, Катюшка!

С сегодняшнего дня начинается моя слава. С сегодняшнего дня она делает разбег.

Был я нынче в правлении Союза писателей. В. К. Панков оказался крупной шишкой: секретарь правления. А это значит — второе лицо после Леонида Соболева. А Соболев, чтобы ты знала, самый главный пост занимает среди писателей России. Ты это понимаешь?

А вот Шундика на месте не оказалось. Панков за руку отвел меня к секретарше и сказал ей так:

— Запомните, вот это — Юрий Красавин. Молодой писатель, его обязательно надо свести с Шундиком. Скажите ему, найдите его и скажите, что я рекомендую его рассказы. Хорошие рассказы, я их читал.

Секретарша:

— Для его портфеля?

— Да, прямо для его портфеля. Я потом сам с Шундиком поговорю. Найдите его.

Секретарша с ног сбилась, но не нашла Шундика. Наверно, он еще не приехал. Я был даже немного ошеломлен таким вниманием. Посуди сама: на полном серьезе называют меня — «молодым писателем». Вот так.

Видел я Леонида Соболева. Боюсь, что ты его не знаешь. Видел здесь Людмилу Татьяничеву, ту самую: «Полон ягоды подол у лесной поляны...» И видел еще много знакомых писателей. Они тоже на меня с интересом взирали: кто, мол, таков?

Публикация моих рассказов в «Волге» — дело решенное. Хорошо бы Панков еще написал несколько вступительных строчек к ним. Это было бы совсем здорово!

Ну ладно, хватит. Ты не думай, что я тут танцую, как Бальзаминов, — я совершенно невозмутим, мои парни удивляются этому. Я замечаю, как все они переменились ко мне, зауважали. Это заметно. И Пушкин Олег, и Гена Комраков, и Гена Васильев.

Один экзамен я уже сдал на «хорошо». Всё в порядке.

Целую тебя крепко и Ю. Ю.

Май, 1965 год.

Если бы мы с ним расставались чаще, то Юра мне и еще бы писем написал. А мы после никогда не расставались, всюду он брал меня с собой.

* * *

Однажды, когда я приехала в очередной раз к нему, мы пошли в ресторан «Минск», что в одноименной гостинице. Мы пришли туда с трепетом душевным: оба не знали, как пройти, как сесть, как вести себя. За столом были смущены и ужасно скованны. Я, наверное, была в ресторане впервые!

Однако мы хорошо там посидели. Я изучала новые кушанья, напитки, усваивала названия: шербет, оливки, маслины, жульен — это грибы в сметане, зарумяненные, в малюсеньких сковородках... Вкуснота необыкновенная! Салаты вкусные пробовала и старалась угадать, из чего они приготовлены. И так было все прекрасно! Нам наливали вино в бокалы... нас обслуживали... Так непривычно! Так это приятно, когда за тобой ухаживают.

Напротив нас сидел иностранец, молча и деликатно наблюдал за нами, смущал меня невероятно! Юра тоже немного стеснялся. Мы старались все делать как надо. Юра за мною ухаживал: подсказывал что-нибудь, потчевал, хорошие

тосты говорил, подкладывал булочку с икрой. Вино нам наливал официант. Он меня этим очень удивил, мне было приятно.

Да! Я же забыла сказать, что в тот день побывала в парикмахерской и впервые в жизни сделала маникюр!

Мы потом рассказывали о наших ресторанных «кутежах» друзьям в общежитии: Гене Комракову и Олегу Пушкину. Они над нами смеялись: мы в «Минске» «прокутили» аж девять рублей, тогда как они оставляли в ресторане и по тридцать рублей, и по сорок.

* * *

Юра жил весь ожиданием: вот послан рассказ в журнал, в газету — что ему ответят? Понравится ли его рассказ? И когда видел в газете заголовок своего рассказа и свою фамилию, был счастлив и горд. Разумеется, радость его была двойной: от факта публикации и — гонорар же пришлют! Можно что-то купить из самого необходимого. А надо сказать, что за год все вместе его гонорары составляли сумму больше, нежели вся годовая зарплата.

В Москве ему было хорошо. В Литературном институте его все радовало. Он бывал счастлив, когда возвращался ко мне с победами: все идет так, как он и задумал, как ему мечталось. Я видела его радостным, вдохновение не покидало нас в первые минуты встречи.

Но вот проходил день, второй, и мой Юра погружался в домашние дела, возвращался в нашу действительность, наши домашние заботы, тревоги.

Денег у нас не было! И негде взять.

Тут вдруг выяснилось, что мы с ним ждем второго ребенка. Мы же хотели сына и дочь родить. Вот и будет вторым ребенком девочка.

* * *

Так мы жили перед тем, как у нас появилась Леночка. А родилась она при чрезвычайных обстоятельствах.

Я шила. И мне понадобилось со стола убрать машинку и поставить ее на комод, или полукомодник, как мы его называли. И тут я допустила непоправимую ошибку! Я подняла да и поставила на место швейную машинку. Но в руках-то у меня силы мало, я и помогла привычно животом. И совершенно забыла и не подумала, что мне этого делать нельзя! Живот мой как будто оборвался. До этих пор я его не чувствовала и забывала о том, что беременна, а тут он стал словно бы отдельно от меня и сделался вдруг тяжелым. А я еще в этот вечер поливала в огороде — был июнь, я носила с речки воду... Помню, Юрочка попросился на другой берег, я его перенесла, а ведь он такой тяжелый! В общем, не берегла себя.

К вечеру все у меня разболелось: и спина, и живот.

Кое-как я перетерпела ночь, а рано утром ушла на работу. Ведь меня еще в декретный отпуск не отпустили! В поликлинике сказали: рано... недельки через две уйдешь.

А муж мой был как раз в Москве на сессии. У него экзамены. Он обо мне не беспокоился, потому что я хорошо себя чувствовала, легко ходила на работу и даже собиралась с ним поехать в деревню.

И вот иду я утром на работу и чувствую, что идти мне тяжело. Такого со мной еще не бывало. Прислушивалась к себе: может, пройдет? Нет, не проходило.

А до этого дня я очень хорошо переносила беременность, мой живот мне ничуть не мешал. Я ходила легко. Стояла у конвейера и снимала подсушенные

тарелки с форм. Иногда снимала маленькие блюда — эта работа не считалась тяжелой, хотя и она была не для беременной женщины: приходилось часто наклоняться, ставя тарелки на пол — это если на конвейере не было свободного места.

Но потом это случилось... я стала снимать тарелки, но чувствую, что слабость одолевает меня. Пришлось признаться начальнице, что не могу стоять смену.

— Ой, как же теперь? Может, еще поработаешь?

— Нет, не могу.

У меня уже на лбу испарина выступила. Она и сама видит, что со мною что-то неладно, я уже бледная стою, — отпустила.

Пришла я домой и тихо легла в спальне. Свекровь тотчас усекла, что я заболела.

— Ты что?

Я сказала, что у меня болит живот.

— Ну вот, — сказала свекровь и ушла недовольная.

Надо тут сказать, что мы с нею в эти дни почти не разговаривали. Когда я уходила на работу, Юрочка оставался с ней, он дружил с бабушкой, и она с внуком была ласкова, однако же не со мной. Как только она узнала, что я беременна, с тех пор и сердилась.

К вечеру у меня все разболелось еще больше, и я уже понимала, что надо мне идти в роддом на сохранение, но ложиться в больницу мне было не с руки: Юрочку оставить не с кем, ведь бабушка тоже работала. Сообщать Юрию я не захотела, пусть сдаст экзамены, он все равно скоро уже приедет.

Но пришлось-таки идти в больницу. Я оставила Юрочку на тетю Таню, соседку.

Тяжело мне вспоминать все это... Скажу только, что положили меня не на сохранение, а сделали уколы, чтоб ускорить роды.

И родилась моя Леночка. Преждевременно.

Моя Леночка родилась в час ночи и была она столь слабенькой, что даже не пицала. Мои переживания передать вряд ли удастся. Я и тогда вся замерла, чувствуя свою вину.

Моим ребенком занимались медсестры и врачи. Что они там с нею делали, мне неизвестно, они скрывали от меня состояние моей малютки. А когда приносили других детей кормить, то я ждала, что и мне сейчас принесут Леночку, но сестра, неся в конверте очередного малыша, отводила от меня взгляд. Я не спрашивала ничего у них, а тихонько плакала, и все. Я понимала, что с нею не все в порядке и что им трудно ее выводить.

Мой муж приехал на третий день после рождения дочери. Он ничего не знал, не ведал и не догадывался, что ждет его дома! Потом рассказывал...

Подходит он к дому, бабушка сидит на лавочке перед палисадником. Юрочка увидел отца и устремился к нему. Отец его сразу на руки:

— Здравствуй. Как живешь? А где мама?

Юрочка доложил:

— Мама в больнице.

Отец ему замирающим голосом:

— Она на работе. Ты оговорился, милый!

Тут бабушка подсказала:

— Ну-ка, скажи папе, кого тебе мама в больнице купила.

Огорошенный муж мой тотчас ринулся в роддом, а там его успокоили так:

— Все хорошо, не волнуйтесь. Мама здорова, а девочка, может, и выживет.

Как это «может, и выживет»? Значит, она может и умереть? Еще медсестра сказала, что девочка активная, так что есть надежда.

С Леночкой мы пробыли в роддоме сорок дней. Юра приходил ко мне каждый день. Меня отпускали с ним на часок-другой погулять... мы обсуждали наше положение, а оно осложнялось все более.

Как говорится в народе, беда не приходит одна. В середине августа Юрий вышел на работу, и тут его огорошили: отняли уроки черчения в двух школах и оставили одну только ближнюю, в которой у него было мало уроков. Значит, получать зарплату он будет теперь всего шестнадцать рублей...

* * *

Все эти годы — с 1960-го по 1966-й, пока жили в материнном доме, мы мечтали куда-нибудь уехать. Да ведь и не только мечтали, а предпринимали такие попытки! Я писала ранее, что Юрий ездил в Кимры, Углич, Ярославль, Кострому, потом в Новгород. Ездил в Москву в какое-то учреждение, ведавшее набором рабочих в Сибирь и на Крайний Север, чтобы завербоваться. Он готов был ехать хоть куда, лишь бы ему пообещали, что там у его семьи будет крыша над головой.

Ничего у него тогда не получилось. И слава богу! А то угодили бы куда-нибудь, где Макар и телят не пас. Берегла нас судьба.

Когда Юрий стал работать в «Калининской правде», он опять же просился куда-нибудь собкором, рассчитывая на то, что там дадут нам жилье. И ему обещали, что направят работать собкором, сначала в Торжке, потом в Бежецке, но все как-то неуверенно. И вдруг сверкнуло: Осташков!

Где находится этот Осташков, я понятия не имела. Да ведь мне было все равно, куда уезжать, лишь бы уехать. Юра сказал, что Осташков — это городок на озере Селигер... Название такое красивое: Селигер. Все решилось: едем в Осташков!

Рано утром — это было в конце ноября 1966 года — к материнскому дому подъехала большая грузовая автомашинка. Мы тотчас — с воодушевлением! — стали выносить вещи.

С тем же воодушевлением, надо отметить, нам помогала мать: наверно, она тоже была рада, что мы уезжаем, и у нее наступит, как она говорила, «спокойной дорогой». Да, конечно, ей теперь будет без нас жить хорошо, спокойно.

Шофер залез в кузов и принимал у нас вещи: детскую коляску, детскую кроватку, потом корзину с посудой, старательно придвинул к стенке кузова этажерку книжную и кроватку детскую...

— Вы бы сначала выносили крупные вещи, — сказал он, — а потом уж мелкие. Мне тут надо все уплотнить.

Мы вынесли Юрочкин диванчик и узел с одеялом да подушками да нашу новую кровать. После чего сказали:

— Все! У нас больше ничего нет.

— Как все? — опешил он. — Зачем же вы заказали такую большую машину? Вам хватило бы и маленького грузовика.

А не ради большого кузова был взят этот грузовик — редакция оплачивала, не мы! — а ради обширной кабины, чтоб всей семьей уместиться. Мы уселись все в кабину: Юрочка у папы на коленях, а Леночка у меня — прижалась и замерла, затихла.

Во время хлопот я совсем забыла о свекрови. Мы даже забыли с нею проститься, уже готовы были тронуться в путь, мать стояла в калитке, махала нам рукой, поднесла край передника к глазам. Не знаю, сколь искренними были ее слезы, а мое сердце в эту минуту замерло от радости: наконец-то свершилось! Мы покидаем этот дом.

Это же только в моем повествовании все просто да быстро: вот решилось с Осташковом... вот мы уже получили квартиру. На самом же деле, если почитать Юрин дневник, оказывается, что было все и хлопотно, и нервно, по крайней мере для него.

Вот его записи в дневнике еще в октябре, когда мы еще живем у матери:

Мое пребывание в Осташкове оставило тягостное впечатление. Было холодно, я так озяб, что жутко вспомнить. Самая безрадостная пора осени, когда все кругом голо, уныло. Селигер — это огромная перепаханная волнами равнина тяжелого свинцового цвета.

Был я у мэра, а он спешил на исполком, поговорить с ним хорошо не удалось. Он сказал, что квартиры мне пока нет. Подождите, мол, до конца месяца, может, что-нибудь придумают.

Разговор с первым секретарем горкома я тоже воспринял как крупную неудачу: ничего конкретного он не обещал.

Я отправился гулять по городу, а заодно и поискать частную квартиру...

Хлопоты в областной газете, где он работал... телефонные звонки... ожидание в приемных высоких чиновников... поиски крыши над головой в каком-нибудь частном доме...

Однако вот результат: мы получили первую в своей жизни квартиру — в городе Осташкове, на улице Рябочкина, на втором этаже деревянного дома с печным отоплением.

Если б теперь поселить нас в тот дом, в ту обстановку, мы восприняли бы это как катастрофу. А тогда мы были просто счастливы. Лучшего жилья мы до сих пор и не знали.

Все относительно на белом свете!

Трудно вообразить более грязную улицу, чем улица Рябочкина в Осташкове. Она была с трудом проходимой и, увы, непроезжей. Грязь глубочайшая! По сторонам дороги — канавы с водой, глубокие колеи тоже заполнены водой. Дома самого деревенского вида, и только один двухэтажный — это наш дом.

Входишь в ворота и попадаешь в обширный двор с помойкой и дровяными сараями. Поднимаешься по крутой лесенке на второй этаж...

С лестничной площадки попадаешь в темный коридорчик, двум жильцам не разойтись. Две двери рядом, в тесном соседстве, одна из них, двойная, — в нашу квартиру. И еще одна дверь — напротив, наши соседи теперь! Еще дверца в кладовку, где можно хранить дрова и всяческую утварь. Да потайная дверца, которую разгадаем потом...

В тесном «тамбуре» старуха-соседка ставила керосинку на табуретке, у закоптелого оконца, как раз под нашей дверью, — на ней готовила еду — в основном жарила картошку на подсолнечном масле. Жили они вдвоем с сыном Герой, уже взрослым парнем, в узенькой и тесной комнатке с одним окном.

Наша квартирка понравилась нам с первого взгляда: две комнаты, между ними печка, обогревающая их, окна «на три стороны света» выходили и на улицу, и к соседскому дому, еще окно выходило и к дровяным сараям, на огороды. Под окнами у нас стояла красавица-рябина, высокая, раскидистая.



Подоконники оказались словно лавочки, так низки и широки, на них удобно сидеть и любоваться видами из наших окон. А видно нам было всю улицу, с лужами и колеями, старые покосившиеся заборы, соседние дома и край озера за ветлами. Да высокий забор соседей и их яблоневый сад. А еще наши ворота, канаву и мосточек.

Печку в квартире кто-то наскоро побелил, потолки и стены тоже побелили кое-как... Я оглядела все это критически.

Но, несмотря ни на что, радость и воодушевление владели нами! Теперь-то мы имели свое жилье!

Я принялась хозяйничать на новом месте: замазала глиной коптящую печку, еще раз побелила ее... чего-чего, а замазывать да белить я умела. Взялась вымыть пол, а нет ведра... печку белить — нет кисти... на колонку за водой идти на соседнюю улицу — опять ведер нет, как нет и коромысла.

Юра мой, растопив мне печку, отправился в хозяйственный магазин покупать все, чего у нас не хватало: ведро, умывальник и керосинку...

Я спустилась по крутой лесенке к соседям спросить, где они берут воду. Заглянула на первый этаж и тут увидела в обширном коридоре огромную русскую печь. Из двери боковой вышла ко мне женщина, румяная, полная, назвала себя тетей Шурой. Она предложила мне коромысло и два ведра. Изогнутое это коромысло всегда висело на стене в сенях, оно было общим. И большая русская печь тоже была, оказывается, общей. В ней и я могла испечь пироги, если появится такое желание. Так мне объяснила общительная и приветливая тетя Шура. Ласковая, румяная, она тотчас прониклась симпатией к моему мужу, в тот же день познакомившись и с ним.

— Юрий Васильевич! Вы только скажите, что любите меня, и я вам всегда пироги печь буду.

Это она уж после при мне так пошучивала.

На нижнем этаже, напротив тети Шуры, жили две старушки, каждая в своей норке. С одной из них мы вскоре познакомились, это уже старенькая баба Нюта, она любила маленьких детей, которых ей приносили для присмотра. Потом она водилась и с нашей Леной. А вторую старушку мы видели редко, она была строже, с нами не общалась, потому оставалась безымянной. У нее иногда гостила внучка: мы слышали, как она пела тихонько тоненьким голоском.

Нужен был нам рукомойник, но денег не было. Забегая вперед, скажу, что и потом рукомойника Юра так и не купил: не было его в хозяйственном отделе универмага. Мы прожили здесь ровно три года без рукомойника: поливали друг другу из ковшика над тазиком или над ведром.

В сарае мы имели право на небольшую часть его, там нашли остатки дров от прежних жильцов. На второй же день Юрий договорился, и нам привезли березовых хлыстов. Их нужно было распилить, потом расколоть, потому тотчас сами собой появились во дворе мужички:

— Ты дай нам, хозяин, на бутылку, мы все тебе сделаем. Мы завтра же придем, распилим и расколем.

Наши соседки о том прослышали и пришли к нам — предложили свои услуги:

— Не давайте им ничего! Обманут. Они пьяницы, эти мужики! Деньги возьмут, а потом еще будут ходить, просить. Мы распилим дрова. Вам будет дешевле, а мы это сделаем с удовольствием.



Мы согласились. Подумали так, что мужики-то деньги на выпивку потратят, а этим соседкам, видимо, нужны денежки.

Соседки, небось, приняли нас за богатых людей. А у нас оставалось денег совсем мало. Юрий получил гонорар сорок девять рублей и подъемные, тоже рублей пятьдесят, из которых мы уже заплатили за столик кухонный, который заказали столяру, да книжную полочку... В общем, денег у нас было в обрез.

И вот наши старушки-соседки стали пилить, а мы в окно из кухни видим, как они трудятся на нас. И так нам стало совестно! Так жалко этих бедных женщин! Хотя мы и не виноваты были: они сами напросились. И надо бы нам самим распилить те дрова, но у Юрия и без дров было столько хлопот! И тут нужно не забывать, что он все же собкор, и приехал в Осташков работать на газету, а не дрова заготовливать. Так что некогда ему было пилить.

Юра заплатил соседкам больше, чем следовало, а уж расколол потом сам, и таскали мы с ним дрова в сарай.

Так мы устроились жить на новом месте. Не ахти какие удобства, но зато все свое.

* * *

В первый же вечер, уложив нас спать, папочка наш устроился рядом за столом: разостлал газету (по студенческой еще привычке), разложил книги, карандаши, листы бумаги... Приготовился к ночной работе. Он был теперь с нами рядом, слышал наше сонное дыхание. Это стало одним из самых дорогих его воспоминаний — как он работал ночами, а мы спали рядом.

Над столом он уже навесил новую книжную полочку и расставил на ней книги: первые тома собрания сочинений Паустовского, «Землю Санникова» Обручева, томики Есенина, Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого... И еще четыре толстенных тома словаря Даля. Полочки я украсила вышитыми уголками-салфетками. Книги были единственным украшением комнаты.

У нас еще не было шкафа, верхнюю одежду мы вешали за дверью на гвозди. Плащи и пальто висели прямо на входной двери.

Иногда среди ночи, в полной тишине просыпалась Леночка, и за спиной у папы слышалось:

— Па-па! Пинеси мне касивого ця-аю!

Ее кровать стояла возле теплого бока печки. Она проснется, увидит отца, сидящего тихо за столом, и молча сначала за папой наблюдает: мол, ты не спишь, ну и я не сплю, мы оба не спим, а эти-то спят. Он обернется к ней, Лена радостно и лукаво засмеется. Этакое у них единение. Потом следует тихая просьба-песенка: «Па-па, дай мне касивого ця-аю!»

Он вставал, тихонько приготавливал в чашке «красивого чаю», поил дочку и давал ей печенье. Очень милая картина... Я думаю, что Леночка не столько чаю хотела, сколько папиного внимания.

Так бывало почти каждый вечер или, вернее, почти каждую ночь.

Муж писал для газеты статьи, или готовил контрольные для Литинститута, или писал очередное свое сочинение. Уж все вокруг погасят свет, весь город спит, а наш отец семейства сидит в ночи... Днем он обзванивал три района, ездил в командировки, устраивал нам жизнь — весь в семейных и журналистских хлопотах.

Несмотря на житейские неудобства, нам тут, в этом тепленьком деревянном доме с окнами на три стороны, *захорошело*: теперь мы все вместе, у нас есть свое жилье, мы ведем совершенно самостоятельную жизнь...

Наступил уже конец мая. Мы всей семьей ходили гулять на остров Кличен, там прекрасный лес, натоптанные тропинки, великолепные виды на озеро.

Мы тут и зимой бывали — на саночках возили сюда детей. В праздник Масленицы все тут катались с горок, кто на лыжах, кто на саночках.

И вот летом опять ходили на Кличен, отыскивали уединенные полянки с елочками, гуляли по тропинкам, их здесь было множество, все усыпаны сосновыми шишками. Тут мы узнавали всё новые и новые места. Юра говорил:

— Хорошо бы найти тихое местечко в лесу, чтоб было бревнышко или пеньчек, чтоб сидеть и сочинять. Побродил по лесу, снова сел на бревнышко — и пиши...

И он нашел такое бревнышко, о чем пишет в своем дневнике:

Ах, Кличен! Как я его любил! Вот выйдешь, бывало, из дому и пройдешь до того полуострова по улице, где бывший Житный монастырь. Когда-то и Житный был островом, но во времена былые монахи насыпали дамбу и соединились с материком. А надо бы им еще и до Кличена дамбу насыпать. Это гораздо вернее, чем наплавной мосточек, который часто ломался, или его сносило половодьем...

Место, кстати сказать, разбойное, в общем-то. Караваны шли из Персии к Новгороду, к Ладоге, в Европу, а из Европы — в Персию и Индию. Тут им остров Кличен никак не обойти. Самое удобное место потрясти богатых купцов.

Справа же от гряды высокой, поросшей соснами и овечьей былой травой, и вовсе лес густой. Мы идем мимо зарослей с остатками каменной кладки бывшего когда-то в древности монастыря или еще чего-то. Тут множество извилистых тропинок, усыпанных игольником и сосновыми шишками. Белочки цокают с высоких сосен, стучат дятлы во множестве, здесь ландыши цветут и благоухают фиалки.

Я знаю тут одну тропинку, полюбившуюся мне с первого взгляда. Отступишь в сторону — здесь густые папоротники и огромное дерево с виловатым стволом распростерлось на земле. На нем удобно сидеть в полном уединении и сочинять что-нибудь... Тихий ангел прилетал тут ко мне и оведал распростертыми крыльшками мое чело, побуждая к возвышенным размышлениям. Ну, высота их относительна, конечно, в меру моих скромных сил.

Тут я написал одну из лучших моих повестей — о деревне своей. О страданиях и о любви.

Тут речь о повести «Пастух». Она начиналась так:

После долгих метельных дней, когда казалось, что весь белый свет уменьшился до размеров одной деревни или даже одного дома, когда человек чувствовал себя сиротливым и слабым, впервые выглянуло солнце.

Я же помню и подтверждаю: мой муж начал ее здесь, на острове Кличен, как и повесть «Хозяин». Начало ее тоже было возвышенным и красивым:

Под вечер в полном безветрии начался снегопад. Снег падал бесшумно и неторопливо, ложась пушистым слоем; он слабо хрустывал под ногами и как пух поднимался с земли от тех малейших завихрений, какие производил шагающий человек. Во рту снег таял мгновенно, оставив лишь холодок на языке, — настолько воздушен и невесом он был.

Вольно же было сочинителю, сидя на сосне ясным погожим летним утром, писать о зиме и снеге. Таков уж был замысел повествования. Впрочем, Юра мой любил писать про лето. Вот и сюжеты повестей «Пастух» и «Хозяин» вскоре изменили свои начала и повернули с зимы на лето. Речь там шла о его деревне. Название деревни могло быть разным, а все равно это его Ремнево...

* * *

— А у кого это так чудесно поет девочка? — как-то спросил меня Юра. — Я уже в который раз слышу ее мелодичный голосок, но никак не могу понять, откуда он приходит ко мне?

— Да это же внучка той бабушки, которая с нами никогда не разговаривает. Они живут под нами, на нижнем этаже.

— А-а... Я никогда не видел ее, только голосок слышу.

— Девочка учится в музыкальной школе. А к бабушке приходит в гости.

Тут надо бы вспомнить, что сама я в это лето забыла о песнях. Я уже, кажется, давно о них не вспоминала и даже для своей Леночки не пела. Не знаю почему...

В тот день Юра записал в свой дневник:

Иногда я слышу голосок маленькой девочки. Как чудесно она поет! Такая простая и хорошая песня! Может быть, она сама ее сочинила? Как жаль, что я не могу запомнить мелодию. И как жаль, что не умею записать ее! Что-то очень похожее на колыбельную. Что-то очень задушевное, как раз то, что мне нужно. Как жаль, что забуду... эту чудную мелодию!

Запомнить «чудную мелодию» всякий раз мешала радиоло соседа нашего Геры; он включал ее на полную мощность, чтоб могла слушать и его глухая мать. Включал он это развлечение хоть не каждый день, а по выходным, зато с утра, часов с десяти, и крутил без перерыва на обед все свои любимые пластинки подряд. Мы уже знали весь его «репертуар», но волей-неволей приходилось слушать снова и снова. Гера еще и комментировал, обращаясь к матери под могучий рев радиолы:

— Филармония! Да! Артисты филармонии. Тоже зарплата идет! Ага. А ты что думаешь? Деньги получают, не так просто. А это Утесов. Утесов, говорю! Ага! Еще до войны пел! А теперь в джазе. В джазе, говорю! Музыка такая. Ага.

Потом мы слушали песни Клавдии Шульженко, за нею пели Бунчиков с Нечаевым, потом Русланова с «Валенками», ну и частушки.

Старуха выходила в тесный коридорчик и ставила варить суп или жарить картошку на керосинке у нас под дверью, тогда музыка Геры вырывалась из их раскрытой двери и ломилась в нашу дверь сокрушающим водопадом страстей.

Мы уже ненавидели и Утесова, и Шульженко, и Русланову, и Нечаева с Бунчиковым. Нам хотелось поскорее уйти куда-нибудь, мы одевали детей и отправлялись гулять.

* * *

Однажды приехал в Осташков драматург Александр Володин. Он зашел в редакцию районной газеты, там и Юрий оказался случайно. Их познакомили.

А мой муж обычно всех знакомых приводил к себе домой, привел и Володина. С ними был и Гевелинг, поэт из Калининна, он тоже приехал по какой-то надобности в Осташков.

Пришли они вечером. И вот я собрала на стол — у нас были красные помидоры, сыр, масло, консервы в баночке, кажется, шпроты. А больше-то ничего и не было. Наверное, еще картошка тушеная и огурцы. Разговор за столом был у них очень хороший — о литературе, конечно.

Гость уселся на нашем широком подоконнике, глядел на улицу... Ему все у нас нравилось! И эти низенькие наши подоконники, словно лавочки, и рябина под окном, и грязная улица, и край озера за ветлами. Он всем этим был восхищен. Володин спросил позволения и позвонил от нас к себе домой, в Ленинград.

— Я счастлив, — говорил он в телефонную трубку жене. — Ты не беспокойся, я тут в гостях у хороших людей. И мне тут очень хорошо.

Не знаю, чем уж наш гость, известный тогда уже драматург Володин, был так счастлив? Небось, сравнил наше житье со своим ленинградским — разница была велика. Вот он и осознал в ту минуту себя счастливецем.

А еще как-то, помню, к нам наскоро забежал редактор Лапшин. Он приехал по каким-то делам и вот зашел узнать, как поживает собкор его газеты. Прямо от порога, не снимая плаща, он энергичным шагом прошел к окну, присел на подоконник, потом огляделся у нас и произнес:

— Ну, не сразу, не сразу.

Мы его хорошо тогда поняли по одной этой фразе: мол, не сразу все дается, а надо заработать.

Однако же не могу не отметить, что Лапшин относился к моему Юрию очень благожелательно. Именно благодаря ему Юрий был взят в областную газету, хотя его в Конаково не брали даже в районную. Именно благодаря ему мы так быстро получили эту квартиру на улице Рябочкина.

* * *

Юра снова нашел мне работу — в машиносчетном отделе кожевенного завода.

Пришла я к директору — сидит он в кресле развалившись, большой, грузный и очень усталый человек. Глаза полузакрыты — то ли спит, то ли глядеть на меня не желает. Однако предложил сесть на стул как раз напротив себя. Наконец зашевелился и велел позвать к нему по селектору сотрудников.

К нему робко вошли и расселись по местам начальники цехов и главный бухгалтер. Вот тогда он и спросил ее, испуганную женщину: у вас, кажется, освободилось место оператора? Вот возьмите к себе, обучите.

Так я стала оператором, влилась в новый коллектив, довольно большой. Здесь работали одни женщины, человек двенадцать.

Я набирала циферки, машинка подсчитывала точно, не требовалось моих усилий. Работа у нас была как бы бригадная. Каждый вносил свой вклад.

Перед общими столами лицом к нам сидела наша начальница Галина Васильевна. Нароботавшись, Галина Васильевна поднимала голову и весело произносила:

— Перерыв. Разминка!

Она улыбалась так широко, так искренно, что все отзывались тотчас и прекращали трещать машинками. Отдел затихал.

Шутили так: Аля Орлова звонила куда-нибудь, наугад тыкая пальцем в вертушку телефона, кричала в трубку:

— Это кто? Гостиница... А кто там у вас? Монтажники... Мне монтажника позвоните! Какого? Любого! Скорей, не могу больше ждать!

Ну, тут наши бабы от смеха валяются со стульев.

Лучше всех такие розыгрыши получались у самой Галины Васильевны. Она звонила кому-нибудь и беспрекословно велела выполнять ее поручения. Или очень ласково и вкрадчиво назначала свидание.

Словно молоденькая, разнеженная дамочка, она произносила в трубку:

— Здравствуйте! Ой, кажется, не туда попала. Прямо какое-то колдовство: все время срывается семерка. Извините, ради бога. Надо же так!

С этого момента она входила в роль:

— Звоню мужу Пете, а выпадает такой приятный мужской голос! Вот что телефон творит! Ха-ха. У вас такой бархатный тембр голоса... Вам можно по телевизору выступать. Ха-ха. Ах, что вы! На днях мне двадцать пять исполнится. Ага. Надо бы отпраздновать, но муж уехал в командировку, не скоро вернется...

Далее разговор принимал все более интимный оборот.

Слушать Галину Васильевну было тем забавнее, что мы-то знали того, кому она звонила. В отделе нашем все замирали, старались не нарушать тишины и не вспугнуть романтики. Потом уж смеялись.

Галина Васильевна смеялась вместе со всеми, а смех ее был столь заразительным и будоражающим, что и все остальные не могли удержаться. Насмеявшись, мы принимались работать.

Обедать я ходила домой. От завода шла мимо магазина, заходя в него и покупая хлеб и еще что-нибудь вроде плавленого сырка или пачки маргарина. Пуст был магазин! Товаров в нем раз-два и обчелся: банки трехлитровые с зелеными помидорами, да соль, да спички, да водка дешевая. А что еще можно было купить? Ну, разве что брикеты каши ячневой или перловой.

Мы с мужем разогревали на керосинке суп, жарили картошку, пили чай. Наш обед бывал незатейливым, а вот поговорить, когда оставались одни, мы любили — разговоров нескончаемая череда. Я ему рассказывала, какие новости слышала за день от наших сплетниц, об их шутках во время перерывов.

Сцену с телефонными розыгрышами он изобразил потом в своем романе «Великий мост».

* * *

В мае Юрий окончил Литературный институт. Шел 1969 год.

В журнале «Нева» опубликовали первую повесть Юрия Красавина, которая называлась «Вот моя деревня...». Это было знаменательное событие в его писательской судьбе и, конечно же, знаменательное событие для нашей семьи. Это был своеобразный рубеж.

Помню, прислали гонорар — что-то около восьмиста рублей. Еще кое-какие гонорары прислали. Да завод кожевенный заплатил Юрию за труды его триста рублей. Мы тотчас купили необходимую мебель: шкаф платяной, полукомодник. Еще купили стиральную машину и холодильник.

Тут надо отметить, что купить все это было непросто, особенно холодильник. Такую покупку люди ждали годами. Ну а собору Красавину сделали любезность, а проще сказать — продали «по блату».

Кое-что еще по мелочи купили мы тогда: скатерть, покрывало новое на кровать... новые стулья... Квартирка наша сразу преобразилась!

Удачи вскружили нам голову. Казалось, и далее жизнь пойдет круто вверх, к полному благополучию. Мы на семейном совете решили, что я больше работать не буду. Теперь у нас есть деньги, я могу сидеть дома и печатать на машинке то, что пишет муж. А перепечатывать надо было много: за первой повестью последовала вторая... потом третья... И рукопись сборника надо готовить для издательства «Московский рабочий».

И я ушла с завода без всякого сожаления. В машиносчетном меня не понимали.

— Ну и что? — говорили они. — Ну и написал он книгу, пусть даже еще одну книгу напишет — что в этом такого? Думаешь, что твой муж станет писателем?

— Он уже стал писателем, — говорила я им.

* * *

Есть у нас отличная большая фотография выпускников Литературного института 1969 года. На той фотографии нет меня. До сих пор жалею, что я не встала рядом с Юрой и его друзьями, а скромно выглядываю в окно. С Юрой рядом стоят все его друзья, кого я знала за эти годы, пока он учился. И с самого краешку подошел и скромненько встал замечательный поэт, выпускник этого года — Николай Рубцов.

Вечером был прощальный торжественный ужин. Банкет. И мы с Юрой тут были, сидели с его друзьями, пели песни, было весело и шумно! Мне запомнился поэт Павел Маракулин. Он лучше всех пел те самые песни, которые я любила! Оказывается, он из Вятки. А Колю Рубцова уже куда-то увели друзья-поэты, в другую компанию. После Павел Маракулин всегда присылал нам свои сборники стихов. Хорошие у него стихи, я их люблю читать. Но с Колей Рубцовым никто не сравнится. Это был лучший поэт.

* * *

Неожиданно для себя я побывала в Доме творчества «Голицыно». Вот как это было. Зимой 1972 года к нам приехала погостить матушка. Я пошла опять на завод кожевенный на работу, чтобы только дома не сидеть. Мы в ту пору ждали квартиру, обещанную нам в Новгороде. На заводе я устроилась уже не в контору, а в цех, где кроили рукавицы из лоскутов кожи. Вот я тут и была ученицей.

Работа мне не то чтобы нравилась, а увлекала: здесь было много молодых и красивых женщин, все они за кройкой рукавиц весело переговаривались, и мне с ними было веселее. В перерывах нам в цех приносили из столовой горячие пирожки, пончики, чай в стаканчиках. А еще приходил с баяном парень, художественный руководитель, и мы пели прямо тут, под сводами цеха. Готовились к концерту. Ну, уж это для меня был праздник! Акустика здесь оказалась отличной, голоса звучали великолепно.

Однажды я крою эти рукавицы, и вот — небывалое дело! — меня зовут к телефону. А это мой муж достал меня из Москвы.

— Катя, ты можешь ко мне приехать?

— Когда?

— Да хоть завтра.

— А как?

— Отпросись с работы. Заболел.

А я и впрямь заболела: температура, насморк... Меня отпустили.

Еду я в поезде, а у меня такой кошмарный насморк — света белого не вижу! Такого со мной и не было никогда.

Юра встретил меня на Ленинградском вокзале. И повез меня, а куда — ничего не объясняет: сейчас, мол, увидишь.

Привез он меня в незнакомое место, в село какое-то, недалеко от Москвы. Особняк старинный, весь в снежных сугробах, лес кругом, сосны, ели... Красота, одним словом.

Мы вошли не в главное здание, а во флигель, что рядом был с главным корпусом. Крылечко, дверь, вестибюль... Где-то музыка, где-то за стеной льется и журчит вода. Я ничего не понимала.

— Это куда же ты меня привез? Какие-то тайны... Чем-то удивить меня желаешь?

Верно. Удивить и хотел. Прошли в комнату.

— Это моя комната, здесь мы с тобой, Катюшечка, будем жить. Здесь нам будет хорошо.

Потом сказал, что это Дом творчества писателей и что ему дали сюда путевку почти бесплатно.

И хорошо же мы с ним погостили в этом Голицыне, целых пять дней! В комнате нашей было тепло, а за окном, наоборот, мороз лютой, сугробы намело высокие. Нам хоть бы что. Мы в столовую с крылечка сбежим да по тропинке на другое крыльцо.

Обедали в главном корпусе. Там нам накрывали стол на веранде. И тоже было тепло. Веранда закрытая, застекленная. Большой круглый стол для всех писателей, а их здесь отдыхало немного, человек пятнадцать или восемнадцать всего-то.

Перед обедом к нам во флигель прибежала молодая женщина в белом передничке и белой накрахмаленной косынке. Очень приветливая, улыбчивая. Мы видели ее из окна на заснеженной тропинке.

Она вежливо стучала в дверь два раза:

— Кушать, пожалуйста!

Потом в другую дверь, в третью:

— Кушать, пожалуйста!

И мы шли на веранду, именуемую «кают-компанией», усаживались за круглым столом. А на том столе уже все приготовлено: на закусочных тарелках — ломтики ветчины и сыра, на отдельном столике возле окна — стопкой маленькие тарелки и в блюдах разные салаты, закуски, капуста такая и сякая, огурчики, свеколка ломтиками порезана, морковь потертая, яблочки моченые. Суп подавали в супницах, на выбор — щи, гороховый или молочный.

Вечером каши в горшочках, тоже разные: манная, гречневая, рисовая молочная. К чаю пеклись сдобные пышечки...

Рядом — зал библиотеки. Старинные шкафы от пола до потолка заполнены солидными томами. Музыкальный инструмент, видимо тоже старинный, — на нем обычно играла благовоспитанная старушка, это была чья-то мама, какого-то писателя. Она играла очень хорошо, и было от ее игры так уютно в этом доме! Как мне все это нравилось!

Мне было здесь так хорошо, что я и не заметила, как прошло время. Спохватились мы с Юрой лишь на пятый день: надо бы матери сообщить, где я. Она там уже, небось, думает: куда Катя делась? Куда уехала и скоро ли вернется?

Надо мне возвращаться домой, там Леночка и Юрочка меня ждут...

Мария БУШУЕВА

«КОРОБОК» ВЛАДИМИРА КОСТИНА

В прошлом году томский писатель Владимир Костин за книгу прозы «Коробок» был заслуженно удостоен Шукшинской литературной премии. Книга своему названию точно соответствует: коробок и есть, в котором «что угодно для души», а если серьезно — в книге соседствуют очень разные произведения: повесть «Стрелец», четыре рассказа и исторический очерк «Два метеора, или Томск в 1890 году». В последнем Владимир Костин, перебросив мостик в прошлое, пытается докопаться до истины: почему же А. П. Чехову, город в 1890 г. посетившему, Томск так сильно не понравился, — и, по возможности представив объективную картину, возразить русскому классику. Мне кажется, Владимиру Костину это удалось. Вот лишь два красноречивых примера: томского газетчика Картамышева насмешливый Чехов окрестил Ноздревым — видимо, его сибирские проекты показались Чехову завиральным бахвальством. Но в 1889 г. именно Картамышев «публикует весьма красноречивую брошюру, доказывающую высочайшую для Сибири и для Томска актуальность возведения магистрали» и «становится главной фигурой местного значения в борьбе за нее. Все авторитетное томское купечество поддерживает его». Пример второй напрямую с впечатлением Чехова не связан, но город характеризует: Томск отличался от многих других городов России очень слаженной системой добровольных пожертвований на общественные нужды: «Регулярной благотворительностью занимались не одни богатые. Помогали обществу представители всех слоев населения города, вплоть до уровня “друг — другу”, “сосед — соседу”. ...Все

торгующие откладывали копейки с продаж и еженедельно, в пятницу и воскресенье, раздавали их томской голытьбе... Томская благотворительность распространялась в две, нередко прямо связанные сферы жизни — это нужда человеческая и образование».

В. Костин показывает Томск как город, в котором помощь (при стихийных бедствиях, при потере кормильца в семье, для детей-сирот) была постоянной, искренней и весьма внушительной. Порыв «общей, земляческой солидарности, взаимопомощи, конечно же, достоин всяческого уважения. И что здесь дороже, — задает писатель вопрос, — 300 р. Евграфа Королева или 2 студенческих рубля (все-таки пуд свинины), оторванные от себя юношей-бедняком, сыном небогатого священника, в пользу “братьев во Христе”?» Всем миром строили и Троицкий собор. «Город Томск был посвящен Святой Животворящей Троице». «История строительства Собора, блестяще изложенная затем К. Н. Евтроповым, — рассказывает В. Костин, — долгая и многострадальная. И счастье Евтропова в том, что он не дожил до 1934 г., когда красавец Собор, младший брат храма Христа Спасителя, был взорван и разобран по кирпичикам большевиками». А возведен был собор на добровольные пожертвования томичей: по завещанию вдовы Э. Г. Цибульского город получил 150 тысяч рублей на «строительство нового Собора», С. С. Валгусов, «светлый богач», оставил «на Собор» 30 тысяч рублей. Так же строился и знаменитый впоследствии Томский университет: вложил деньги «золотой» миллионер И. Н. Некрасов, 54 тысячи рублей завещала универси-

тету потомственная почетная гражданка А. Н. Портнова и так далее.

Да, Томск — город ссылки, что накладывало «определенный отпечаток на городские нравы». На момент приезда Чехова город и архитектурно был не богат — «он “ждет” Лыгина, своего демиурга, великий архитектор явится через пять лет», но все же взгляд Чехова, беглый и усталый, не разглядел в нем главного...

В повести «Стрелец» показан другой сибирский город, Мирусинск, в котором легко узнается Минусинск с его арбузами и уникальными помидорами («летом город Мирусинск — южный город»). Но не город здесь главный герой, а «дядя Миша», педагог, директор школы, человек, которому удастся сохранять от центробежных разрушительных сил большую семью: трех дочерей характерной старухи Кошлич, «из чугуевских черногорцев», отличающейся «большим балканским артистизмом», и другую родню. Сюжет прост: охваченная охотой к перемене мест бабушка тайно от родителей забирает маленького внука и уезжает с ним в старый родительский дом, где обитает общая родственница, несчастная Маня, работающая проводницей. Дядю Мишу потерявшие Павлика родители просят найти и вернуть ребенка. Во дворе дома, где мирно проводят время бабушка и внук, на дядю Мишу нападает... петух, о котором читатель узнает, что «он лучше любой собаки двор охраняет, лютый». Раненый дядя Миша звонит родителям, что Павлик жив-здоров, бабушка мирно соглашается вернуться с внуком к дочери и зятю. Наглый петух сварен с лапшой, и дядя Миша отправляется домой, к любимой жене, везя с собой так удачно приобретенные и счастливо спасенные от вора новые чесанки.

...Дядя Миша испытал большое радостное чувство. Он купил себе желанные чесанки, долгожданные и превзошедшие любые его ожидания. Настоящие директорские чесанки, почти белоснежные, с подошвой из крепчайшей лосиной кожи, обшитые по кромкам и лампасно лосиной же ровдугой.

Это было диво, отданное ему за скромные деньги, без всякого торгу. Подарком! Средних лет женщина, миловидная хонгорка, при нем достала их из мешка. Повезло дяде Мише. Опоздай он на минуту, ушли бы чесанки, как ни беден был народ на базаре. Нашелся бы какой-нибудь ответработник с папочкой.

Казалось бы, ничего здесь достойного целой повести не происходит. Однако простая история благодаря мастерству Владимира Костина вырастает от бытового фрагмента сибирской семейной хроники до притчи, поднимаясь от иронии до почти эпической интонации. Это высокого уровня проза, которая, ведя свое начало из родника классики, — через писателей-деревенщиков, — освещена и отблесками Маркеса, но остается полностью в рамках реализма. Особо хорош литературный язык В. Костина, заметившего, что «усреднилось и выровнялось все на полотне жизни, спрятались в нем узелки, и узоры на нем фабричные, и везде говорят однообразно, от столиц до умирающих деревень», но упорно сохраняющего своеобразие собственного стиля.

Мягкая ирония «Стрельца» сменяется сатирой в рассказе «Баба Маша и другие» — о «шалном богатстве», свалившемся на старую сибирскую «староверскую и немецкую» деревню, в которой «приказано учредить для жирных и азартных сибирский Лас-Вегас, гнездо разврата». Сатирой на писательский мир полон и рассказ «Наследство», наиболее, на мой взгляд, слабый в книге: карикатуры на писателей гораздо более плоские, чем остальные образы «Коробка». Герой рассказа сам от литературы далек, хотя пишет письма отцу за его умерших друзей. Конечно, антитеза просматривается: именно герой — настоящий писатель для автора, поскольку не самоупоение и не самовосхваление им движет, а высокая цель: своими эпистолярными сочинениями он спасает от одиночества старика. Бывший «геолог-поисковик, шумный, раскованный, уважаемый всеми и уважающий себя, такой же независимый аристократ

советской эпохи, как северный летчик, корабельный чин или непьющий официант», без этих писем просто умрет... Но из этого рассказа можно сделать главный вывод: высшая цель писательства для В. Костина — не слава, не премии, а спасение человеческой души.

Два других рассказа — «Покорение холма» и «Ласточка с весною» — достойны войти в сборник избранной российской прозы. По сути «Покорение холма» — это притча, ставящая глубокий вопрос перед читателем: ради чего совершается восхождение (здесь целый спектр смыслов), нет ли в самом стремлении взобраться на вершину (холма, горы, славы и пр.) «языческой бессмысленности»? Откуда приходит «роковое желание приступить к тропинке», ведущей все выше и выше? И что найдет человек там, на вершине?

Рассказ «Ласточка с весною» можно без оговорок отнести к деревенской прозе. Даже изба в нем — это целый мир:

В избе стоял цветной, переливающийся дух — вникая в него и, значит, раскладывая обратно, можно было и в крошечной тьме разглядеть не только состав борща, но и весь состав жизни, серединой которой в счастливый день бывает борщ. Видно полати, кадку с квасом, наволочку с сухарями, некрашенный пол, пересеченный кривой полосатой дорожкой, некрашенный стол и маленький облезлый комод, и что в комод, и даже присевший косяк видно, о который нет-нет да бьют затылки отец и мать, а через пару лет будет набивать шишки Саша.

Пока Саша еще мал, с матерью-скотницей ждет он возвращения одноногого отца — ногу отец потерял на фронте. Время — советское, семья — нищая. На самокрутки отцу даже бумагу найти проблема. Единственная в доме книга «Родная речь» не просто зачитана до дыр матерью и Сашей, но заучена наизусть. Когда отец выпивает, он бывает груб, и Саша ждет его с напряжением и затаенным страхом. Но отец привозит мяса, мать варит борщ... В семье воцаряется мир и покой, открывающие Саше внезапно родителей с новой стороны — со сто-

роны тихой и только в эти мгновения семейного лада осознанной нежной любви:

Он вытер слезы и оглянулся на избу: в мягком свете керосинки, разрезанные решеткой окна, маячили размытые тени отца и матери, они сидели бок о бок за столом, положив на него вытянутые руки, и беззвучно разговаривали.

«Мама. Папа», — вдруг сладко, по-городскому сказало в нем.

И страшный конец рассказа: в июле того же года мать Саши умирает родами, а отец накладывает на себя руки.

Критик Станислав Рассадин писал о В. Костине: «Я поражен силой и оригинальностью таланта». Финалист «Большой книги» (2008 г., второе место в читательском голосовании), Костин тем не менее не стал долговременным «проектом» «ЭКСМО» или другого крупного издательства. Одна из его книг вышла в небольшом элитном московском «Беловодье»... Поможет ли изданию книг Шукшинская премия — трудно сказать. В Томске В. Костина любят и ценят, но столичным журналам и издательствам еще предстоит его прозу открыть...

Сочетание мудрости и юношеского порыва, сатиры, иронии и лиризма, истории и современных реалий, бытового и эпического — это писатель Владимир Костин. И конечно, в его прозе, особенно в пейзаже, читатель ощутит то романтическое, поэтическое начало, которое всегда было в русской литературе:

Над землей стоял ровный, вкрадчивый гул — это, наверное, осторожно дышала всей своей немеряной грудью дремлющая осенняя земля. Небо было черное, покрытое одной громадной тучей, в один кусок, но повсюду, неизвестно отчего, были рассыпаны робкие, убогие блески, как будто все звезды упали на землю и догорали холодным бездымным огнем. Саша знал, что это не так, он еще видел сквозь стены и облака, он знал, что за тучей на просторе охраняет звездное небо Полярная звезда, что зеленил свой клочок неба молодой творожный месяц, что сухие, раздражительные зарницы скребут сейчас горизонт, распугивая звезды.

Владимир ЧИРКОВ

ПОРТРЕТНАЯ ЖИВОПИСЬ АЛЕКСАНДРА НОВИКА

Искусствоведческие письма

... Меня в любом изображении привлекает прежде всего внутренне пережитое и обжитое пространство художника.

А. С. Новик

Александр Сергеевич Новик родился в 1949 г. в Тюмени. Рисовал с детства, окончил Тюменское училище искусств (1978). Участник коллективных выставок с 1970-х гг. Персональные выставки с 1999 г. — в Тюмени, Тобольске, городах Тюменского Севера, Кургане, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Уфе, Сочи. Работы находятся в музеях Тюмени, Тобольска, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Кургана, в частных собраниях. Заслуженный художник РФ (2006), член Международной академии графики, член Союза художников (1984). Профессор кафедры искусств Института педагогики и психологии Тюменского государственного университета. Живет в Тюмени.

Сегодня мои письма посвящены замечательному тюменскому живописцу и графику Александру Новик. Его творчество не знает видовых и жанровых границ, а потому делаю «усекновение» — остановлюсь только на портретной живописи. Впрочем, Александр Сергеевич что бы ни писал, он для себя решает всегда одну сверхзадачу — задачу живописного пространства картины. Новик — живописец по рождению, он видит красочную картину мира, в центре которой — человек.

Письмо первое (теоретическое)

Как только заговариваешь о живописной картине мира, так сразу же вспоминаются авторитеты — и первым на память приходит Поль Сезанн, показавший, как можно с помощью краски и формы создавать картину духовного содержания

независимо от предмета изображения — им может быть яблоко, природный мотив, человек или условная композиция. О выдающемся французе из Прованса наш не менее выдающийся соотечественник В. В. Кандинский в 1911 г. писал: «Он... дает красочное выражение, которое является *внутренней живописной нотой*, называемой картиной...»* (курсив мой. — В. Ч.). Другой великий русский мастер, М. А. Врубель, создал форму живописного высказывания, синтезирующую все изобразительные материалы и средства искусства, и уже в молодые годы свое художественное кредо выразил афоризмом: «Форма — главное содержание пластики».

М. А. Врубель — кумир Александра Новика, и из безграничного арсенала синтетического врубелевского искус-

* Кандинский В. В. О духовном в искусстве / Точка и линия на плоскости. — СПб, 2001. — С. 52.

ства тюменский художник взял для себя главное — цвет и свет. Не пренебрегая никакими частями художественного пространства (линия, ритм, фактура и пр.), Александр жестко подчинил все средства конечной профессиональной цели — построению живописной композиции.

Письмо второе (о мужских портретах)

Их немного, но в целом они кажутся принципиальными для понимания творчества Новика. Вот, например, «Портрет старика» (1988) и «Старый скрипач» (1990) — если в «Портрете старика» художник не ставит перед собой сверхсложных пластических задач, ограничиваясь передачей портретного сходства и по-рембрандтовски выделяя светом отдельные детали, то в «Старом скрипаче» угадывается заявка на синтетическое построение холста.

Вытянутый по вертикали формат требует архитектурно выверенного соотношения цветовых, ритмически подчиненных друг другу пятен, кажущихся при этом произвольно набросанными; всем этим живописным оркестром руководит обобщенный и в меру стилизованный, доведенный до «программной» условности, рисунок. Кстати, эти примеры организации пространства характерны и для других работ художника во всех жанрах; можно даже сказать, что жанры, сохраняя свои основные особенности, постепенно начинают приобретать универсальные черты живописной композиции, в которых исключительная роль отведена свету — наравне с цветом.

В «Старом скрипаче» мы видим, как идущий из глубины правого верхнего угла мягкий световой импульс получает развитие в игре световых рефлексов на фактурных мазках по центру и в нижней части холста; свет подобным образом успешно «собирает» все изобразительные средства и приводит к целостной завершенности — картине. «Старый скрипач» важен еще и потому, что указывает место других

работ в иерархии творчества Александра Новика. Так, в «Художнике» (2001) автор ограничивается чарующей своей «загадочностью»* средой, словно забывая о главном герое холста — художнике, создающем это пространство, а пластическое содержание «Художника на пленэре» (2012) неожиданно исчерпывается всего лишь «программным» названием картины.

К ранней поре творчества Новика относится «Летний вечер» (1984) — парный портрет мужчины и женщины, формирующий сложный образ отношений между мужским (грубым, брутальным) и женским (мягким, лиричным) началами. Правая сторона холста — мужская: темные, с яркими всплесками активного красного цвета мужские руки-лапищи, тяжело лежащие на светлом фоне (как удачно найдено белое полуовальное пятно стола!). Левая половина картины — женская: по колориту она контрастна к мужской, светлая, теплая. Мягкие, плавные женские формы со струящейся по контуру линией рисунка окрашены в золотисто-охристые тона, которые считываются еще более активно благодаря соседству глубокого алого пятна, развивающегося в холодные включения синего и белого по диагонали.

Спустя пять лет автор вернется к этому же мотиву в композиции «Двое» (1989), подтвердив квадратным форматом нерушимость вечной темы взаимоотношений мужчины и женщины, но самое интригующее в картине другое: автор создает иллюзию таинственности происходящего, характерную не для традиций русской живописи, но, скорее, для японской эстетики недосказанности и намеков. Тема мужского, женского, чувственного, эротического начала получит развитие во множестве работ Новика, но об этом — в четвертом письме.

* Термин «загадочное пространство» принадлежит Александру Якимовичу. См.: Якимович А. К. О построении пространства в современной картине // Пространство картины: Сб. ст. / Сост. Н. О. Тамручи. — М.: Сов. худ., 1989. — С. 14.

Письмо третье (деревенское)

Истоки рафинированной живописи Александра Новика, как бы это неожиданно ни выглядело, находятся в Зареке — старинном районе «деревянной» Тюмени, откуда художник родом. Глубже погрузившись в ткань его деревенских композиций, начинаешь понимать, что авторский интерес к архаической культуре и быту со временем приобрел исследовательский характер и направлен на постижение глубинных связей между повседневным существованием простого человека и его эстетическим наполнением. Старая Зарека, как и все, что для Новика связано с русской историей (не только в Тюмени, но и в Тобольске, Суздале, Гороховце), в этом отношении — неисчерпаемый источник: старинная деревянная архитектура с богатейшим декором, органично растворяющаяся в природном ландшафте, знаменитые тюменские дымники и флюгеры, тюменские ворсовые ковры с их избыточной цветовой насыщенностью, в свое время покрывшие великого Сурикова, — всего и не перечислить!

Александр Новик, внимательно глядя в обиходные вещи, в привычки людей, в те или иные их поведенческие шаблоны, открывает для себя самое важное: пластическое решение «деревенской» темы. В одну из встреч со зрителями он скажет: «Меня умиротворяют деревянные домишки моей родной Зареки...»

Это признание и есть подсказка, помогающая нам понять творческий метод художника, который он сам определяет как умение пластически поймать свое состояние и сосредоточиться на пластической идее. «Состояние» Новика в «деревенской» теме найдет адекватную реализацию в пластике — объемные, но мягкие, с деликатным включением контуров формы; живописные решения преимущественно пастельных тонов, включающие из пространства картин контрастные цветовые пятна; жесткие ритмы

и острые сопряжения в рисунке, оставляющие, однако, за художником право делать паузы или, наоборот, акценты. Словом, ткань «деревенских» работ сделана профессионально, очень дифференцированно, а по-человечески — нежно, любовно, трепетно.

Добавлю еще, что очень заметны в этих произведениях авторские предпочтения в композиционных решениях. В них действие разворачивается, как правило, фронтально, параллельно плоскости холста, то есть перспектива избирается не ренессансная, прямолинейная и воздушная, а плоскостная — она выстраивается «этажами» от нижнего края картины к верхнему. Изобилие света, непривычное множество деталей (которыми автор в других жанрах «балует» редко), сближенные тона в цвете — совокупность всех средств создает композицию открытую, в которую войти легко и находиться в ней комфортно. Невозможно отказать себе в удовольствии остановиться на двух картинах — «Деревенский сюжет» и «Осень в деревне».

«Деревенский сюжет» (2001) по коллизии повторяет уже известную нам раннюю работу «Летний вечер», где контрасты цвета и острая пластика мужских рук сознательно высвечивали брутальное начало, — но иное мы видим в «Деревенском сюжете»: легкое кружево импрессионистической живописи пастельных тонов растворяет в себе фигуры мужчины и женщины, живописное целое полотна создает на редкость гармоничный и глубокий лирический образ единения мужского и женского.

В композиции «Осень в деревне» (2005) Александр Новик не ограничивается найденным в предыдущей работе пластическим ходом чувственной импрессионистической живописи — он собирает мозаику из интенсивных золотисто-желтых цветов осеннего леса, чьи фактуры вертикально протянуты сухой кистью по вязкой краске, а мажорное звучание холста усиливает холодный регистр разноцветья декоративных плиточек произвольной

формы. Их хоровод воспринимается музыкальным сопровождением, но музыкальность живописи — еще один аспект творчества Новика, разговор о котором я оставляю до лучших времен.

Письмо четвертое (обещанное)

История искусства знает изображение обнаженного человеческого тела с первобытных времен; ныне на живописных выставках «обнаженка» — гостя редкая. В творчестве Александра Новика традиция обнаженных образов не просто присутствует — она имеет свои черты, воспитанные благородным отношением мужчины к женщине.

В деликатной теме женской наготы в искусстве есть два начала: формальное, эстетическое в восприятии и трактовке природы, известное только художнику, и чисто человеческое, эротическое, знакомое всем людям. Баланс между красотой и эротикой и определяет, чем станет работа — совершенным художественным произведением или же ремесленной поделкой (а уж сколько их нынче в этом жанре!).

В работах Александра Новика обнаженная натура несет печать индивидуального восприятия и трактовки. Обнаженных Новик пишет в самых разных композиционных контекстах и средах: в мастерской, на фоне природы, в нейтральном фоне; работы «закреплены» привычными «маркировочными» названиями — «Натурщица», «В мастерской» — и объединены чисто профессиональными интересами.

Так, в вышеназванных работах 1999 г. совершенно очевидно выступают на первый план чисто формальные задачи. В первой композиции решаются соотношения теплого малиново-розового с холодным, ослабленным нежно-лиловым, которые «растворяют» в себе женское тело, а на втором полотне оно выявляет возможности соотношения формы с живописным фоном: господствующий синий, соприкасаясь с телом, виртуозно обогащается теплыми тонами.

К числу редких по своим художественным качествам относится композиция в нейтральной среде «Утро» (2011): по сидящей обнаженной скользит мягкий свет, обволакивая красивое тело, с «грустью» уходит в правую часть картины, захватывая с собой что-то очень личное — по телу и фону рассыпаны цветные пятнышки, как драгоценные камушки. «Утро» — высокохудожественное произведение искусства уровня музейного или же солидного частного собрания.

Думается, на такие работы, как «Утро», «В мастерской» и им подобные, можно распространить авторитетное мнение Д. В. Сарабьянова: «Умение в пластике тела выявить духовные свойства человека — свойство, относящееся к общим принципам искусства».

* * *

В заключение назову две черты, характеризующие творчество А. С. Новика. Первая — художник, изображая человека в любом жанре, преследует всегда одну и ту же цель: дать образ человека как личности духовной. Духовность понимается как этическая ценность, включающая в себя понятия добра и красоты. Его герои гармоничны и решаются через психологически окрашенные образы: они могут быть умиротворенными или мечтательными, но при этом отношение автора порой не исключает иронии («Лето», 1988). Персонажи картин Новика реалистичны, они знают как мгновения драматических тревог, так и минуты радости и счастья. Другая черта относится к эстетической стороне произведений, и в этом отношении портретную живопись нельзя отделить от всех других жанров в творчестве мастера.

В. В. Кандинскому принадлежат слова: «Художник должен иметь что сказать, так как его задача — не владение формой, а приспособление этой формы к содержанию (воспитанию души. — В. Ч.)». Слова звучат как завет, как наказ всем художникам. Александр Новик — один из самых талантливых — следует этим заветам.

АВТОРЫ НОМЕРА

Андреева Анастасия родилась в 1973 г. в Ленинграде. Поэт, переводчик современной фламандской поэзии. Публиковалась в журналах «Крещатик», «Новая Юность» и др. Член редколлегии журнала «Эмигрантская лира». Живет в Брюсселе.

Бимаев Анатолий Владимирович родился в 1987 г. в пос. Солнечный Красноярского края. Окончил юридический факультет Хакасского университета. Работал таксистом, риелтором, пресс-секретарем, копирайтером. Публиковался в журналах «Нева», «День и ночь» и др. Живет в Абакане.

Бушуева (Китаева) Мария — прозаик, критик, автор нескольких книг, ряда публикаций в журналах и сетевой периодике. Окончила ВЛК и аспирантуру Литературного института. Лауреат премии журнала «Зинзивер» (2017). Член Союза писателей России. Живет в Москве.

Гусев Роман Павлович родился в 1985 г. в Москве. Окончил медицинское училище и Литературный институт. Работает зубным техником. Член Союза писателей Москвы. Публиковался в журналах «Номо Legens», «Арион» и др. Живет в Москве.

Денисенко Александр Иванович родился в 1947 г. в с. Мотково Мошковского района Новосибирской области. Учился в Новосибирском педагогическом институте. Работал телеоператором, журналистом, редактором. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Волга», «Знамя» и др. Автор двух поэтических книг. Член Союза писателей России. Живет в Новосибирске.

Кожухов Игорь Александрович родился в 1967 г. в с. Береговое Новосибирской области. Работал строителем, сантехником, плотником, мастером на рыбзаводе, рыбаком, кочегаром. Живет в с. Береговое.

Корниенко Игорь Николаевич родился в 1978 г. в Баку. Работал в СМИ г. Ангарска. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Октябрь» и др. Автор двух книг прозы. Лауреат ряда литературных премий. Живет в Ангарске.

Кравченко Надежда Афанасьевна родилась в 1959 г. в Шалыме Кемеровской области. Окончила филологический факультет Арзамаского педагогического института. Работала ткачихой, корректором, журналистом, воспитателем. Автор двух книг — прозы и стихов. Публиковалась в журналах «День и ночь», «Огни Кузбасса» и др. Живет в Минусинске.

Красавина (Гаевская) Екатерина Иосифовна родилась в 1941 г. в деревне Большая Тесь Новоселовского района Красноярского края. Живет в г. Конаково Тверской области.

Лемберг Стефания родилась в 1974 г. в Омске. Окончила Омский государственный университет. Кандидат философских наук, преподаватель. Публиковалась в региональных и

зарубежных изданиях. Автор двух поэтических сборников. Живет в Омске.

Маранин Игорь Юрьевич родился в 1964 г. в Новосибирске. Окончил исторический факультет Новосибирского педагогического университета. Автор книг «Мифосибирск», «Город-вестерн» (в соавторстве с К. Осеевым) и др. Живет в Новосибирске.

Моловцева Наталья Николаевна родилась в 1950 г. в с. Константиновка Ромодановского района Мордовской АССР. Окончила факультет журналистики Московского государственного университета. Публиковалась в журналах «Молодая гвардия», «Подъем» и др. Автор трех книг прозы. Член Союза писателей России. Живет в Новохоперске.

Мошников Олег Эдуардович родился в 1964 г. в Петрозаводске. Окончил Свердловское высшее военное политическое танко-артиллерийское училище и Ивановское пожарно-техническое училище. Служил в государственной противопожарной службе. Ветеран пожарной охраны России. Автор нескольких сборников стихов и книг прозы. Член Союза писателей России. Живет в Петрозаводске.

Рантович Михаил Сергеевич родился в 1985 г. в Кемерове. Студент заочного отделения Кемеровского института культуры. Работает библиотекарем. Публиковался в журналах «Огни Кузбасса», «Сибирские огни». Живет в Новосибирске.

Раскольников Екатерина (Янсон Екатерина Сергеевна) родилась в 1993 г. в Москве. Окончила МГЛУ. Работает журналистом-переводчиком и корреспондентом в информационном агентстве. Публикуется впервые. Живет в Москве.

Теплякова Мария Сергеевна родилась в 1982 г. в Калининграде. Окончила исторический факультет Калининградского университета. Выпускница Московской школы звонарей Ильи Дроздыхина. Работает певчей и звонарем в храме Успения Божьей Матери на Князьем дворе (Суздаль). Автор трех поэтических сборников. Член Союза писателей России. Живет в Суздале.

Чирков Владимир Федорович родился в 1947 г. Кандидат философских наук. Заслуженный деятель культуры Омской области, член комиссии по искусствоведению и художественной критике ВТОО СХР, почетный член Российской академии художеств. Автор более 300 публикаций и научных трудов, куратор выставочных и научных проектов. Живет в Омске.

Шляхова Галина Николаевна родилась в 1976 г. в Красноярском крае. Окончила Красноярский педагогический университет. Работает преподавателем искусства и педагогом индивидуального обучения детей с ОВЗ. Публиковалась в альманахе «Енисей». Проживает в пос. Бор Красноярского края.



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел. (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: сибирскиеогни.рф

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 26.04.2019. Дата выхода № 6 за 2019 г. в свет 10.06.2019.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.